

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (419)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Алексей Александров. «Бывает, что занят межгород...» *и др. стихи* 0
Герман Власов. Букет 0
Евгения Изварина. «вбегаешь в небо по цикорию...» *и др. стихи* 0
Алексей Порвин. «Чувством тычешься в сон, в простыню, во мглу...» *и др. стихи* ... 0
Феликс Чечик. «Всю ночь скрипеть пером при свете...» *и др. стихи* 0

ПРОЗА
Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну. *Окончание* ... 0
Валерий Мухарьямов. Брагины 0
Георгий Нипан. «Вагон для непьющих» *и др. рассказы* 0
Владимир Глейзер. Любовь и морковь. *Рассказ* 0
Евгений Алехин. «Первая половина дня» *и др. рассказы* 0

ДЕБЮТ
Алексей Черепанов. Углы обзора. *Рассказ* 0
Иван Колпаков. Дальний свет. *Рассказ* 0

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ
Разговоры с Андреем Пермяковым: **Андрей Василевский, Дмитрий Кузьмин** ... 0

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Олег Рогов. Стихи драматурга 0
Алексей Александров. Стихи плюс фото 0
Ефим Водонос. «А прошлое яснее и ясней...» 0
Сергей Трунев. Карма Шопенгауэра 0
Роман Арбитман. Ленин, Шапокляк и другие 0

ВСПОМИНАЯ «ВОЛГУ»
Сергей Боровиков. Так жили поэты... 0

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Белый слон на Диком поле и другое 0

© «Волга», 2009

Алексей СЛАПОВСКИЙ

100 лет спустя

Письма нерожденному сыну

*(Окончание)**

Письмо четырнадцатое

Поскольку, Володечка, болезнь меня так и не отпускала от себя, можешь представить, как тяжело мне стартовалось в Москве. Саратовская моя жизнь была относительно изолированная и комфортная, за исключением необходимых пребываний среди людей, и вот я попала в скопище домов, машин и людей, меня почти в обморок падало от какофонии запахов и звуков. Я до этого была в Москве один раз с группой одноклассников в формате *(короткого путешествия с познавательной целью)*, мне было тогда двенадцать, кажется, лет, и тогда, любуясь на громады домов, тысячи красивых автомобилей, сверкающие вечерние огни, я мысленно сказала: вот город, в котором я хотела бы жить.

При этом ни в какой глуши нельзя затеряться так, как в Москве: ведь где-нибудь вне цивилизации, например, в 大雅 **, ты тоже затериваешься, но совсем, тебя никто не видит, а в Москве эффект в том, что тебя видят, но тебя все равно как бы нет, если ты захочешь. Москва всегда была городом-невидимкой: фасады и стены домов скрывали ее, настоящую. И каждый, попадавший в нее, становился тоже человеком-невидимкой: он идет по улице, он едет в автомобиле, в роликовом бусе, в рельсопуте, в метро, но ты видишь только внешнюю оболочку, не представляя, что за ней скрывается. От этого еще в первый мой отроческий приезд возникло чувство загадки, тайны Москвы и живущих в ней людей, которую хотелось разгадать, проникнуть за эти фасады, эти окна, за эти глаза находящихся рядом людей и понять, что там происходит...

Мне некогда было зацикливаться на своих аллергических проблемах: я сразу же попала в круговорот подготовки к конкурсу. Это был совсем другой уровень: продюсерам будущего шоу было все равно, кто победит, зато им очень важно было организовать эффектное зрелище. А для этого все девушки должны иметь отличную подготовку, поэтому нас ежедневно гоняли на corde***, чтобы мы все умели делать в лучшем виде. Конкурс был юбилейный, собирались съехаться знаменитые модельеры, владельцы полированных журналов, фотографы. Со всей страны, вернее, со всей Москвы, что в ту пору было одно и то же, собрались люди secular society **** или, лучше ска-

---

* Начало см.: «Волга», 2009, №1-2.

** 大雅, *кит.* – тайга.

*** corde, фр., – веревка; значение выражения непонятно. – *Прим изд-ва*.

**** secular society, *англ.* – светское общество.

Алексей СЛАПОВСКИЙ родился в 1957 году в с. Чкаловское Саратовской области. С 1968 по 2000 год жил в Саратове. По образованию филолог, работал учителем, теле- и радиожурналистом, редактором журнала «Волга». Автор около 40 пьес («Вишневый садик», «Пьеса № 27», «Не такой, как и все» и др.), многих романов («Я – не я», «Первое второе пришествие», «День денег», «Они», «Пересуд» и др.). Четырежды финалист премии «Букера», лауреат (1-я премия) Первого европейского конкурса пьес. Широко известен как теле- и киносценарист («Остановка по требованию», «Участок», «Ирония судьбы. Продолжение» и др.). Живет в Москве.

зать, get-together*. Поэтому, конечно, в среде конкурсанток королевствовал некоторый ажиотаж. Впрочем, все были уже опытными, все прошли региональные конкурсы. Но это делало зато более поднятым градус соревновательности. Между прочим, я обнаружила, что, оказывается, участие в этом конкурсе стоит денег. Их заплатили сами девушки с помощью родственников или их покрыватели**. Озадаченная, как же меня допустили к конкурсу, я обратилась к организаторам. Они сказали, что все проплачено, не надо беспокоиться.

– Кем? – спросила я.

– Это не наше дело, – ответили они.

Было и приятное открытие: я еще обнаружила, что, чем больше я сторонюсь по возможности запахов людей, тем больше меня притягивают запахи и фактура различных материй. Мне нравилось ощущать их на себе, прикасаться к ним, мне нравились их названия: шелк, парча, жаккард, бархат, тафта, букле, гобелен, шифон, атлас, вискоза, лен, мохер, батист, жоржет, гипюр, крэш, лайкра, ламе, органза, фукра, джерси, крепдешин, поплин, шанжан, хлопок, велюр, габардин, замша, твид, спандекс, флис, бязь, мадаполам, фланель, саржа... Некоторые ткани я любила больше, некоторые меньше, тканям искусственного происхождения отдавала предпочтение, любила также лен и хлопок, они пахли чисто, растительно, а кожа, замша, шерсть по понятным причинам нравились мне гораздо меньше. При этом я предпочитала ясные цвета и четкие сочетания – никаких наплывов, разводов, узоров. Помню, как поразило меня соседство желтого, черного и красного – просто до реального телесного возбуждения. К зеленому долго была равнодушна, пока не увидела его в соседстве с белыми полосами, коричневое ненавидела – пока не узнала, сколько оттенков есть у него и как играют эти оттенки в зависимости от фактуры ткани...

Но вряд ли тебе это интересно.

Я жила с мамой – Борис и Лара любезно сняли для нас квартиру.

Я была почти спокойна и решила не настраивать себя на победу. Есть давняя теория: «кто хочет, тот добьется», однако этой теории возражает странная, но мудрая русская поговорка: «кто много хочет, тот мало получит». Видимо, она выросла из переосмысленного христианства: «η πρώτη θα είναι η τελευταία, η τελευταία θα είναι πρώτη»***

Я решила быть психологически легкой, свободной, делать то, что нужно, и будь что будет. Поэтому на окружающие волнения я старалась не обращать внимания. Правда, не всегда это удавалось. Был момент: одна из очень красивых девушек с пламенными волосами сидела перед зеркалом, смотрела на себя и вдруг сказала:

– Какого черта я сюда приехала? Какого черта на меня будут смотреть эти идиоты? Какого черта мне тут надо вообще?

Черт, Володечка, это дьявол, сатана, враг людей и Бога. Он произошел от Бога, потому что по любой религии нет ничего, что может зародиться само по себе, не от Бога, но как и зачем добро породило зло, я так за всю свою жизнь и не поняла. Впрочем, в данном случае это всего лишь ругательство, означающее несуществующее существо, оно выражает досаду на пустоту или тщетность чего-либо.

Эта девушка была издалека, из Владивостока. Насколько я помню, самолетом лететь оттуда было не меньше трех или четырех часов, очень долго. Даже в пятидесятые оттуда нужно было перемещаться не меньше часа.

Выкричав свои слова, владивостокчанка бросила расческой в зеркало и покрылась слезами. Ее стали утешать, но она дергала плечами, а потом начала сметать руками все со своего столика. Тут и другая девушка вдруг вскрикнула и заплакала. Через несколько минут мы были охвачены истерикой, причем я тоже не удержалась. Сначала смотрела на них и смеялась, невольно тоже нервясь, потом поняла, что не могу прекратить смех, дергаюсь так, что суставы готовы выскочить друг из друга. Нас еле-еле успокоили прибежавшие продюсеры, менеджеры и другие обслуживающие люди.

---

* get-together, *англ., жарг.*, – тусовка.

** Видимо, покровители. – *Прим. изд-ва*.

*** η πρώτη θα είναι η τελευταία, η τελευταία θα είναι πρώτη, *греч.* – первые будут последними, последние будут первыми.

После первых же этапов стало ясно, что я выбиваюсь в лидеры. Непосредственными конкурентками были огневолосая девушка и блондинка, которую никто не видел вне репетиций, примерок, гримирования и прочих событий – ее увозили и привозили под строжайшей охраной. Всезнающие девушки шептали мне, что у блондинки есть папик, который обеспечивает ей наиболее благоприятные условия и не хочет допустить случайностей вроде подпиленных каблуков. Будто кому-то надо было подпиливать эти каблуки!

Количество конкурсанток становилось все меньше, и вот осталось двенадцать, и вот мы должны выйти, чтобы, как всегда, заинтриговать зрителя: сейчас вручат приз от прессы, от какого-нибудь телеканала, приз зрительских симпатий, потом объявят вице-мисс и, доведя нетерпение публики до края, наконец назовут победительницу. Мы стояли за кулисами, глубоко дыша, поддержливо улыбаясь друг другу, находясь в состоянии высшего напряжения. Меня оно тоже не миновало. Гулко колотилось сердце, щеки горели так, что я чувствовала, как воздух горячеет возле них. Конкурентная блондинка стояла передо мной. Я глядела ей в спину, потом вспомнила про шепот девушек насчет подпила каблуков и посмотрела на ее туфли. Туфли у всех девушек были от известного торгового дома обуви, со стразами, а то и с бриллиантами, очень хорошо сделанные, но, как это часто бывает, мельчайшая небрежность может пустить в прах все великолепие. За кулисами был полусумрак, но все-таки я увидела, что застежка на ремешке правой туфли блондинки расстегнулась. Вернее, еще не совсем расстегнулась, металлический штырек только выскользнул из дырочки, но два-три шага – и ремешок спадет, и...

Потом я годами убеждала себя, Володечка, что просто не успела окликнуть блондинку, тронуть ее за плечо, указать на опасный выскольз штырька – потому что загремела музыка и объявили наш выход. Но тебе я не могу врать. Я могла успеть. Я не сделала этого нарочно. Голос замерз в моем горле, руку сковал паралич воли. Ты москвичка, мысленно говорила я блондинке, у тебя богатый папик, у тебя и так все в порядке, а у меня решается судьба, я приехала издалека, от меня зависит благополучие моей мамы, сидящей в зале, и маленького брата, и, возможно, вся моя будущая жизнь...

Но все же было движение руки в последний момент, все-таки было. Я просто не успела. Я чуть замедлилась.

И блондинка, сходя с высоких ступенек, упала так же, как упала ее одноцветная беловолосая предшественница в Саратове, но гораздо некрасивее и травматичнее, потому что ступени для эффекта здесь были выше. Я видела, как она взмахнула руками, рухнула, покатилась, мне казалось, что я слышала, как хрустнула кость (потом выяснилось: да, это был перелом). Девушка валялась на сцене, била руками об пол и буквально выла от обиды и боли.

К ней бросились, унесли ее со сцены.

Церемонию задержали на полчаса.

Через полчаса ее вывезли на каталке с загипсованной ногой, она улыбалась – видимо, ей инъецировали анальгетики. Она получила звание вице-мисс, что было максимально в такой ситуации, а я стала победительницей.

Первый поздравительный звонок был от моего неведомого чудовища.

– Клянусь, я тут не при чем, – сказал голос.

– Я знаю, – ответила я.

– Теперь у тебя начнется новая жизнь.

– Возможно.

– Но все равно ты никуда от меня не денешься. Через три года или даже раньше.

Мне в эту минуту три года казались вечностью, поэтому я легко ответила:

– Что ж, буду ждать!

Каждая девушка, участвовавшая в конкурсе, предварительно подписывала контракт, по условиям которого она обязывалась в случае победы в течение оговоренного времени сотрудничать с определенными людьми, компаниями и фирмами в целях рекламы, пиара и промоушена.

Девушки подписывали не глядя, рассуждая так: вероятность победы слишком мала, если же я все-таки побежду, то согласна на все! И напрасно: договоры того времени часто составлялись так, что 歌手 *, فظوم ** имел кучу обязанностей и почти никаких прав, зато у 雇主 ***, لم‌عل‌اب‌حاص **** было огромное количество прав и минимум обязанностей. Я советовалась на этот счет с Борисом, он пригласил юриста-консультанта, я объяснила ему проблему на руках, так как тексты договора нам не выдавали, мы должны были познакомиться с ними и подписать, не вынося из офиса. Консультант, статный седовласый мужчина, в недавнем прошлом один из самых известных московских адвокатов, был такой весь высокомерный, снисходительный, он смотрел на меня, как усталый врач детского пионерконцлагеря на маленькую девочку, которая жалуется, что у нее болит живот. Я начала излагать суть проблем. После двух-трех минут слушания и смотрения консультант начал влажнеть лбом и оглядываться, ворча, что надо умерщвлять тех, кто экономит на климат-системах. Он был неправ – в офисе Бориса, где мы беседовали, климат-системы имелись и работали. Примерно через десять минут я закончила. Консультант, задыхаясь, вцепился в узел галстука, как повешенный в петлю, тянул его вниз, пытаясь ослабить, и еле выговорил:

– Ты такая сама по себе или у тебя имидж?

Я не поняла и сделала вопросительный взгляд.

– Сидишь тут с прямой спинкой, ручки на коленочках, глазки ангельские, голос серебряный – это что?

– Это я.

– Одно из двух, – сказал консультант, – либо ты морочишь мне голову, тогда еще ладно, либо ты и в самом деле такая, что маловероятно, но возможно в силу уже самой теории вероятности, допускающей вероятность даже того, чего не может быть, – он горделиво усмехнулся своим узорчатым словесным оборотам, и в нем проглянул орел, каким он когда-то был или таковым считал себя.

– Я никому не морочу голову.

– Тогда хуже. Тогда беги отсюда, езжай домой, закрой все окна и двери и сиди, не высовывайся.

– И что делать?

– Ничего. Счастливо стариться.

Тут он махнул рукой:

– Не слушай меня. Никто не даст тебе счастливо состариться – и я бы не дал. Что там, ты говоришь, в этих бумажках прописано?

– Я уже рассказала.

– Еще раз, пожалуйста. Я с первого раза не запоминаю.

Я повторила. Он дал довольно много дельных советов, я составила целый список поправок. Уходя, консультант некоторое время помялся у двери, потом повернулся и сказал:

– Твой родственник – он, кстати, кто тебе?

– Муж сестры.

– Не завидую твоей сестре. Так вот. Твой родственник должен заплатить мне десять тысяч юаней за консультацию. Для него это немалые деньги, хоть он и не бедный. Я очень удивился, когда узнал о такой щедрости. Сестрам жен так не благодетельствуют. Но увидел тебя – и понял.

– Десять тысяч? – поразилась я.

– Да. Впрочем, я столько и стою. Беру десять тысяч, помогаю сэкономить сто, явная выгода, он это знает. Но тебе ведь неловко, да, что он на тебя так потратился? – консультант пытающе посмотрел мне в глаза.

– Я не думала... Он сказал – знакомый юрист...

---

* 歌手 кит., – исполнитель.

** فظوم, араб. – работник.

*** 雇主, кит. – наниматель.

**** لم‌عل‌اب‌حاص, араб. – работодатель.

– Хочешь, я не возьму у него этих денег? У него сейчас непростые обстоятельства, он будет просто счастлив. Да и ты не будешь чувствовать себя обязанной ему.

Я догадывалась, что сейчас последует какое-то не совсем обычное предложение, но хотела узнать, какое именно, и сказала:

– Допустим, хочу.

– Поцелуй меня, – попросил он вдруг почти жалобным голосом.

Напрасно он увидел во мне какую-то феноменальную наивность: я своим вполне развитым умом что-то именно в этом духе и предполагала. Но ситуация была неоднозначна. Да, он был мне неприятен физически, но, с другой стороны, всего-навсего поцелуй. Ценой в десять тысяч, которые, оказывается, должен был потерять Борис.

– Хорошо. В щеку, – улыбнулась я.

– Торгуешься, значит не все так безнадежно, – выжал он сквозь зубы. – Нет. Поцелуй классический, он же французский, с проникновением! Не меньше минуты, буду по часам следить.

Я не знала, как поступить.

И решила прямо объяснить ему свою проблему, касающуюся контакта не только с мужчинами противоположного пола, но и с людьми вообще.

– Придется тебе потерпеть. Хотя – решение за тобой, я не настаиваю.

Подумав, я подошла к нему, закрыла глаза и стала его целовать, усилием воли постаравшись отключить свою органолептику. Все равно начало подташнивать на первых же секундах. Торопливой фантазией я стала придумывать кого-то другого на месте консультанта, но почему-то в воображении появился обгорелый, страшный Чижинцев, я тут же зачеркнула его, в голову полезли красавцы из журналов и рекламных роликов – с идеальными лицами и торсами, но лишенные вкуса и запаха, они тоже помогли ненадолго, я готова была уже сдаться, и вдруг всплыло перед глазами лицо Владимира. Не подумай, Володечка, это не было вспышкой опомнившейся любви. Просто Владимир был самый привычный для меня мужчина, почти как брат, несмотря на то, как мы расстались. И я вдруг расслабилась, и воображаемое лицо Владимира помогло мне довести поцелуй до конца.

– Все, – сказал консультант. – Ты очень старалась, хотя я чувствовал, как тебе плохо. Ты жертвенная девушка. Спасибо за две минуты подаренного инджоя.

– Минуту!

– Две. Я тебя обманул. И, кстати, десять тысяч у брата сестры все-таки возьму.

– Но вы же обещали!

– Диночка! – сказал консультант с какой-то странной интонацией – как говорит отец, которому очень жалко дочку, но который обязан ее наказать. – Диночка, я для тебя это делаю. Словами, теоретически, тебя ничему не научишь. Только опыт. Теперь ты будешь осторожней. И вообще, лучше себя вести так, как ведут адепты каббалы: וימאם אל, דחפת לא, לאשת לא *

Что ж, это было, как я потом осознала, неплохим уроком.

На процедуру подписания контракта я пришла со списком вопросов и предложений, составленных со слов консультанта. И, когда мне подсунули толстую кипу скрепленных страниц, я начала с первых же пунктов задавать вопросы и выдвигать свои предложения. Человек с неопределенными функциями и довольно странным именем Павлик Морзе, жуткого вида: черно-рыжеволосый (полосами), с albugo** на глазу, с кривым бугристым шрамом во всю щеку, лет тридцати пяти, бесцеремонно взял мой список, просмотрел его. Кинул своей помощнице. Та начала читать, пунцовея – будто ее страшно возмутили мои притязания (довольно скромные, насколько я помню).

– Дина, – сказал Павлик, выкатывая свой albugo. – Мы, конечно, можем все это вписать. Можем, можем, – подтвердил он в сторону встрепенувшейся помощницы. – Можем составить

---

* וימאם אל, דחפת לא, לאשת לא, *иврит* – не верь, не бойся, не проси (автором изречения считается Ицхак Лурия Ашкенази).

** albugo, *исп.* – бельмо.

договор на пятьсот страниц. А можем на пять – даже не страниц, а строк. От этого, уверяю тебя, ничего не изменится. Наше законодательство, слава богу, таково, что можно и засудить, и оправдать кого угодно. Если ты вдруг захочешь подать на нас какой-нибудь иск, заранее гарантирую – проиграешь. У нас отлаженный механизм, у нас лучшие адвокаты, а у тебя кто? Поэтому давай, как у всех – на доверии. Эти бумажки ничего не значат, если, конечно, не Мадонна договор подписывает (он имел в виду, Володечка, не религиозную Мадонну, а была такая певица, которую сейчас все забыли и которая брала не столько голосом, сколько энергией и телосложением; к тому же, менеджерский талант в ту пору был превыше всех талантов, а она была гениальная самоуправка, то есть селф-менеджер) или еще какая-нибудь западная звезда – они, собаки, если что, в свои суды тащат, а там все не по-людски.

И, подумав, я согласилась.

Не удивляйся, Володечка, я объясню, из чего я изошла своем решении. Во-первых, я продолжала верить в хорошие намерения людей относительно меня. Мне почему-то казалось, что никто не захочет сделать мне зло. Я думала, что вредить такой безобидной и доброй девушке, как я, просто противоестественно. Во-вторых, я каким-то наивным образом верила в свои силы, я верила в то, что всегда найду возможность защитить свое достоинство. То есть какие-то материальные вещи – деньги, еще что-то, я могу проиграть, да, но главного не проиграю. Так я думала о себе.

Письмо пятнадцатое

Но вернемся к моей победе. Мне не пришлось долго to reap the laurels*.

После участия в нескольких московских пафосных мероприятиях мне предстоял тур по России, в ходе которого я должна была в разных городах участвовать в местных конкурсах красоты в качестве члена жюри, открывать вместе с почетными гостями и хозяевами дом*а* детского творчества, муниципальные кинотеатры, дворцы культуры, библиотеки, спортивные сооружения**, банки, супермаркеты, дома моды, церкви, биржи и развлекательные центры с мультиплексами.***

Павлик Морзе оказался главным распорядительным лицом в этих турне вместе со своей багровощекой помощницей и кучей мелких менеджеров разного возраста и калибра.

Первая поездка была куда-то на поезде.

Мне предоставили место в ночном вагоне, в двухместном отсеке, но с моим настоянием, чтобы я была одна.

Но вечером все-таки пришел Морзе. Я сказала, что хочу отдохнуть.

– Вот и отдохнем вместе.

– Я люблю отдыхать одна.

– Да не бойся, не буду я к тебе приставать. Работать будем.

Морзе не шутил, он разложил листы с графиками и какими-то пометками.

Сказал:

– Жаль, ты мне раньше не попалась. Не на тебя ставил сначала, если честно. Мы бы сразу кое-что исправили.

– То есть?

– Ну, имя, фамилию. Дина Лаврова – как-то тривиально. Диана Лавреневская тебе больше бы подошло. Такой аристократизм. У тебя и лицо аристократическое. Получается гармония. Знаешь Настю Снежную?

– Певица?

– Ну. Девушка белая, пушистая – и фамилия белая, пушистая. Сейчас на ангелов вообще спрос, так что у тебя тоже хорошие шансы. А на самом деле она Наташа Кулькова. Снежная – Кулькова. Понимаешь разницу?

* to reap the laurels, *англ.* – пожинать лавры.

** Сомнительно – по сопоставлению с имеющимися историческими данными. – *Прим. изд-ва.*

*** А вот это похоже на правду. – *Прим изд-ва.*

– Тоже мне, бином Ньютона, – ответила я.

– Ага, ага, – подхватил Морзе. – Немного высокомерия, это тоже хорошо.

– Никакого высокомерия, просто пошутила. Да и не моя шутка.

– Это неважно. Так и шути.

– А вы тоже не Павлик Морзе?

– Нет, конечно. То есть Павел – да. Но – Мурзяев. Вообще-то любую фамилию можно засветить и сделать знаменитой. Петров, например. Тысячи Петровых. А – пианист Николай Петров, и сразу все ясно. Для образованной публики, конечно. Но мы имеем дело с публикой широкой. Поэтому – Морзе. Вызывает в массах мгновенное любопытство, на это и расчет. Ну, и созвучие с Павликом Морозовым работает.

– В этом какой-то тайный смысл?

– Никакого. Смыслы никого не интересуют, только созвучия. Они должны запоминаться – больше ничего не требуется. Все должно запоминаться. Вот посмотри на меня. Ведь я же страшный сон, а не мужчина, да? Волосы дикие, глаз порченый, щека рваная, раз увидишь – никогда не забудешь. Что и требуется.

– А на самом деле?

– Обычные русые волосы и глаз нормальный. Специальную контактную линзу вставляю. А шрам – пластику делал. Зато бренд: «Дикие взгляды Павлика Морзе». Так статья обо мне называлась, – похвастался он.

– А вы кто вообще по образованию? По профессии?

Вопрос Павлику не понравился.

– Хватит меня выкать, – уклонисто сказал он. – Нам работать вместе. Это и есть на сегодня моя профессия. Так, теперь с биографией что у нас? – он листал папку, что-то вроде досье на меня. Я заметила несколько отдельных и семейных фотографий, копии каких-то документов. Морзе то удовлетворенно гмыкал, то недовольно хмурился.

– Сирота по отцу, семья большая – это хорошо. Золушка такая получается. Папа бил меня с утра, и я в школу не ходила, мама пела и блудила, а теперь моя пора, – речитативом прогнусил Морзе.

– Если еще будешь так хамить, получишь по лицу, – сказала я. Не так, как говорят капризные звездулечки, показывающие характер, очень твердо сказала. Прямо. Глядя в глаза. Он даже слегка смутился.

– Это песня такая. Блатная, уличная.

– Не пой мне таких песен.

– Ну извини... Проявляешь твердость – тоже хорошо. Только со мной не зарывайся. Нет, с биографией у тебя все правильно. Провинция, бедность. Даже изнасилование у нас тут имеется! Эх, – щелкнул он пальцами, – какое замечательное изнасилование, аппетитное изнасилование! Жаль – не тебя.

– Откуда это вообще известно?

– Нам все известно. А давай так – пусть все-таки тебя изнасиловали, а? Или: попытка изнасилования, но ты схватила нож и ширь в пузо. Подлец умер, тебя оправдали. Тут вот написано, что дядя у тебя тоже умер. Пусть это будет дядя. Дядя-насильник, инцест, красиво. Он мертвый, ему все равно.

Я возмутилась:

– Мы собирались работать, говорить по делу. А ты какую-то ерунду...

– Это не ерунда! Это как раз работа и дело! Что такое работа и дело? Это то, что приносит денежки! А мы что продаем? Тебя продаем, твой имидж, твою историю. Ангел с ножом в руке возбуждает любого юзера гораздо больше, чем ангел с цветком. Элементарщина, Дина, почитай на досуге про Эрос и Танатос. Они под ручку ходят.

– Читала уже.

– Тем лучше. Ну, решили, да? Насильник-дядя, убийство при защите. Мы еще права на фильм по этому сюжету продадим. Или передачу сделаем для телевидения, там любят такие истории.

Я категорически отказалась и от этого, и от других предложений Павлика, столь же нелепых.

– Как же мы будем тогда работать дальше? – кипятился Морзе. – Человек существует в медиа-пространстве только при условии, если он новость! Нет новости – нет человека! Месяц ты продержишься на том, что ты победительница, не больше, потому что через месяц это уже никому не интересно. А мы могли бы на истории с дядей еще пару недель протянуть. А потом – другие истории.

– Какие?

– Всякие. Каждый раз новые.

– Знаю, читала. Я иду в поликлинику насчет насморка, у меня оказывается гайморит, мне там что-то прокалывают (я описывала неприятность, случившуюся со мной несколько лет назад), нанятый тобой фотограф фотографирует, заголовки во всех газетах: «Дине делают трепанацию черепа?»

Павлик усмехнулся:

– Ну вот, сама же все понимаешь.

– Понимаю, но на это не пойду.

– Тогда я на тебе много не заработаю, – грустно сказал Морзе.

– Ничем не могу помочь.

– Ладно. Еще обсудим. Кстати, насчет поликлиники. Что это за болезнь у тебя?

– Не болезнь. Что-то вроде аллергии.

– На что?

– На людей. То есть на их запахи. Если слишком близко.

Павлик с удовольствием удивился – как бы радуясь тому, что в жизни есть еще что-то, способное его удивлять:

– Чего только не бывает! То есть тебе противно, когда, допустим, с тобой мужчина?

– Ну, в общем-то, да.

– То есть и со мной тебе противно?

– Да, извини. Но я держусь. Я на лекарствах.

– Ага. Вот почему у тебя никого нет! Я все перекопал – кроме какого-то саратовского приятеля, фактически никого. Ноль информации. Ни бойфренда, ни жениха. Я уж думал, что ты лесби. А у тебя вот что, оказывается. Что ж, это даже лучше. Ничто не будет мешать работе. Я вот, ты заметила, как себя веду? Не напрашиваюсь, не пристаю, а мог бы. Темперамент сдерживаю. Потому что, во-первых, я вас, красавиц, столько уже повидал, что на меня не действует. И потом, я работу и любовь не смешиваю. Ну, то есть, не любовь, а даже секс. Поэтому можешь в моем направлении даже не стараться.

– А я стараюсь?

– Конечно. Села выигрышно, говоришь бархатно. Младая, блин, с перстами пурпурными Эос.

– Тебе так хочется. Но ничего этого нет.

– Ладно, все вы одинаковые!

Это стало навязчивой идеей Павлика – что я из-под тайного тишка пытаюсь его соблазнить. После очередного мероприятия, он говорил мне:

– Молодец, молодец! Все просто от тебя сдыхают, я видел – стояли, слюнями пол жгли. А на меня – извини – не действует! Я спокоен, как таракан в женской бане. Потому что вам только попадись под ногу! Раздавите и не почувствуете. Ох и потерпел я из-за вас, гадюк! – Павлик крутил головой, вспоминая что-то неприятное.

В одном городе нас поселили в странную гостиницу, переделанную из бывшего бомбоубежища, построенного когда-то в целях гражданской обороны. На мой взгляд, глупо и нездорово, но она считалась самой шикарной гостиницей города, там умудрились сделать сауну, это такая, Володечка, странная баня, где не моются, а сидят в жаре, а в бане моются, мыться, Володечка, означает очищать себя от грязи и пыли с помощью горячей воды и мыла, мыло, насколько я пом-

ню, это щелочно-жировая смесь в жидком или твердом виде, щелочь я не помню, что такое, а жир – это то, что было в человеке и в животных, при этом люди, особенно женщины, всегда старались от этого избавиться, прибегая даже к пластической хирургии, хирургия – это вмешательство в организм посредством острых режущих предметов... однако, меня занесло... Иногда бывает, Володя, что я сама пишу, а сама тут же забываю или путаюсь, а еще у меня постоянный страх, что ты меня не поймешь, написала вот – занесло, и тут же хочется уточнить, что не снегом занесло или еще чем-то, а в сторону, как на скользкой дороге заносило автомобили, или нет, это слово появилось до автомобилей, имелось в виду – занесло, как лист, не бумажный, а сорвавшийся с ветки, в чужую сторону, листы срывались с ветки от ветра или осенью, осень – это сезонное наступление похолодания, связанное с вращением Земли вокруг Солнца... Все, все, надо успокоиться, просто бросить писание и отдохнуть...

Письмо шестнадцатое

Я закончу про Павлика, потому что это имело последствия.

Итак, нас поселили в глухой гостинице, особенность который была в том, что из номера ничего не было слышно вокруг. Там я встретила, пока мы поселялись, довольно много мужчин с женщинами, мужчинам было от сорока лет до шестидесяти, а женщинам не больше двадцати. Я собиралась спать, но постучал и вошел Павлик, прикрывшись каким-то поводом. Поговорив не помню о чем, он вдруг подсел ко мне, низко нагибнулся и сказал:

– Ладно, все, сдаюсь.

Я отвернулось – от Павлика пахло зубами.

А он вдруг набросился на меня. Молча, как убийца. Придавил всем телом. Я барахталась, но он оказался жилистым. Мокрыми брызгами шептал мне в ухо:

– Сама же хочешь, я же вижу! А если не хочешь, все равно. Ты пойми, нам это будет удобно, нам с тобой еще долго работать вместе. В чем проблемы, давай быстренько стукнемся!

Тут я опять что-то путаю, было другое слово. По-английски bang или gang-bang*, по-русски забыла. В общем, стукнуть, ударить в сексуальном смысле. Переводя на прямую речь, которая стала повсеместной уже в двадцатые годы, выебать. Но в начале 21-го века русский язык еще держался за свои эвфемизмы, что мне, кстати говоря, скорее нравилось: образность всегда лучше, чем тупое прямое наименование, к тому же, часто еще и некрасивое, так как красивых слов для интимных частей тела в нашем богатом, но лицемерном языке, не было и нет. Видимо, потому, что в древности эти части нельзя было называть. Задница, бедра, лобок (он же передок), промежность – вот и весь легальный словарный запас, который не восторгает. Остальное либо латынью, либо матом. Поэтому, когда мне приходилось переводить короткое и красивое китайское слово 窝, я мучительно искала и находила описательный оборот: «окончание ложбинки на женской спине в области талии»**.

Я чувствовала, что обессиливаю. А кричать бесполезно. Поэтому я сказала неожиданно спокойным голосом:

– Пусти, я сама.

– Вот так-то лучше! – вскрикнул Павлик и, сползя с меня, начал торопливо раздеваться.

Я же не спешила. Я смотрела на него насмешливо, холодно. И сказала:

– Только у тебя ничего не получится.

– Посмотрим! – спешил он.

И приступил ко мне опять.

Но я оказалась права: его старания, его возня были бесплотны. Он злился и чего-то от меня требовал, чего я не могла и не хотела делать. Наконец он уморил себя и сказал:

* bang, gang-bang, *англ., разг.,* здесь – трахнуть.

** Что-то тут не так: иероглиф 窝 тоже не является каким-то специальным словом и означает всего-навсего «ямка». – *Прим. изд-ва.*

– Черт. Первый раз в жизни. Пустяки, наверстаем.

Но наверстывать не стал, а, как я потом узнала, вернувшись в Москву, тут же помчался к сексопатологу. Тот побеседовал с ним, каким-то образом проверил его реакции и сказал, что все вы порядке. Павлик отправился к одной из своих подруг, где убедился в правоте доктора. Естественно, он опять попытался совершить со мной то, что ему не удалось. И опять он претерпел неудачу. Спросил ненавидящим голосом:

– Ты гипнотизируешь, что ли?

– Думай как знаешь, – ответила я, мудро поняв, что именно нужно сказать, – но у тебя ничего со мной не выйдет. А будешь приставать дальше, не выйдет и с другими.

– Я тебя тогда убью, – пообещал Павлик.

И больше никогда не домогался меня, а обо мне стали распространяться противоречивые слухи. Кто-то говорил, что я будто бы одним взглядом или поворотом бедра делаю импотента мужчиной. А кто-то, что я теми же самыми средствами делаю любого мужчину импотентом.

В результате Павлик ушел от меня, со мной стали работать другие люди, преимущественно женщины.

Ты, наверное, удивишься, Володечка: сколько хлопот из-за таких пустяков! Но в то время это были не пустяки. Да и не только в то время. В определенном смысле забота мужчин о доказательствах своей потенции и демонстрация ее, прямая или сублимированная, создала человеческую историю. Государства возникали и рушились, можно сказать, под знаком и влиянием фаллоса. Проходили века и тысячелетия, а мужчины продолжали назойливо думать о том, как демонстрировать изо дня в день свою половую мощь. С наступлением цивилизованных времен мужчина чувствовал себя даже социально обязанным хотеть женщину, пусть при этом он ее не хотел. Мужчина был врагом женщины по нескольким причинам: 1. он ненавидел ее за то, что не мог без нее обойтись 2. он был обижен, что женщина, в отличие от него, всегда готова к совокупности (так ему казалось) и 3. он злился на женщину, как двоечник злится на учительницу, потому что вынужден постоянно сдавать ей один и тот же экзамен. 4. ему досаждала своя роль обязательно активной стороны, и даже когда ему говорили сами женщины, что от него ничего не ждут, он был уверен, что это ложь 5. поэтому, будучи в роли хозяина жизни, воина, пахаря и *(того, кто стучит по раскаленному железу)*, он понимал, что на самом деле раб, достойный презрения и осмеяния.

Это не я так считаю, Володечка, это мне так запомнилось кое-что из теоретических знаний на эту тему, хотя я не со всем согласна.

Очевидно одно: тысячи лет мужчина имел золотую мечту быть всегда готовым. Существовали средства стимуляции, в конце двадцатого века появились всяческие лекарства, но настоящая революция произошла тогда, когда изобрели энцефалоэректор, который позволил любому мужчине после небольшой имплантации в заушной области управлять своей сексуальной готовностью так, как ему вздумается.

Миллионы мужчин, конечно же, согласились на эту операцию. Это было социальным переворотом, сравнимым с изобретением ... колеса или Интернета... или атомной бомбы, если не посильнее... Даже не знаю, с чем сравнить. Настала пора какого-то повального сумасшествия, результатом чего стало то, что мужская половина человечества буквально за год-два превратилась в стадо анемичных истощенных субъектов, ничего не желающих – ни работать, ни развлекаться, ни совокупляться. Это привело к пандемии алкоголизма и наркомании. Пришлось повсеместно принимать меры по реимплантации энцефалоэректора (на что мужчины поначалу пошли охотно), но долго еще существовал нелегальный бизнес по изготовлению и контрабандной продаже этих аппаратов. Постепенно все пришло в прежнюю норму. Так в очередной раз люди убедились, что ценится лишь то, чего не много и не автоматически. Почему дорогим всегда было золото? Его мало. Аналогично с красивыми женщинами, талантливыми людьми и всем остальным, что не на каждом углу. Доступное всем золото обесценивается. Доступная всем и каждому в любую секунду потенция чуть не привела к поголовной импотенции.

Но хватит об этом. Мне даже и неприлично – в мои годы. Но вспомнилась молодость, вспомнилось реализованное и упущенное. Хотя, может, упущенное как раз и спасало меня и людей вообще, а реализованное погубило...

Я перевелась в Московский университет иностранных языков, выполнила почти все обязательства по контракту и могла, наконец, заняться тем, что в те годы называли странным словосочетанием «личная жизнь» – будто вся жизнь человека не есть его личная жизнь, даже если он служит обществу. Мама вернулась в Саратов, к Денису, за которым надо было смотреть, в Москву она отказалась переезжать – опасалась, что столица испортит Дениса.

Я была еще недопользованной новостью, у меня еще брали интервью, меня приглашали на различные московские мероприятия, но я уже поняла, что всего лишь одна из многих, ибо Москва была буквально набита блистательными девушками со всей страны – победительницы многочисленных конкурсов, модели, просто красавицы, делающие бизнес или являющиеся дочерьми богатых людей, да еще сотни и тысячи содержанок и проституток. В то время, насколько я помню, проституция стала легальной: девушки, приезжая в Москву, регистрировались в милиции, проходили санитарный контроль и приступали к работе.*

Фуршетясь на многочисленных party, я встретилась и обзнакомилась с огромным количеством знаменитостей, деятелей культуры, литературы, спорта, политики, бизнеса, средств массовой информации, достаточно сказать, что я была общена с Михаилом Задорновым, Анастасией Заворотнюк, Константином Эрнстом, Аленой Водонаевой, Владиславом Сурковым, Евгением Плющенко, Артемием Лебедевым, Димой Биланом, Анной Семенович, Владимиром Жириновским, Анфисой Чеховой, Ксенией Собчак, Оксаной Робски, Сергеем Зверевым, Евгением Гришковцом, Максимом Галкиным, Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем, Федором Бондарчуком, Кристиной Орбакайте, Владимиром Соловьевым, Александром Гордоном, Татьяной Толстой, Павлом Волей, Виктором Ерофеевым, Никасом Сафроновым** и многими, многими другими, имен которых уже не припомню – удивительно, что эти-то люди вспомнились, причем легко, будто вчера с ними общалась.

Но я ни с кем из них не подружилась. У меня были другие цели: продолжать учебу, которая меня сильно и искренно увлекала. Мир книг и знаний был мне не менее интересен мира людей, если не более, потому что на людей аллергия у меня продолжалась, а на книги и знания ее не было.

Из-за патриархальной тогдашней неторопливости, из-за того, что время не ценили, ибо его все равно мало, по улицам тогдашние московцы ездили очень медленно, но мне приходилось передвигаться на авто, я не хотела в метро узнавания, из-за которого ни одна мало-мальски знаменитая известность там не могла ездить спокойно. Варварские обычаи того времени позволяли любому человеку не просто приблизиться к другому без его разрешения, но даже заговорить с ним и даже, Володечка, потрогать, как дети трогают из-за решетки какого-нибудь жирафа в зоопарке. Жираф – это млекопитающее животное, полосатое и с длинной шеей. Зоопарк – место, где собирают много животных для показа людям. То есть – собирали. Когда были зоопарки и когда были жирафы... Я опять почему-то плачу, Володенька...

Еще была привычка выпрашивать самопис знаменитости, то есть графическое изображение его имени, начертанное им самим. Этот самопис не имел абсолютно никакого значения для того, кто выпросил его, кроме единственного – показать кому-то и сказать: «Вот, у меня это есть!» – с таким видом, с каким горделивые индейские дикари показывали соплеменникам коготь орла на шее, как доказательство, что они его убили.

Да и атмосфера метро, эти запахи сотен людей, невидимый, но густой бульон их перемешавшихся дыханий...

Но однажды мой кар намертво встал из-за поломки, я вызвонила свой сервис, они обещали приехать только через два часа, а мне нужно было спешить на доклад, который я должна была

* Неподтвержденные данные. – *Прим. изд-ва.*

** К сожалению, никаких сведений об упомянутых персонах у нас не имеется. – *Прим. изд-ва.*

делать в университете преподавателю и соученикам. Я не хотела опоздать или не прийти, я всегда была человек долга, поэтому, оставив машину (у служащих из моего сервиса были запасные ключи), я спустилась в метро, где не была со школьного возраста, когда мы приезжали сюда на, господи, никак не вспомню... Путешествие с культурно-ознакомительной целью... Меня потрясла станция метро, которая была красива и просторна. Сводчатый потолок, мрамор или гранит на стенах, а главное – я представила, что это колоссальное подземелье находится на глубине нескольких десятков метров, я реально представила эти десятки метров земной толщи. Как прекрасно, что люди сумели это сделать, выкопать и станции, и тоннели, создать целый подземный город! На меня всегда впечатлительно действовала мощь людей, которые, однако, сделав что-то грандиозное, тут же забывают об этом и относятся, как к чему-то заурядному. В каком все были восторге, когда космический корабль с тремя астронавтами на борту летал на Марс и обратно: эпохальное событие для человечества, новые горизонты... А лет через пять никто уже не вспоминал: ну, слетали и слетали, тоже событие. Говорят, с первыми полетами в космос и посещением Луны было точно так же: сначала восторг, потом привыкание, забвение.

Эти мысли меня ненадолго развлекли, потом пришлось зайти в вагон. Я забилась в угол, отвернувшись спиной, задержала дыхание, будто нырнула под воду. Но дышать приходится – и я делала это широким ртом. Вдруг мне показалось, что стало тише. Я повернулась и увидела, что в вагоне не так уж много людей. Наверное, была какая-то пересадочная станция и многие вышли. И тут у меня возникло какое-то странное ощущение. Вскоре я поняла, в чем дело. Я уже привыкла к взглядам на меня со всех сторон, потому что бывала только там, где меня все гарантированно знали. Я, в сущности, ни разу не попадала в такое вот общество анонимных простейших людей – но сама-то я оставалась не анонимной, меня они должны были узнать! Нет. Все, у кого на меня падал взгляд, смотрели спокойно. Оценивая, возможно, что там стоит красивая девушка – но не более того. Меня никто не узнал. Видимо, свершилось то, о чем предупреждал Павлик – я уже не новость. Что ж, мне это даже понравилось.

Но по инерции меня все-таки еще иногда куда-то звали, я соглашалась редко и неохотно.

Однажды на каком-то толпилище и шумилище я тоскливо слонялась и уже собиралась уйти, когда ко мне подошла девушка примерно моего возраста, одетая в модное и яркое, красивая, тонкая, с голубыми глазами, слегка подгорелая под натуральным солнцем или в солнцарии, тогда еще увлекались ультрафиолетом, хотя и знали, что он убийца кожи.

– Это правда, что у тебя аллергия на людей? – спросила она.

– Мы вообще-то не знакомы, – ответила я довольно сухо.

– А, ну да, ты откуда-то из глубинки, у вас там, типа того, приличия? Разговариваете грамошно, книксенами приседаете? Ну ладно, Винда меня зовут, – она протянула руку. – Здороваться можешь? А то у тебя волдыри вскочат, я буду виновата.

– Могу, – сказала я, хоть и не любила здороваться за руку.

Ладошка Винды была сухой, теплой, приятной.

– Нравится? – спросила она, задержав свои пальцы в моих. – Будто без костей, правда? Суперрелакс. Хочешь, я тебя в одну минуту вылечу от твоей аллергии?

– Не уверена. Может, она мне нравится? – заметила я.

– Да ты еще и не дура! – удивилась Винда. – Мисс Тамбов, а надо же!

– Я не мисс Тамбов.

– Да знаю, шучу. Нет, правда, хочешь? Понимаешь, у меня та же хрень – с детства. Но не на людей, а на все вообще.

– Так разве бывает?

– Бывает. Генетический сбой. Может, я для Венеры родилась приспособленная или какой-то другой планеты. Короче, с детства на колесах.

– Ездишь куда-то лечиться?

– Колеса – таблетки. Порошки тоже всякие. Инъекции. Всю жизнь лечат – вылечить не могут. Нет, подобрали все-таки неплохие средства, очень облегчают. Хочешь попробовать?

Она глядела с добродушной улыбкой. Вообще сразу понравилась – будто я ее сто лет знала. За все время пребывания в Москве, с этой девушкой, которую я видела две минуты, мне с первой захотелось не то чтобы поговорить по душам, а просто – побыть. По-человечески.

А Винда оглядывала меня – не назойливо, но внимательно. И неожиданно сказала:

– А ты и вправду красивая!

– Были сомнения? – усмехнулась я, показывая, что тоже умею live up to one's reputation*.

– Конечно, – Винда улыбкой показала, что оценила мой юмор. – Мало ли кого выбирают всякими миссами, красами и тому подобное. Ты видела «Мисс Вселенную» прошлого года? Не колени, а желваки – с кулак боксера, ребра выпирают везде, лицо ассиметричное. Они там совсем уже с ума сошли и запутались. Хочешь поехать со мной в одно место?

– У меня завтра с утра лекции. Я учусь.

– Я тоже.

Что-то было в Винде убедительное, ее хотелось слушаться. Да и почему бы нет? Повторяю, Володечка, я не ждала никогда от людей плохого для себя. И хотя все-таки дожидалась, хотя было всякое в моей жизни, но я никогда к этому не могла привыкнуть. Недаром говорится в восточной пословице: الذي سلم مسفن للخادع ثالث تارم ، وسو الرابعة **

Мы вышли и поехали на машине Винды, потому что мою она, едва взглянув, забраковала. Конечно, ее кар был классом выше, «мерседес»-родстер, насколько я помню, с тремя сотнями конских сил под капотом.

По пути она расспрашивала меня о жизни в Саратове, о конкурсе и победе, об учебе, она задала много вопросов, и я с удовольствием отвечала, потому что чувствовала интерес обычный человеческий, до этого же были вопросы служебные, вопросы интервью и анкет – сотни никчемных, глупых или провокационных, в надежде на скандал, вопросов.

Я почему-то думала, что мы направляемся за город, но это было где-то в районе «Сокола». «Сокол», «Крылатское», «Вешняки», «Ясенево», «Царицыно» – так, Володечка, назывались районы этого дивного, сказочного в моей памяти города. Не то, что здесь у нас – «21-й квартал, 3-я параллель, отсек 5, ячейка 1124». И это еще у тех, кому повезло, многим не досталось и такого обиталища, они ждут своей очереди, живя где придется.

У подъезда высотного дома нас долго рассматривала видеокамера, я видела ее движения вверх-вниз, она будто ползала по мне невидимым лучом с головы до ног и обратно.

– Хватит, Шуша! – сказала кому-то Винда в камеру. – Ты знаешь, я кого попало не приведу.

Нас впустили и вскоре мы оказались в квартире, каких я еще не видела. Огромный трехэтажный пентхаус с круглой дырой посредине сквозь все этажи, панорамный обзор на верхнем уровне – во все стороны Москвы, огромное количество комнат, спален, ванн и туалетов, две кухни, бар на каждом этаже. В большой приходящей комнате, где было несколько закрытых внутрь дверей, нас встретил очень красивый молодой человек, хозяин дома, его звали Шуша. Скорее всего, по созвучию с полным именем – Шура Шепеляев. Он уставился на меня.

– Что, фейс-контроль? – спросила я.

С полной серьезностью Шуша ответил:

– Именно. Фейс-контроль, боди-контроль, дресс-код.

Я прошла все эти три проверки с одного взгляда Шуши, меня впустили в квартиру.

Меня потрясли по первому впечатлению не ее размеры и не панорамные виды, а люди, которые были там. Кого-то я узнавала, это были слегка медийные персонажи, кто-то был мне неизвестен, но общее у всех было одно – все они были отборно красивы. Винда взяла меня под руку и водила по комнатам, представляя. Меня приняли приветливо, не отвлекаясь от своих занятий. Тут все были вместе, но одновременно автономно: слушали музыку через наушники, смотрели кино на панели во всю стену, тоже с наушниками, целовались, выпивали, негромко разговаривали – вообще здесь был, наверное, культ тишины. И совсем не пахло людьми.

---

* live up to one's reputation, *англ., разг.* – держать фасон, марку

** الذي سلم مسفن للخادع ثالث تارم ، وسو الرابعة, *араб.* – кто дал себя обмануть три раза, даст и четвертый.

– Нравится? – спрашивала Винда, которой очень хотелось, чтобы мне понравилось.

Я кивала.

– А теперь полечимся, – сказала она и провела меня в маленькую комнатку, всю в красном, достала из сумочки пузыречек и насыпала на столик тонкую белую дорожку порошка. Я, Володечка, несмотря на свою невольную компетентность во многих отраслях жизни, была еще тогда, как я теперь оцениваю, очень наивна и не понимала многих вещей. Я ведь довольно рано начала ограничивать себя в чтении бульварных книг, просмотре trash-movie*, жалея свое время и стараясь его расходовать на полезные вещи: образование, физическую культуру, саморазвитие. И все же я почувствовала что-то неладное.

– Что это? – спросила я.

– Лекарство.

– У меня сейчас все нормально.

– А это на будущее.

И я ведь догадывалась, я догадывалась, Володечка, что это может быть наркотик, но мысленно сказала себе: что ж, один раз можно и попробовать. Чтобы знать. Чтобы больше не пробовать никогда. К тому же, Винда была удивительная девушка: когда она о чем-то просила, ей трудно было отказать.

И я уступила. Она дала мне стеклянную трубочку и сказала, что это нужно вдохнуть через нос. Вот почему я упомянула trash-movie – в каждом втором фильме этого рода делали подобные вещи, отсюда следует вывод, что, как ни странно, и плохое кино может принести пользу. Но я, повторяю, тогда его не смотрела, иначе сразу бы поняла. Я вдохнула. Сначала было очень неприятно, похоже на ощущение удара или чего-то пронзившего... довольно сложно описать. Потом слезы из глаз. Потом я сидела в *(никак не вспомню названия этого вида мебели, будто пробка заткнула этот сосудик памяти – стул с подручниками, более низкий и удобный)*, и ничего не чувствовала, кроме звона в голове. А потом увидела перед собой смеющуюся Винду – ту же, но другую. Словно сдули дымку с моих глаз – так отчетливо, так ярко я никогда еще не видела. Подобное чувство я испытала в восемьдесят семь лет, когда я, после некоторого ослаба зрения, применила свои первые корректоры и увидела мир новым, словно наведенным на резкость. Правда, не обоими глазами, о чем позже.

Некоторое время мы с Виндой просто сидели и радостно смотрели друг на друга.

Потом пошли по дому. Мы смеялись всем встречным, они мне все нравились, меня вторично, но еще больше восхищала квартира, виды из окна. Я опробовала свое состояние на всём: послушала музыку, посмотрела фрагмент какого-то кино, взяла с полки книгу, прочитала несколько строк – и во всем мне виделись новый смысл, новая глубина, новая значительность. Гениальная музыка, гениальное кино, гениальные строки – пробирает до муравьев по спине. Потом я поняла, что еще приятнее просто сидеть и смотреть вокруг. Гениальные люди. Гениальная мебель. Гениальные стены. Гениальная дыра. Гениальный пол. Паркет. Деревянные узоры. Можно смотреть на несколько паркетин и на их узоры – бесконечно. Они великолепны, восхитительны, в них целый мир. И наконец я узнала, что самое лучшее – вообще никуда не смотреть, кроме в себя. И слушать тех, кто где-то там, в тебе, приятно говорит с тобой, поет тебе, ласкает тебя словами, а перед закрытыми глазами – спирали, круги, вспышки и отблески...

Я очнулась оттого, что Винда тормошила меня.

– Эй, очнись! – кричала она мне в ухо, будто я плохо слышала. Мне это показалось смешно, и я тоже закричала:

– Я здесь!

– Пойдем гулять! – завопила она во весь голос.

– Пойдем! – завопила я.

Мы вышли на улицу.

– Эксперимент! – закричала Винда и потащила меня к ближайшей станции метро.

* trash-movie, *англ.* – хлам-кино.

Но там, при входе, она строго на меня посмотрела и сказала:

– Конспирация. Никто не должен догадаться.

Я поняла, что мы шпионки в мире людей. Никто не должен догадаться.

Мы тайно спустились и инкогнито затесались среди людей.

– Ну? Есть аллергия? – спрашивала Винда.

Я обнюхивала воздух. Пахло подмышками, давно не стиранной одеждой, испарениями переваривающейся в желудках и гниющей в зубах еды, но мне почему-то казалось это даже приятным – по-особенному приятным, тошнотворно-приятным. Винда смотрела на меня и улыбалась, догадываясь, что со мной происходит.

Проехав одну станцию, мы вышли, довольные и веселые, будто школьницы, сбежавшие с уроков. Пошли обратно, по пути Винда затащила меня за какие-то дома, где стояли металлические баки с мусором. Они были полны и роскошно воняли. В них ковырялись бомж и бомжиха – жуткие, с грязными и красными лицами, в засаленной одежде, я нарочно приблизилась, меня обдало смрадом, я даже глаза прикрыла от удовольствия.

Но дома мы почувствовали весь этот запах на себе и стало неприятно, полезли в ванну, мылись, моя друг друга. Потом отдыхали, лежа в халатах. Какие-то люди заходили, что-то говорили. Потом мне стало не очень хорошо. Показалось, что распухает нос, глаза краснеют и расползаются в стороны, в теле ощущение мелкого стекла в мышцах и сосудах. Я пожаловалась Винде. Она принесла какие-то таблетки. Я проглотила одну или две, мне сразу стало лучше. Потом к Винде пришел молодой человек и стал делать с ней секс, мне это было смешно, потом кто-то пришел ко мне и тоже начал делать секс, я не понимала, кто это, зачем он тут, я не вспомнила этого и потом, я вообще ничего не помнила, кроме того, что сначала все было хорошо, потом замечательно, а потом очень плохо.

Письмо семнадцатое

Это был не самый приятный период в моей жизни, Володечка, но я обязана о нем рассказать, чтобы знал ты и знали те, кто это, возможно, прочтет, если вдруг человечество возобновится. Правда, очень сомневаюсь, что его это остережет: чужой опыт ничему не учит. Да и свой тоже: когда я увлеклась, как соболезновательница, кинематическими гонками, мне было тогда шестьдесят пять или что-то вроде этого, у меня был друг – кинематик-рекордсмен. Он попал в серьезную аварию, был в коме, ему меняли стопу, несколько ребер, печень, еще какие-то органы, он саркастически шутил, что чувствует себя наполовину не своим и пообещал мне, что больше никогда не примет участия ни в одной гонке. Прошло три месяца – он записался на финальный тур экваториальных гонок Сингапур-Найроби-Кито-Сингапур, во время которых и погиб... Я потом почти восемь лет не хотела ни с кем близко дружить из мужчин...

Я попала в очень странное сообщество. Не просто богатые молодые бездельники, а мобильный клуб, который собирался в квартирах и домах, где по какой-то причине не было старших поколений. Организатор и идеолог клуба Шуша много раз и подробно рассказывал мне о сути этого объединения, я вкратце перескажу самый концентрат.

Наш клуб, говорил Шуша, сначала назывался КлуКраЛ: Клуб Красивых Людей. Не понравилось. Там слово «украл» слышится, а мы изначально приличный клуб, не Госдума какая-нибудь и не кабинет министров. Потом было проще – КлуК. Клуб красивых. А когда оформилась идея, появился окончательный вариант. КлуСКЛ. Клуб Спасения Красивых Людей. Трудно произносится, но это даже хорошо. Оригинально.

– На Ку-клукс-клан похоже, – сказала я.

– Именно! – с удовольствием подтвердил Шуша. – Мы тоже расисты. Но в каком смысле? Расисты – те, кто считает кардинально другими людей другой расы. Чужих. Ксенофобия, кстати, естественна для человека. Ксенофобия может исчезнуть только тогда, когда не станет чужих. А они есть. И пока они есть, опасно не иметь ксенофобии.

– И кого вы считаете кардинально другими?

– Некрасивых людей. Ты ведь согласна, что примерно девяносто семь процентов людей некрасивы, из них половина – уродливы?

– Как посмотреть.

– Прямо. Не закрывая глаз. Строго говоря, красивых людей вообще нет. Красивый – идеальный. Ничего идеального не существует.

– Пожалуй, – согласилась я.

– Поэтому мы все – условно красивые. Но все-таки ближе к идеалу, чем большинство.

– Идеалы вообще-то менялись.

– Ерунда. Это успокаивают уродов. Дескать, когда-то были в моде женщины с длинными носами и отвислыми грудями, потерпите, может быть, опять войдете в моду.

– А почему – клуб спасения? Вас надо спасать?

– Не вас, а нас. Ты теперь тоже в клубе. Да, нас надо спасать. Это главное. Сейчас объясню. Представь, если на обложках всех журналов в мире, во всех фильмах, на телевидении, в рекламе и в шоу-бизнесе – только белые. Или только азиаты. Или только черные. Может такое быть?

– Нет. В нашем многорасовом мире – нет.

– Так. А может такое быть, чтобы на обложках, в кино, в телевизорах, на всех сценах, на всех рекламных постерах и во всех роликах – только геи и лесбиянки?

Я засмеялась.

– Представить легче, но тоже сомнительно.

– Ага. А теперь представь, что на обложках всех журналов, на всех каналах, во всех кинотеатрах, на всех сценах, и даже на политических трибунах – только красивые люди.

– Нет, – инерционно сказала я, но запнулась.

– А! – закричал Шуша. – Поняла фишку? В том-то и дело, что как раз это и есть, но никто пока этого не замечает! Одни красавцы! За редким исключением! Ведущие – красавцы, актеры и актрисы – само собой, в шоу-бизнесе тоже стараются, а уж на обложках и в рекламе – только красавцы, исключительно красавцы и красавицы! Громадное упущение в наш политкорректный и толерантный век! Но вот увидишь, скоро общественность опомнится! Поднимется хай обиженного большинства! Начнутся судебные процессы! Возмутятся жирные, кривые, косые, карлики и просто те, кого бог внешностью обидел! Начнут проценты считать! И добьются, чтобы им дали столько площади на обложках и столько времени в телевизоре, сколько они занимают его в реальной жизни. И красивые люди уйдут в маргинальное пространство. Они будут клянчить себе местечко хоть где-нибудь. Дойдет до того, что они станут меньшинствами и будут добиваться права на брак и совместный завод детей. Мы заранее должны дать бой. Должны объединиться. С условием чистоты рядов. Ни одной некрасивой физиономии чтобы и духу тут не было.

– А если папа или мама некрасивые? Или брат? Или сестра?

– Что ж делать. Бывает: у черных рождаются белые, у белых смуглые. Вывод – блюсти частоту расы. Спариваться и заключать браки только красивым с красивыми.

Шуша говорил убедительно, я слушала внимательно и задумчиво.

А он вдруг рассмеялся и погладил меня по волосам, будто старший:

– Какая ты доверчивая!

– То есть – ты прикалываешься? Ты все это придумал?

– Конечно. Нет, других я убедил, что так все и есть. На самом деле никакой опасности, симпатичные морды никогда не исчезнут, этого не позволит мировой капитал. Красота – товар или реклама товара, образа жизни, образа мыслей. Две тысячи лет назад один чувак сказал: придет дьявол и будет он лицом прекрасен. Красота – последняя идеология, которая осталась человечеству. Живи красиво, купи красивое, носи красивое, отдыхай красиво – и всего добьешься в жизни. Красота – тот крысолов из города *(тут он назвал какой-то город, не помню*)*, который приведет нас всех к пропасти.

* Гаммельн. – *Прим. изд-ва.*

– Красота погубит мир, – вспомнила я слова Мутищева*.

– Кто сказал?

– Один знакомый.

– Молодец.

– Он уже погиб. В каком-то смысле из-за меня.

– Не мудрено. Я красивей тебя никого не видел. А я тебе нравлюсь?

– Да.

– Тогда чего мы сидим и теряем время? Давай потреблять красоту друг друга.

И мы занялись этим.

Я полностью увлеклась новым образом жизни. Мне нравилась эта двойная экзистенция: на лекциях и семинарах я была скромной студенткой, сидела сбоку, с краю, в притененных очках, все скоро даже и забыли, что я какая-то там была краса всей страны (сказывается привычка ежедневно видеть и переставать обращать внимание тоже), а после занятий отправлялась по адресу, который мне предварительно присылали, и там начиналось все другое. Я могла не спать по несколько суток подряд, но чувствовала себя на первых порах великолепно. Прошел месяц угара, пока я наконец не поняла, что влепилась в элементарную наркоманию.

Это меня напугало. Я поделилась своими опасениями с Шушей. Он отнесся очень легко:

– Даже если и так – ну и что?

– Как это – ну и что? Я еще жить хочу.

– Так и живи, пока живется. Ты лучше послушай, что я тут недавно понял. У человека есть три вида чувств. Чувства высокие – ну, типа того, восторг любви, вдохновение, творчество, чувства материнства и отцовства, хотя это скорее не высокие, а коренные, но не важно. Чувства, короче, благородные.

– Ты можешь меня выслушать? – перебила я его. – Мне становится все хуже. Меня будто что-то выжигает изнутри каждое утро.

Он, не обратив внимания, продолжил:

– Теперь смотри: есть чувства низменные. Ограбить, убить, использовать в своих целях чужую жизнь. Мстительность, жадность, властолюбие. Ну, и так далее. Много. Чувства, так сказать, неблагородные. Улавливаешь?

– Улавливаю. Ты знаешь клинику, где можно полечиться? Только всерьез, а не просто деньги потратить?

– Итак, есть чувства высокие и низкие. И есть средние. Удовольствие что-то скушать, посмотреть. Удовольствие от скорости, от комфорта, от запахов – в общем, от вещей материальных. Так вот, я понял, что прогресс, развитие цивилизации, все то, что человечество придумывает и устраивает для себя на протяжении тысяч лет – это для ублажения средних чувств. Даже обидно! То есть хлебал ладошкой человек воду из ручья, а теперь пьет из фарфоровой чашки ароматный чай с шоколадными конфетами или пирожком, который он в микроволновке разогрел – и все, и в этом вся цивилизация! А восторг, вдохновение или, наоборот, мстительность, жадность – они от прогресса никак не зависят! Ну, рисовал человек самотертыми красками на стене пещеры, а теперь рисует на компьютере или даже, к примеру, снимает кино, сотни людей задействованы, камеры, устройства всякие, технические чудеса – а градус вдохновения одинаковый! Резал наемник человека ножиком или давал ему дубинкой по балде, а теперь достает за километр снайперской винтовкой... Ужас, – Шуша прикрыл глаза и покачал головой. – Лучшие умы напрягались, огромные средства тратились, фантазия у людей работала только для того, чтобы ублажить средние чувства среднего человека. Да и не среднего тоже. Очень грустно, Дина, очень. Успокой меня.

Я заглянула ему в глаза и поняла, что он меня не видит и не слышит.

Я поняла, что придется спасаться в одиночку. Довольно быстро нашла в Интернете адреса нескольких клиник, обзвонила их, подробно выспросила, какие методы, какова эффективность и, главное, во сколько обойдется. Мне расхваливали методы и называли цены. Цены были буйные.

* Видимо, Дина имела в виду Чижинцева. – *Прим. изд-ва.*

Но я была готова на все. У меня имелись деньги на разных счетах, на карточках, у меня даже был отдельный счет с чековой книжкой, как у одиночного предпринимателя, это Павлик постарался и оформил мне соответствующие бумаги, чтобы я платила меньше налогов с тех денег, что зарабатывала для себя и для него – он получал с меня проценты.

Поскольку во всех клиниках оплата была только личными деньгами, я решила снять некоторую сумму. Но мои карточки оказались пусты, со счетов каким-то образом деньги были куда-то переведены. А от моей чековой книжки, которую я еле отыскала, остались только корочки, внутренние листы все выстрижены. С ужасными предчувственными мыслями я позвонила в банк, мне сказали, что деньги выданы по моим чекам на другие лица. Я поехала туда, чтобы узнать, кому именно я выписывала эти чеки. Выяснилось – Винде и Шуше.

Сдерживая себя, я позвонила Винде и ничего не говорящим голосом сказала, что хочу ее навестить.

– А ты привезешь? – спросила она.

Я поняла, что Винда имеет в виду. У меня было, что привезти – даже в этом сказалась счастливая рациональность моей натуры, я всегда старалась иметь некоторый запас, чтобы продержаться до тех пор, пока начну лечиться.

Впервые я попала к Винде домой и была поражена. Она жила в страшно захламленной квартире с матерью, которую, не стесняясь меня, грязно обругивала – мне это было ужасно слышать, я не могла себе представить, что могла бы сказать своей маме что-то не только такими словами, но даже таким тоном. А еще меня поразило то, что я почти не узнала Винду. Эффективная блондинка с яркими глазами и красиво подгорелой кожей, такой она всегда была, а тут я увидела рыжую растрепанную девушку, с лица которой будто смыли глаза, бесцветную, почти уродливую. Но мне было не до разглядываний. Вручив ей то, что привезла, я, не дожидаясь, пока подействует (но понимая, что без этого действия вообще ничего не услышу), стала спрашивать, как получилось, что она снимала мои деньги.

– Тоже вопрос, – удивилась Винда, успев употребить наркотик и излучая первые признаки жизни из поголубевших опять глаз. – Сама же ты мне чеки выписывала.

– Когда?

– Неоднократно! Ты лучше послушай. – Винда развалилась в *(опять! Мягкое седалище с подручниками, черт меня побери!)*. – Я тут думала и поняла, что весь прогресс сводится к удовлетворению средних чувств среднего человека...

И она стала увлеченно пересказывать вялые идеи Шуши.

Мне стало плохо.

Я не хотела принимать очередную дозу, но меня сильно разваливало.

Я вышла на кухню, где мама Винды *(подвергала температурной обработке)* картошку на чугунной плоской поверхности с невысокими бортами.

– Надо что-то делать, – всхлипнула она. – Убить вас мало.

– Да, – сказала я. – Надо что-то делать. Убить нас мало. Соберите денег, Винду надо лечить.

– Где я их соберу?

– Где угодно. Квартиру продайте.

– А жить где?

– Совсем негде?

– Да можно у моей мамы, ее бабушки, притиснуться, она в двух комнатах живет. Но у нее же такой характер, что мы будем гавкаться каждый день.

– Вас что больше заботит – будете вы с бабушкой гавкаться или жизнь дочери?

– А ты не учи меня! – закричала мама Винды. – Марш вообще отсюда, наркоманка поганая!

После этого я позвонила Шуше и сказала все, что о нем думаю.

– Успокойся, – сказал он. – Ты права, нужно лечиться. Но вдвоем легче. Да и дешевле. Я знаю клинику, у них порядок такой: приведешь друга или подругу – двадцать процентов скидки. Приведешь двух – сорок процентов. Причем всем. Так что рванем всей компанией.

– Я не шучу, Шуша. Мне очень плохо. Ты украл мои деньги.

– Сама предложила.

– Когда?

– Нет, я не понял! Тебе нужны деньги? Приезжай, решим.

Перед уходом я заглянула в комнату Винды.

Она горячо говорила, обращаясь к стене, на которой висел потрет Высоцкого с гитарой (она его любила, а неделю назад перед этим мы были на его концерте)*, и говорила ему:

– Ты пойми, ненависть, любовь, с ними ничего не делается. Они не меняются. А средние чувства – разве стоит ради них жить? Ответь мне!

Письмо восемнадцатое

Да, Володечка, есть слабые люди, обладающие мощной силой. Это сила воздействия слабости. Ею обладал Шуша. Я пришла выбить из него деньги или хотя бы поругаться, порвать с ним. И сама не заметила, как через час оказалась с ним в постели и он нежно спрашивал меня, хорошо ли мне. И я отвечала, что хорошо. Секс был ни при чем – Шуша уже не был к нему способен. Просто он сумел уговорить меня, что нужно себя поддержать, нужно попробовать последний раз – и все обсудить.

Но обсуждать-то как раз и не хотелось. Хотелось спать наяву и видеть прекрасные сны.

Вместо лечения я опять угодила на этот круг. Где мы были, что употребляли, откуда брали деньги, меня это не интересовало. Я перестала ходить в университет. У меня была убежденность, что я скоро умру – и меня это радовало.

Были дни, а может и недели, когда я вообще совсем не чувствовала и не помнила себя, а очнувшись, попадала в такое состояние, будто лежу под колесами автомобиля, раздавленная, и не могу выбраться.

Такой я себя обнаружила однажды в квартире, с которой начались мои приключения – в квартире со сквозной дырой.

Я очнулась в интересный момент: на самом вверху сидел на перилах, ногами внутрь, Шуша и кричал:

– Докажите мне, что я должен жить! Хоть одну причину вгоните мне, что я должен жить!

Там было очень высоко, а внизу каменный пол. Прыжок был верной смертью или в лучшем случае калечением. Но друзья и подруги, наш КлуСКЛ, наш клуб красивых людей, среди которых была и разрисованная Винда, да и другие, как я наконец разглядела, тоже были подкрашены и улучшены, все только посмеивались. Но время от времени кто-то все же выдвигал свою версию необходимости жизни.

– Если ты умрешь, ты не женишься и у тебя не будет детей!

– И прекрасно! Значит, повезло девушке, на которой я не женюсь и детям, которые от меня не родятся!

– Если ты умрешь, ты больше никогда не закуришь, не вколешь, не внюхаешь!

– И отлично! Зато сейчас умру быстро, а после закурок, вколок и внюхов рано или поздно смерть долгая и мучительная. Кстати – всем гарантирую!

– Ты не напишешь прекрасных картин, книг и музыки!

– А я и так не пишу картин, книг и музыки!

– Нам будет тебя не хватать!

– Наконец-то! Наконец-то вам будет не хватать не чего-то, а кого-то!

– Ты огорчишь папу и маму!

– Они давно втайне хотят, чтобы я сдох!

– Ну и сдохни! – прозвучал негромкий и хриплый голос.

---

* Высоцкий В.С. (1938 – 1980), яркий представитель синтетического жанра авторской песни; рассказчица, конечно, путает: на его концерте в описываемом 2006-м году она быть никоим образом не могла. – *Прим. изд-ва.*

– Кто это сказал? – спросил Шуша.

Все вертели головами. Кто-то указал на меня:

– Она.

Я не слышала, что говорила это, но была согласна.

– Да, – сказала я. – Сдохни. Давно пора.

– Вот! – поднял палец Шуша. – Это я и хотел услышать! У Дины есть горючее желание, чтобы я сдох. Чем жив человек? Желаниями. Если я буду жив, у Дины желание, чтобы я сдох, останется, а если сдохну, оно исчезнет. Я не желаю ей зла. Я остаюсь жить!

Он повернулся, чтобы вылезти, и тут нога его соскользнула.

Он упал с молчаливой и глупой серьезностью – так кошки срываются со шторы, не понимая, что происходит. Но кошек инстинкт ставит на четыре лапы, а Шуша упал головой.

Я встала и ушла.

Я не интересовалась узнать, что там будет дальше.*

К кому я могла обратиться? К Борису. Он бы помог – и помог бы с радостью, но вот именно радости его я опасалась: он был муж моей сестры.

Все остальные были на уровне шапочного знакомства.

Чудовище мое не подавало никаких признаков существования. Выжидало в кустах – возможно, не зная, что со мной происходит.

Оставался Павлик Морзе.

Он даже не удивился, когда я позвонила, наоборот, будто ждал этого звонка.

Мы встретились очень странно: он сидел в своей машине, а я в своей, мы видели друг друга, но говорили по телефону.

– Ты меня боишься? – спросила я шутливо.

– Да, – сказал он вполне серьезным голосом. – Я вообще как о тебе подумаю, меня сначала страшно заводит, а потом я полдня без сил хожу. Ты энергетический вампир. Причем даже на расстоянии. Так что давай коротко, в чем дело? Деньги нужны?

– Да. Меня обокрали.

– Ну, не обокрали, своими руками деньги отдала.

– Откуда ты знаешь?

– Винда рассказала.

– Ты с ней знаком? – поразилась я. – Может, ты ее ко мне и подослал?

– Может быть. Короче, ты по уши завязла, хочешь вылечиться, тебе нужны деньги, я правильно понимаю?

– Да.

– А работу не пробовала найти?

– Пробовала, но...

– Ясно. Вид не товарный. Потеем не вовремя, бледнеем некстати. И на коже пятнышки. Есть на коже пятнышки?

– Есть.

– Кокс, он даром не обходится. Говорил я тебе, учил я тебя: веди здоровый образ жизни. Против Москвы есть только одно средство: уединение и здоровье. То есть два в одном.

– Ничего ты мне этого не говорил.

– Да? Забыл, значит. В общем так. Тебе нужны деньги, я знаю, как их достать.

– Что-нибудь паскудное?

– Не без этого.

---

* Дальше все было благополучно: А.В. Шепеляев выжил, лежал в больнице почти год, что позволило ему избавиться от дурных пристрастий, там он написал первый свой философский трактат на любимую тему «Вперед – задом», а впоследствии стал основателем школы антипрогрессистов. О его жизни и творчестве см. ресурс М. Выприна «Неистовый меланхолик», где, кстати, описана счастливая семейная жизнь с Виндой Стрюченко. – *Прим. изд-ва.*

Он вкратце изложил: есть такой феноменальный человек Бокинин, он же Бокий, Бокия, Бокинян, Бокинеску, Бокинелли, Бокински и т.п., гражданин мира, фантазийный бездельник и коллекционер. Коллекционирует знаменитых женщин. А именно: различными способами доводит дело до того, чтобы сняться со знаменитой женщиной в эротической голой позиции, можно без секса.

– Зачем ему это?

– Развешивает фотографии по стенкам и показывает друзьям.

– Но может и опубликовать?

– Исключено. Ему это не надо. Он готов расписку дать.

– И возьму. То есть взяла бы, – спохватилась я. – Я на это не пойду.

– Как хочешь, – спокойно отреагировал Павлик.

И отключил телефон, а его машина тронулась с места.

Я перезвонила ему и сказала, что согласна.

Да, Володечка, я согласилась. Все-таки без контакта, просто съемка. Как снимаются киноактрисы – и тоже иногда обнаженными.

Как это было, я не хочу рассказывать.

Главное – я достала деньги и прошла курс лечения. Не знаю, насколько именно это лечение мне помогло, потому что было чрезвычайно плохо и, в сущности, все сводилось к тому, чтобы терпеть, а чтобы легче было терпеть, давали седативные средства. Таким лечением я и дома могла заняться. Но было бы, конечно, труднее в одиночку.

Одиночка, Володечка! Как часто я повторяла мысленно это слово на разные лады: одиночка, одинокая, одна. Не к кому пойти. К Ларе и Борису – нарваться на тоскующие взгляды Бориса. С сокурсниками ни с кем толком не знакома. Были моменты – подмывало вернуться домой, к маме. Но это значило – слишком многое проиграть. Я застряну тогда навеки в своем любимом городе, где надо мной висит обещание неведомого человека завладеть мной через два-три года, значит, в который уже раз я убеждалась и говорила себе, нужна защита. Без защиты никак и нигде.

И опять пригодился Павлик. Странно, но только ему я могла позвонить и поделиться своими проблемами, только он выслушивал меня, понимал и даже брался помочь. Да, как умел, да, не бескорыстно (с коллекционера он взял очень хорошие комиссионные).

Павлик сказал:

– Ты должна сделать то, что давно пора сделать. Тебе нужен спонсор. А еще лучше – замуж.

Я сказала, что замуж нельзя – мне предстоит принять участие через полгода в конкурсе «Мисс мира», туда замужних не берут. Поэтому и «мисс», а не «миссис». А что касается спонсора, то мне это слишком противно. Моя аллергия обострится, я просто не смогу. Вот если бы нашелся человек, согласный на совместное проживание без контактных отношений.

– Найдем! – пообещал Павлик.

И нашел.

Письмо девятнадцатое

Вспоминая этого человека, Башмакова Константина Константина, я, Володечка, думаю почему-то сразу о тебе. Не потому, что ты мог от него родиться, нет, это еще не твой возможный отец. Просто вы чем-то с ним похожи. Легко представляю, как растила бы тебя с таким человеком, который, возможно, был бы неплохой отец.

Ты в моих воспоминаниях – застенчивый, тихий, скромный. И очень светлый – каким-то уютным светом, не режущим глаза и душу. Ты любил спокойные занятия: читать, слушать музыку в наушниках. Ты даже в компьютерные игры играл без звука. Очень увлекался мастерить руками, чего уже никто не любил в твое время. Всякие модели парусников, самолетов, старинных пароездов с вагонами, рельсами и маленькими станциями с полосатыми палочками поперек, которые ты просил меня открывать нажатиями кнопок, я веками в них путалась.

У тебя фактически не было того, что называют переходным возрастом. Ты рано понял, что высовываться и казаться лучше всех – пустое занятие, ты был не по возрасту мудр, ты быстро понял, что счастье можно найти на самом заурядном попирании, лишь бы оно нравилось.

В сущности, это я пересказываю характер и биографию Константина Константина, который стал моим защитником или, вернее, прикрытием на это время.

Удивительный человек.

Мне представлялось, что это будет зажравшийся богатей, которому нужна в подруги непременно победительница конкурса «Краса России» – для вип-экскорта, как это тогда называлось. Поэтому я поразилась, увидев его: мужчина около пятидесяти, напраснодушный, нет, это как-то не так, в общем – subtil*, небольшого роста, с мягкими серыми волосиками на голове, тоненьким ртом, маленькими глазками, тихим голосом. И страшно стесняющийся. Когда Павлик нас знакомил в ресторане, он смотрел то на Павлика, то в меню, то на подавателя. Наконец нашел возможность разглядеть меня – в стекле окна, отражавшем мое отражение. Но заметил, что я перехватила его взгляд, и покраснел, то есть кровь прилилась к капиллярам щек, что бывает в моменты, когда организм напрягается и кровеносная система переносит легкий шок.

Когда Павлик ушел, Константин Константин, кажется, готов был тоже сбежать.

Но выдержал и забормотал:

– Вы не подумайте, я понимаю, вы замечательная девушка, но вы мне не в этом качестве нужны, то есть... В каком-то смысле жизненная практическая необходимость. Вернее...

Постепенно, запинаясь, с пятое на шестое, он рассказал о себе следующее.

Жил с бабушкой и мамой в коммунистической квартире-развалюхе в центре, с видом на Кремль, такие контрасты в советское время были обычным делом. Постепенно все из этой квартиры уезжали или умирали, а у мамы Константина был практический брат, дядя Константина. Он посоветовал оформить его проживание в этой квартире на место выбывших жильцов, а всю ее взять в приватное пользование, заодно документально заплюсовав технический этаж над квартирой, то есть чердак. Так и сделали. Потом умерла бабушка, умерла мама, а вскоре от внезапной и тяжелой болезни умер одинокий, бездетный дядя. Совершенно неожиданно Константин стал владельцем жилой площади размером в несколько сотен квадратных метров и стоимостью в несколько миллионов дайлеров. Плюс несколько сот тысяч дайлеров, оставленных ему дядей. Вокруг квартиры кружили самые разные люди с предложениями продать, но Константин только морщился.

По профессии он был художник, но не творческий, а прикладной: рисовал обложки и иллюстрации для книг. Работал всю жизнь в издательствах, выпускавших фантастические книги. Больше всего он любил изображать неведомые планеты с кратерами вулканов, багровые закаты далеких светил и на этом фоне необыкновенно стройных космических мужчин и женщин рядом со стреловидными летательными аппаратами. Лица космолетчиков в прозрачных скафандрах были идеально правильными, как и их фигуры. Помимо иллюстраций и обложек он рисовал и для собственного удовольствия – то же самое, что для книг, только на больших матерчатых полотнах. Какие-то инопланетные города, корабли с оранжереями внутри, красные пустыни, буйные джунгли, магнитные бури и штормы океанов, состоящих из необыкновенной желтой воды. Кроме этого Константин ничем не интересовался. С женщинами обращаться не умел, потому что у него были бабушка и мама, а чего-то другого он не мог представить. Так и сидел дома, рисовал, иногда выходил прогуляться, а по вечерам обязательно смотрел два или три фильма – предпочитал опять-таки фантастику. Мысль о женитьбе иногда приходила, но с условием, что он кого-то сильно полюбит, а полюбить все не получалось. Да и странно, если бы получилось: он общался с продавщицами окрестных магазинов, а в издательства даже и не ходил, посылая свою продукцию электронным способом. Через полтора десятка лет таким методом удаленного сотрудничества будет работать почти треть населения Земли, да и в ту пору уже многие понимали абсурдность несоответствия современных приспособлений для работы и архаичных методов ее организации:

* subtil, *франц.* – субтильный.

люди зачем-то каждый день собирались по десять, пятьдесят, по сто и больше человек в одном здании и делали то, что они прекрасно могли делать, не выходя из дома, а для производственного моментального общения уже тогда существовало множество способов, включая развитые визуальные.

Однажды к Константину пришел стремительный человек с несколькими сопровождающими и пошел по комнатам. Оглядев все, посмотрев в окна и слазив на чердак, человек сказал:

– Покупаю.

– А я не продаю, – пожал плечами Константин.

– Бросьте! Рано или поздно или продадите, или вас просто убьют. Честно говоря, не понимаю, почему до сих пор не убили. Так что берите деньги, пока вам добрый человек попался.

И добрый человек назвал такую основательную сумму, что Константин вдруг понял, что на эти деньги можно будет купить приличную квартирку, а остаток позволит всю оставшуюся жизнь не работать. А работать ему уже надоело – редакторы шпеняли ему на отсталость, на слишкую традиционность его иллюстраций, на то, что он плохо пользуется возможностями компьютерных программ. Он часто мечтал о пенсионной старости, когда выбудет с работы по возрасту.

И Константин продал родительское гнездилище, купил квартирку рядом с лесопарком и зажил в свое удовольствие. Рисовал свои картины с неправдоподобными космическими закатами и неправдоподобно красивыми космолетчиками, гулял по парку, захаживал на обратном пути за продуктами, а вечерами смотрел фильмы. Вдруг откуда-то появился человек, представившийся агентом, и стал уговаривать Константина купить акции какого-то предприятия. Человек выглядел жуликом, предприятие было сомнительным, но Константин, чтобы не обидеть человека недоверием, купил сколько-то акций. А они взяли и подскочили в цене. Константин продал их, вложил по совету полусумасшедшего соседа Водякина, в какую-то, как их тогда называли, финансовую пирамиду. Водякин сам бы вложил, да денег не было. Удивительно то, что Константин, сам того не ведая, оказался одним из первых и успел получить приличные дивиденды, в то время как тысячи других вкладчиков оставались с носом. И так, недоуменно, то есть не понимая, зачем он это делает, Константин провернул за свою жизнь несколько операций и оказался при таких деньгах, что не представлял, что с ними можно сделать. На каждой операции он стопроцентно должен был прогореть, но почему-то не прогорал. Ему взялась помогать соседка Виктория – советами, а заодно общим уходом за одиноким мужчиной. Константин потом уверял меня, что Виктория обладала способностями гипноза, потому что он не помнит, что с ним было и как, а очнулся он в состоянии секса с Викторией и, как выяснилось, успел подарить ей машину, множество драгоценностей и кучу нарядов. Константину стоило больших трудов и средств разделаться с влюбленной соседкой, которая устраивала истерики и скандалы, отнимая у него время от творчества и просмотра фильмов.

От этих волнений у Константина даже сделался сердечный невроз, он пошел к врачу общего профиля, это была женщина. Она слушала Константина внимательно и сочувственно, как сестра. Он выложил всю правду. Докторица сказала ему, что самое последнее дело – доверять женщинам. Ему нужен человек, который будет его оберегать и давать советы, потому что он слишком бесхитростен. Вскоре оказалось, что докторице удобнее всего оберегать и давать советы, проживая у Константина в доме вместе с трехлетней дочкой. Полгода ушло у деликатного Константина на то, чтобы избавиться от обереганий и советов докторицы. После этого он год с наслаждением жил один, но однажды вечером, в дождь, возвращался домой и в подъезде увидел всю мокрую, дрожащую девушку. Он привел ее домой, отогрел, напоил чаем, оставил ночевать в другой комнате. Девушка сама пришла к нему ночью и сексуально отблагодарила. И осталась, и была покладистой, послушной, как плюшевая игрушка. А потом исчезла вместе со множеством вещей и всеми наличными деньгами, которые были у Константина в его квартире.

Константин задумался. Он сказал себе: ничего этого не произошло бы, если бы у него в доме была жена или женщина. Но он не хочет ни того, ни другого без любви. А любви нет. Но есть ведь какие-то коммерческие варианты расчетливого сожительства, когда для женщины это является

просто работой. Он стал искать эти варианты через Интернет и нашел множество посредников, а через них вышел на Павлика, который ему меня и сосватал.

У нас совпадали цели: мне нужен был мужчина, который обозначал бы, что я занята и уже одним фактом своего существования оберегал бы меня от лишних посягательств. Но без контакта и вообще с минимальным общением, потому что античеловеческая аллергия моя в это время очень усилилась. А ему нужна была женщина, которая обозначит, что święte miejsce nie jest puste*, милые дамы, пошли вы все прочь.

Письмо двадцатое

Очень точно написал, Володечка, наш великий поэт Пушкин, жаль только, не помню, как это звучит по-русски, а в английском переводе:

The habit is given over to us,
Replacement fortunately it!**

Я быстро привыкла к Константину Константину, он даже мне начал нравиться. Не как мужчина, это было исключено, а как человек, как духовная подстанция. В своем доме он выделил мне целый этаж***, где я могла спокойно заниматься книгами, слушать музыку и тренировать свое тело, потому что предстоял конкурс «Мисс Мира». Он должен был состояться в курортном городе... Не помню, то ли Адана, то ли Анадырь... Неважно. На этот раз меня курировала зарубежная солидная фирма, представители которой часто встречались со мной, вели предварительную работу, заключавшую много формальностей – в частности, они специально возили меня на медицинский досмотр в Швейцарию и вообще, как я потом выяснила, собирали обо мне сведения. Чуть все не рухнуло, когда они добрались до наркотической клиники, где я лечилась, но умные хозяева и руководители клиники имели совсем другую вешалку на воротах, на которой значился лечебно-отдыхательный профилакторий. Организаторы не хотели неприятностей, если выбранная «Мисс Мира» окажется бывшей наркоманкой, проституткой или порноактрисой. В конце десятых годов прошлого века этой неполиткорректности отборочных комиссий был положен конец, с триумфом была избрана первая «Мисс Мира» – больная СПИДом порнозвезда, которая целый год ездила с благотворительными акциями и собирала средства на лечение больным, а потом вышла замуж за султана какой-то нефтеносной арабской страны и прожила, насколько я знаю, еще лет девяносто, так что история не совсем понятная.

Итак, я занималась подготовкой, учебой, а время от времени ходила с Константином Константином на презентации и выставки, куда его приглашали как художника и эксперта, хотя он сам не выставлялся. Все видели, что он со мной, поэтому женщины на него не покушались. С обратной стороны, мужчины, видя, что я занята, хоть и пытались подать какие-то знаки (были сообщения, электронные письма и т.п.), но все-таки не так открыто.

Вечерами мы часто были в гостиной – я в своем дальнем углу, он в своем, я читала, он рисовал. Время от времени он смущенно поглядывал на меня. А ко мне периодически подкрадывалась странная мысль. Вот, думала я, Володечка, практически идеальный мужчина, который может стать твоим отцом. Тихий, спокойный, заботливый... Но это означает последнюю гавань, а линкор моей души это не устраивало – хотелось распустить паруса и плыть по морям всего мира.

Однажды я попросила разрешения посмотреть его картины.

Он провел меня в огромную свою студию, всю увешанную его многолетним творчеством. Это был фантастический мир других миров, но без звездных войн и катаклизмов, а если где и было

* święte miejsce nie jest puste, *польск.* – свято место не пусто.

** Привычка приведена к нам,
Замена счастью это!

*** В квартире? Откуда взялся дом? – *Недоуменное прим. изд-ва.*

извержение космического вулкана, оно выглядело безобидным. Космос у Константина Константина выглядел ручным и изумительно стерильным, у него не было абстрактных композиций, не было огненного пламени и бушующей плазмы, а если и были – то за бортом корабля, в виде вида из иллюминатора, в самом же корабле – чистота, уют, и обязательно люди. Без людей картин не было. Тоже стерильные, с правильными, как я уже упоминала, фигурами и чертами лица – идеальные представители человечества, которые с детским любопытством, с энергичными исследовательскими улыбками вглядывались в окружающие чудеса. Это был обитаемый космос, но при этом все-таки космос – яркое, неведомое, красивое.

Все это я высказала Константину Константину и удивилась, что он, имея знакомства со всеми известными галеристами, не попробовал хоть раз устроить выставку своих работ.

– Это смешно, – пробормотал он.

– Ничего смешного, – сказала я и немедленно позвонила Марату Гельману, с которым была хорошо знакома*. Тот сразу же заинтересовался и, не имея сам времени, прислал своего специалиста. Тот ходил возле картин, хмыкая, а потом при нас проконсультировался по телефону с Гельманом и сказал:

– Через две недели шеф сам заедет.

Шеф заехал, походил, покачал головой и сказал:

– Сейчас в голову никому не придет такое выставлять. Но это и хорошо. Через месяц устроим пробную экспозицию.

А Башмаков начал отбирать картины, попросив меня помочь.

– Вот это неплохо, – говорила я.

– Нет, – морщился Константин Константин. – Не то. И откладывал влево – там росла гора забракованных картин. Справа же было не больше дюжины. Но и из этой дюжины, пересмотрев, Башмаков отправил влево еще четыре, потом еще две, а потом и все остальное. Справа осталась пустота.

– Мне нечего показать людям, – мрачно сказал он и ушел спать, не дав мне высказать ни одного отговорчивого слова.

Ночью я проснулась от звуков.

Прошла в студию.

Увидела: Константин Константин стоит перед холстом, квадромузыка играет что-то мощное и трагическое, а он покрывает полотно широкими мазками. Вот отошел, осмотрел, оглянулся и увидел меня. И сказал:

– Пойми, ты ведь тоже там будешь. Я не могу показывать в твоем присутствии ту мазню, которая у меня была. Я должен выйти к людям с новым качеством.

Через месяц почти непрерывной работы у него было готово пятнадцать больших, метр на два, полотен. Это было то же, что и раньше: красивые люди среди красивых космических пейзажей. Но Константину Константину почему-то казалось, что все стало лучше, величественнее, искуснее палитрованней. Я соглашалась. Мне хотелось сделать ему приятное.

Было открытие выставки. Конечно, газеты писали обо мне, интровидение** тоже меня транслировало, но и Башмакова не обошли вниманием. Для экспозиции предоставили лучший зал «Мега-арт-паласа»*** на втором этаже, были люди бомонда, искусства, политики. Мнения были полюсовидные – от полного неприятия, до льстивых восторгов. Но для Константина Константина главным было то, что к нему подошел Зураб Церетели**** похлопал его по плечу и сказал:

– Гениально! Это совершенство дилетантизма, это дилетантский абсолютизм!

И тут же это удачное выражение было подхвачено многими, через неделю все писали и транслировали о дилетантском абсолютизме как о самом продвинутом течении современного искусства, утверждая при этом, что лучшие мастера – это ученики самого Башмакова К.К.

* М. Гельман в своих мемуарах об этом знакомстве не упоминает. – *Прим. изд-ва.*

** Ошибка: интровидение появилось в 2016-м году. – *Прим. изд-ва.*

*** Опять ошибка: «Мега-арт-палас» тогда еще не был построен. – *Прим. изд-ва.*

**** Еще один неизвестный персонаж. – *Прим. изд-ва.*

Константина Константина это смущало. Экспозицию пригласили несколько стран, он мечтал, как поедет туда со мной. Но он считал, что не хватает главного – моего портрета.

– На фоне марсианских скал? – спросила я.

– Может быть. На фоне самого фантастического сюжета, которого ты достойна.

И он, попросив меня позировать, трудился с утра до ночи, но не показывал мне результата.

А позировать было все труднее, потому что он иногда застывал и подолгу смотрел не на холст, а на меня.

Однажды приблизился, то есть сделал несколько шагов в моем направлении, и сказал:

– А если тебе понравится, мы можем?

– Что?

– Ну... Мы можем?

– Что можем?

– Ты не догадываешься?

– Смотря что ты имеешь в виду?

– Побыть вместе, как мужчина и женщина? Хотя бы один раз?

– Хорошо, – сказала я с легкостью, не подумав о последствиях.

И он чуть ли не бегом вернулся к портрету и продолжил работу.

Но, видимо, дело оказалось труднее, чем ожидал.

И все-таки однажды, когда я вошла в студию, портрет был закрыт материей, а Башмаков стоял рядом, торжественный.

– Наверное, это все.

– Наконец-то.

Я хотела посмотреть, но он сказал:

– Постой. Я еще раз гляну. Для очищения совести.

Он сорвал покрывало, вцепился взглядом в портрет. Лицо его приобрело сероватый оттенок. Он набросил обратно покрывало и сказал:

– Нет. Еще нет.

Меня это даже заинтриговало. Однажды я улучила момент рано утром, когда он спал после ночной работы, пробралась в студию, подошла к мольберту, тихонько сняла полотно.

Я увидела обычный для Башмакова инопланетный пейзаж с чистыми красками и линиями. Увидела себя. Наверное, на этой планете была земная атмосфера, потому что я была без скафандра. В легком облегающем костюме вроде спортивного, правильно стройная, правильно красивая, похожая на себя и одновременно на куклу или манекен, который кто-то с меня слепил. Я была стерильной и безжизненной, как все вокруг. Но мне это даже скорее нравилось. Для меня в картинах Башмакова это было вообще главной привлекательной особенностью: он словно убирал себя, свой взгляд, он показывал фантастическое, как существующее, а люди были такими, что каждый мог при желании рассмотреть в них то, что хотел.

Вспыхнул свет. Константин Константин каким-то образом почуял, что я тут, и пришел. – Извини, – сказала я. – Не понимаю, зачем ты это прятал? Все готово.

Он подошел, взял нож и стал резать холст с резким звуком раздирания.

– Я бездарь, – сказал он. – Я и раньше это знал, но меня не беспокоило. Рисовал и рисовал себе.

– Перестань. Во-первых, ты не бездарь.

– Бездарь!

– Хорошо, бездарь. Все равно, кто тебе мешает, рисуй и рисуй, как раньше.

– Я не могу, как раньше, – закричал он с неожиданной детской капризной интонацией и показался мне большим пятидесятилетнем ребенком. Это было смешно – тогда, Володечка, это бывало у мужчин хоть и часто, но довольно редко. Тогда не было гипнорелаксирующих сеансов, когда мужчина хоть пятидесяти, хоть восьмидесяти лет, тоскующий о детстве, приезжал в специальные центры, заказывал два-три дня и пребывал в них пяти, десяти, пятнадцатилетним – как ему хотелось,

со всеми прелестями этого возраста, главная из которых полная безответственность. Видел бы ты блаженных здоровущих мужчин, которых няньки сажают на горшок, кормят с ложечки, одевают для прогулки, шлепают за провинности, награждают сладостями, видел бы ты, с каким наслаждением они смеются и плачут, носятся по комнатам (хоть и с возрастной уже одышкой), дерутся, нанося иногда друг другу не детские травмы, но все равно после этого они всегда были счастливы...

– Я не могу, как раньше! – сказал Константин Константин. – Я хочу быть гениальным – для тебя. Потому что рядом с тобой должен быть гений. Нет, лучше уходи, – неожиданно завернул он.

– Куда?

– Все равно! Исчезни! – закричал он и даже затопал ногами.

А потом убежал, но тут же прибежал с бутылкой алкоголя, стал ее пить и неожиданно передо мной 實踐 *:

– Ты пойми, – говорил он, – я еще в восьмом классе влюбился в самую красивую девушку школы. Да что школы – может, всей Москвы, потому что я красивее никого никогда не встречал. Само собой, я к ней ни разу не подошел, ничего не сказал. Но мечтал каждый вечер, каждую ночь. Как подойду, как скажу. Как мы будем целоваться, обниматься, а потом и все остальное. То есть секс я не исключал, но секс наивный, любовный, чистый... Это был психоз. Мечтать – мечтал, но знал, что не подойду никогда. Потому что она не для меня. Но все равно мечтал. Но понимал, что не для меня. И все равно мечтал. И тогда я вообще посмотрел вокруг – и увидел, что многое не для меня, но я же спокоен! Богатство, слава и все такое прочее – не для меня! Но я спокоен! А тут почему мучаюсь? Ну – не для меня. И успокойся! Нет, я с ума сходил. Почему?

– Любовь.

– Может быть. Короче говоря, мама с бабушкой меня даже к невропатологу водили. Это же было давно, тогда психология была наукой подозрительной, почти психиатрия, и вообще какая психология у советского человека может быть, кроме марксистско-ленинской? Нервным в советское время быть разрешалось, психом – нет. То есть можно, но опасно. Псих – почти диссидент уже на том основании, что говорит, что хочет. Короче говоря, приписали витамины, еще что-то...

Башмаков встал, походил, сел, выпил, продолжил:

– Болел я долго, года три. Но постепенно прошло. И я себе пообещал – больше никогда. Подальше от всего этого. Рисовать, смотреть фильмы – и все. Ни о ком не думать, не мечтать. Кстати, какие фильмы я смотрел, ты знаешь? И смотрю.

Он таким резким движением открыл дверцу *(вертикально стоящего короба для хранения вещей)*, что оттуда все посыпалось. Посыпались горой старые кассеты, которых давно уже никто не выпускал и не смотрел, диски, флэш-боксы с тысячами фильмов – и начал мне тут же из демонстрировать, включая то один, то другой – по несколько секунд. И везде почти сразу, на первых кадрах появлялись совокупные тела и слышались преувеличенные стоны.

– А еще здесь! – он включил компьютер с большим монитором, где тоже онлайн транслировались акты энергичной межполовой любви.

– Заметь причем, – комментировал Башмаков, – это не сброд какой-нибудь, это не подпольные съемки, это отборные звезды, красавицы, лучшие тела мира – я их, между прочим, по именам знаю, такое ощущение, что с некоторыми знаком.

После этого Башмаков все убрал, опять выпил, долго тер лоб.

– К чему это я?

– Видимо, к тому, что виртуальные отношения с незнакомыми женщинами посредством их партнеров тебя устраивали?

– Да. Можешь смеяться. Было чувство, что я могу все – и со всеми! И всегда! И я отвык хотеть живых! Это облегчило мне жизнь. Больше того, это сделало мою жизнь счастливой. Если я все-таки случайно встречал красивую женщину и начинал мучиться типично мужской мыслью – «почему не моя?» – я тут же бежал домой и находил девушку в три, я в пять раз лучше встреченной незнакомки!

---

* 實踐, *кит.* – исповедоваться.

– А что вы делали, когда не было этих фильмов, Интернета, даже журналов? Ведь такое время было, – спросила я, потому что хорошо знала историю и читала, что такое время действительно было в СССР. СССР, Володечка, означает Союз Советских Социалистических Республик, евразийское государство, включавшее в себя то ли пятнадцать, то ли двадцать пять стран, где люди говорили на 150 языках, там было принудительное и неэффективное, но относительно спокойное равенство, по которому многие потом скучали.

– Я сам рисовал! – заявил Башмаков. – Пойдем, покажу.

Он повел меня в дальнее открылие дома, отомкнул тайную комнатку и показал мне коллекцию картин, на которых были изображены сексующиеся мужчины и женщины в разных позициях. Занятно на мой взгляд было то, что в них только редкий человек увидел бы что-то возбудительное. Они были, как и космолетчики на инопланетных картинах Башмакова, пропорциональны, стерильны, это была какая-то абсолютно непорнографичная порнография – такой, буквальной и безгрешной, бывала она на древних индийских и античных изображениях, когда людям еще не сказали (вернее, когда они сами не сказали себе), что это грех, блуд и непристойность. Но, видимо, на Башмакова действовало – он и сейчас смотрел на свои старые творения любовно. Или, вернее, по-приятельски, будто встретил старых знакомых.

– Вот эту я очень любил, – показал он на девушку, изогнувшуюся под чреслами мужчины (сам мужчина ничем, кроме чресл, на картине не присутствовал), девушка была голубоватой, с такими формами ног, бедер и груди, каких не существует, рот ее был томно приоткрыт, сверкали белые зубы. – Аола, – назвал он ее имя, уверенный, как все фантасты, что у инопланетных девушек должны быть певучие и красивые имена.

– Ясно, – сказала я. – То есть ты был счастлив, а потом разбогател, появились живые женщины, которые по сравнению с этими оказались намного хуже?

– Да, – сознался он. – Ты такая умная, что я не хочу тебе врать. Именно так. Но с ними было просто, хоть я и не сразу разделался. С тобой труднее.

– Почему?

– Потому что ты первая, кого я хочу больше, чем их, – он имел в виду и своих нарисованных красавиц, и девушек из фильмов и Интернета.

Я не знала, приятно это мне было или неприятно. Скорее все-таки не очень приятно, потому что такие ситуации разговорами не кончаются, дальше следует что-то практическое и непредсказуемое.

– Поэтому я и говорю, – повторил он уже без крика и без топания ногами. – Лучше исчезни. Побеждай там на своих конкурсах, живи там с кем-нибудь. Подальше от меня. Я болеть и с ума сходить не хочу. И так, как дурачок, выставку устроил. Я же понимаю, что надо мной смеются. Дилетантский абсолютизм выдумали, идиоты. Там же мертвое все. Может, это им и нравится – сами мертвые потому что...

Константин Константин продолжал пить, но, несмотря на слабость характера и организма, совсем не пьянел. Зато от него меньше пахло человеком, как обычно, а пахло вином. И свет был у этой комнатки, где мы стояли, какой-то голубоватый, как на его картинах, будто инопланетный. Все казалось искусственным, но привлекательным. И он был похож на персонажа какой-то космической грустной истории. Мне стало жаль его, захотелось утешить и приласкать. Мне захотелось устроить праздник человеку, который всю жизнь страшился праздника.

– Откуда ты знаешь, – сказала я. – Иногда самое невозможное становится возможным.

– Только не дразни, – сказал он стонущим голосом и замахнулся бутылкой.

Я улыбнулась, взяла бутылку из его руки, отшвырнула. Она разбилась о белую стену коридора и окрасила ее своим выплеском. А ковер в коридоре был густым мягким, как альпака, это такой сорт искусственного меха*.

И я повлекла Башмакова на пол нежным движением, он опустился, не веря всем своим органам чувств, дальнейшее я взяла на себя, и вот уже мы с ним находились в том состоянии, которое

* Альпака на самом деле – животное семейства верблюжьих, полностью исчезнувшее в 70-е годы 21-го века, как и их родственники викунья, гуанако и лама. – *Прим. изд-ва.*

он раньше только наблюдал со стороны. Правда, привычка что-то видеть в стороне, наверное, осталась, потому что в один из кульминационных моментов я заметила, как он посматривает на свою синюю Аолу. Я аккуратно взяла пальцем его лицо в области уха и повернула так, чтобы оно было губами ко мне. Дальше за него сработал инстинкт.

И, кстати сказать, то ли оттого, что все перебил запах алкоголя, то ли по какой-то другой причине, я почти не чувствовала человеческих паров.

Последствия этого вечера были самые неожиданные. Башмаков выкинул все картины из своей тайной комнаты, все фильмы, без малейшего сожаления расстался со всем наглядным эротическим материалом, который образовывал его предыдущую жизнь.

Я насторожилась и сказала почти официально:

– Константин Константин, напоминаю, что по условиям договора о найме на работу (а такой договор меж нами был составлен), я имею право вас покинуть в любую минуту. Мне было с тобой приятно, – сказала я уже с большим сердечием, но этот был только раз, случай.

– Пусть, – сказал он. – Мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь!

Однако прошел день, прошел вечер, и я вдруг почувствовала, что не прочь повторить наш вчерашний опыт в более комфортных условиях. И сказала Башмакову об этом. Он чуть не заплакал от восторга. Я слышала, как он два часа плескался в ванной – зная о моей аллергии и стремясь смыть с себя все человеческое. Потом он сдобрился одеколоном, а я приняла свои обычные антиаллергенные таблетки.

... В общем, Володечка, это была очередная странность на Highway vjtq ;bpyb? Rjulf z gjnthzkf rjynhjkm yfl cj,jq b cdjbvb xedcndfvb/ *

Ничего не было оригинального и завлекающего в Башмакове. О внешности не стоит и говорить. Талант? Смешно. Я сама его продвинула, но я понимала ему настоящую цену. Человеческие качества? Да, он был добрым, вежливым, скромным, тихим, но это не имеет отношения к тому, что я испытывала. Может быть, он был искусный любовник? Отнюдь. Напомню, Володечка, что это было в пору, когда мужчина не имел способов регулировать продолжительность коитуса и время эякуляции, если ты понимаешь, о чем я говорю, а если нет, то тебе рано, и Башмаков был дисфункциален – то укладывается в минуту, то за час не может добиться результата, объясняя это свой восторженной скованностью передо мной, хотя мог бы уже привыкнуть.

Короче говоря, в нем не было ничего хорошего, но это были дни, когда я с удивлением чувствовала, что меня все устраивает. Я училась, готовилась к конкурсу, была очень занята, но к вечеру старалась неизменно вернуться домой. И еще за полчаса до встречи я чувствовала наперекор себе, как все мое женское естество стремится к неказистому, неумелому и, если уж говорить откровенно, не идеально пахнущему, несмотря на душ и одеколоны, телу Башмакова.

Я решила не рушить себе голову этой загадкой, полагаясь на жизнь, которая сама все расставит по местам. Как говаривали мудрые хохландцы: «Не мучать над завданням, якщо відповідь є в кінці підручника, а якщо його немає, подумай, чи так він тобі потрібен», то есть – «Не мучайся над задачей, если ответ есть в конце учебника, а если его нет, подумай, так ли он тебе нужен». Что, правда, не помешало им совершить ошибку и заключить в 2019 году военно-политический союз с Албанией, Румынией, Турцией и Арменией против России, причем сгоряча Украина не заметила, что Турция и Армения находились в состоянии пограничной войны**.

Письмо двадцать первое

Так уже было, Володечка: в конце двадцатых, когда ты связался с Creation-Destroy*** и пропадал на дни, на целые недели, я металась, не находила в себе места, но одновременно чувство-

* Эта запись осталась нерасшифрованной, кроме слова «хайвей», т.е. «шоссе» – *Прим. изд-ва.*

** Неподтвержденные исторические данные. – *Прим. изд-ва.*

*** Creation-Destroy или CD, «Созидание-Разрушение», экстремистская молодежная организация, один из ее лидеров, Пак Ван Ю, стал впоследствии третьим Президентом Парламента Европы. – *Прим. изд-ва.*

вала себя готовой к любому действию, была, как ни странно, почти оптимистичной. И наоборот, когда в середине тридцатых ты поехал, уже вполне респектабельный, знающий, что тебе нужно, на полугодовой семинар соларо-энергетиков, я не находила себе места, постоянно тебе звонила и ждала твоих звонков, будто вы находились в жерле вулкана, а не на вполне благоустроенной, курортной, самой мирной на земле палестинской территории. Такова извечная суть человека: с доисторических времен для него экстремальное есть нормальное, а нормальное – подозрительно. И даже губительно, как считали ваши лидеры-дистроевцы.

Возможно, время, которое я прожила с Башмаковым, было самое спокойное в моей жизни, но именно тогда мне было почему-то тревожно, страшно, неуютно. У меня были какие-то предчувствия – и они оправдались.

Башмаков не бросил рисование. Но если раньше он все делал чистосердечно, наивно, от души, то теперь не мог без смеха смотреть на свои творения, будто отношения со мной его переделали настолько, что даже изменили эстетическое отношение к действительности и собственному искусству. Но спрос на его картины был, поэтому он начал прикалываться, он рисовал их левой ногой, только не подумай, Володечка, это не буквально, это метафора – то есть в то время это была метафора, а в тридцатые годы самые модных картины были именно у ножных художников. Как ни странно, картины стали получаться живее, с оригинальной палитрой, с некоторым юмором – но тут же упал спрос. Марат Гельман объяснил Башмакову: постмодерн надоел, сейчас вовсю מינוס * только натуральное. Наив – натуральный. Дебилизм – натуральный. Натурализм – натуральный. А эти подделки всем уже надоели.

И, надо сказать, Константин Константин ничуть не огорчился. Деньги у него и так были, да еще была я, в славе он не нуждался, гениальным художником перестал мечтать стать (да никогда особо и не мечтал), зато появилась у него страсть вывозить меня повсюду и горделиво посматривать по сторонам. Раньше сидел дома, а теперь его поманило на люди, захотелось мной похвастаться. И простодушно радовался, глядя, с каким восхищением на меня все смотрят. Но потом вдруг в один момент помрачнел, увез меня домой и буквально запер. Я лишилась иметь возможность даже поехать на занятия. Решила поговорить с Константином Константином серьезно. А он стал вдруг сразу же грубить, говорить нелепые вещи, что я стремлюсь на волю, чтобы найти кого-то другого, что я только и делаю, что думаю об этом – то есть чтобы сменить его на другого. Я оскорбилась и сказала, что с этой минуты прекращаю с ним отношения. Он закричал, что я не имею права и что он мне платит. Я оскорбилась еще больше и пошла из дома, уверенная, что никем он меня не остановит. Но Башмаков забежал вперед, упал на колени и стал просить прощения. Сказал, что с завтрашнего дня все будет по-прежнему, а сегодня он просит одну только ночь переночевать с ним – так, как было в последнее время, то есть с контактом.

И мне опять жалко его стало, опять он мне показался неожиданно близким, уже каким-то природненным, будто муж, которому прощаешь многое, за ту сожитность, содушность и сокровность, которая вас объединяет.

Он был очень нежен в эту ночь, ласкался ко мне, двадцатилетней, как малыш к маме, хотя был в два с лишним раза старше меня.

А утром произошло то, что, как выяснилось, он задумал намного раньше. Он, оказывается, давно решил умереть, но почему-то не хотел, чтобы я видела его мертвым. Заранее он заказал металлический гроб из того материала, из которого делают *(ящики для хранения денег и драгоценностей)*. И вот этой ночью он принял сильного яда, от которого быстро умирают, выволок гроб из тайника, где он хранился, лег в него, закрылся крышкой и заперся изнутри.

Я резко проснулась, будто кем-то разбуженная, позвонила, куда следует, приехало множество людей. Долго решали, вскрывать гроб или нет. В бумаге, которая лежала сверху и являлась завещанием, заверенным *(человеком, который удостоверял подпись и личность людей, потому что тогда никто никому не верил на слово)*, кроме всего прочего была просьба не вскрывать, а похоронить, как есть, поставив памятник из белого мрамора с надписью «Умер от счастья».

---

* מינוס , *иврит* – проезжает в значении катит, в смысле – имеет спрос.

Родерика, которой – единственной – я рассказывала это, не верит мне. У нас с ней, Володечка, сложные отношения. Мне не нравится, что она постоянно врет, да еще и забывает, о чем врет. То она президентская жена, то дочь мегалоруса, чего при ее ста восьми годах быть не может – мегалорусы появились только в сороковых годах. То она актриса воздушного аниме, то участница мираж-шоу, в общем – все исключительно масштабное, из разряда событий, которые я бы помнила. И я их помню, но не помню Родерику. Она в свою очередь говорит мне, что я рассказываю какие-то фантастические истории. Особенно злится, когда упоминаю вот это вот – надпись на памятнике: «Умер от счастья». Говорит, что представить не может, чтобы человек придумал себе такую смерть, если он конечно не абсурдяк*.

Я не переубеждаю ее. Я понимаю, что история моей жизни может показаться необычной, она и мне самой иногда такой кажется, хотя на самом деле – что в ней сверхъестественного?

Но вообще-то мы с Родерикой общаемся довольно приветливо. Я живу в лучших условиях, в ячейке, я бы рада уступить ей свое место хоть на несколько часов, но этого нельзя делать без разрешения, а разрешения никто не даст. У нас тут, Володечка, с одной стороны все очень просто устроено, потому что все свелось к простому физическому труду и потреблению оставшихся от предыдущей эпохи концентратов, а с другой, все как-то слишком заформализовано. Функциональные люди, которые всем управляют, постоянно твердят, что они никому ничего не могут запретить, каждый волен делать то, что хочет – если получит разрешение. Но где получить разрешение на что-либо, никто не знает.

Кстати, в фантастических фильмах столетней давности будущее, то есть теперешнее настоящее, изображали исключительно в серо-ржавой палитре. Люди в драной одежде, каменистая пустыня или пустынная вода. Все не так. Земля покрыта буйной растительностью, она сейчас очень красива – ослепительно изумрудные холмы, покрытые лишайниками, папоротниковые леса, грибные деревья. Но все это заражено и не годится в пищу. А вот злаков нет. И настоящих деревьев нет. А сушеные листья папоротников быстро горят и плохо греют...

Итак, после смерти Башмакова, которая меня надолго депрессировала, я осталась одна.

То, что произошло, вызвало множество слухов. Мне бесконечно звонили журналисты и просто праздные люди с праздными вопросами. Главное – эта волна могла подмочить мою репутацию и поставить под угрозу участие в конкурсе «Мисс Мира». Я решила побыть в одиночестве, снять мобильный дом и купить один из самых извилистых и глухих подмосковных маршрутов. Мобильный дом, Володечка, это не просто автомобиль на колесах, не трейлер, это настоящий, довольно большой дом, но передвижной. Когда такие жилища вошли в моду, их движение было хаотичным, без правил – как движение автомобилей в эпоху появления первых экземпляров, но быстро ввели регламентации, иначе всем захотелось бы подкатить на своем доме к Лазурному Берегу или спланировать, если это аэрохаус, на Мальдивские острова. Появились маршрутные карты или, короче говоря, маршруты, по разной цене, разной степени привлекательности. Я помню, что, как ни странно, чуть ли не самими модными были маршруты в Антарктиду: недельное проживание стоило в пересчете на местную валюту пять-шесть тысяч киви-мани, это очень доро-

* Абсурдяк, абсурдячество – речь идет о явлении, возникшем в шестидесятые годы: неофициальное мировое первенство на самые бессмысленные поступки, включая наиболее бессмысленную смерть, причем это должно быть запланированной акцией, а не случайностью (случайные смерти проходили по категории известной премии Дарвина). Большинство поступков были однотипны и не слишком оригинальны: завыть по-волчьи на международной конференции (Президент Дальневосточной Республики Йоко Листвянкина, 2062 г.), измазать себя и гостей компостом на собственной свадьбе (Юстас Шелдон, 2063 г.), прикрепить себя к метео-ракете и запустить на высоту 14 000 м., вернувшись, естественно, мертвым (Бруно Шварцвальдер, 2067 г.). Абсолютным победителем считается космо-перевозчик Харди Шпеер Коломеенко, который примагнитил на свою траекторию астероид диаметром несколько километров с тем, чтобы упасть вместе с ним ровно шестого июня 2066 года (06. 06. 66); это вовремя заметили, астероид отвели и аннигилировали, когда Коломеенко спросили, зачем он это сделал, он ответил: «Столько ужасов болтают про то, как Земля сойдет с орбиты. Хотелось посмотреть». – «Дурак, – ответили ему. – Как ты мог на это посмотреть, если бы сгорел в долю секунды?» – «Ну, другие посмотрели бы», – ответил Коломеенко. «У других тоже не было на это шанса! Этого не увидел бы никто!» Коломеенко, узнав об этом, страшно огорчился. – *Прим. изд-ва.*

го. В маршруте фиксируется, где и как ты будешь передвигаться, где и сколько будешь находиться на стоянке. Отклонения караются штрафами. Но зато гарантируется конфиденциальность.*

Письмо двадцать второе

Приближался всемирный конкурс красоты. Активизировались мои кураторы и помощники. Опять возник Павлик Морзе в виде медиа-координатора с российской стороны.

Там много чего происходило вокруг и около, это интересно вспоминать, но трудно рассказывать, потому что как перескажешь свои ощущения? Я пришла в себя после печальных событий, чувствовала себя уверенно, самой умной, самой красивой на земле. Ты скажешь, Володечка, что твоя мама хвастунья. Да, не без этого. Но существует же – пусть теоретические – что-то самое-самое? Да и не только теоретически. Есть самая крупная жемчужина, самое высокое дерево, самая длинная река. Это объективно. Почему не допустить, что я на тот момент действительно была самой красивой женщиной Земли? Мешает одно – красота все-таки не такой объективный параметр, как длина, высота и размер.

Единственное, чего я боялась – что разыграется опять моя аллергия. И она, конечно же, разыгралась, я находилась под постоянным наблюдением врачей, которые запретили мне, кроме самых необходимых случаев, контактировать с людьми.

Я тогда жила в стационаре, где-то в центре Москвы, в доме, где внизу была охрана, на каждом этаже охрана, да еще перед моей дверью устроители конкурса посадили охранника.

Поэтому я крайне удивилась, когда однажды увидела, будто материализовавшееся привидение, крупного мужчину, мягко вплывшего в комнату, где я отдыхала, слушая тихую музыку.

Не растерявшись, я нажала на кнопку экстренного вызова своего телефона и спросила:

– Вы кто?

– Страна не знает своих героев! – укоризненно воскликнул крупный человек и мягко сел в *(да когда же я это вспомню – такое с наручниками; и метод курицы-яйца не помогает, потому что ничего не припоминается, связанного с яйцом и курицей)*.

– Стоит уехать на пару лет – и все, ты никто! – сокрушался он. – Все газеты показывали, все телевизоры печатали, то есть наоборот – и на тебе, даже не узнают! Тебе сколько лет?

– Почти двадцать два.

– Должна знать, – уверенно сказал крупный человек.

– Не знаю. Я мало читала газеты и смотрела телевизор.

– Ну ладно, – словно пожалел меня он и перестал играть в угадайку. – Цапаев Виктор, можно просто Витя.

И он умолк, чтобы полюбоваться произведенным эффектом.

Эффекта не было.

На самом деле я вспомнила его, просто не хотела показывать вида. Виктор Антон Цапаев – один из самых богатых людей России и мира, у него пару лет назад случились какие-то политические трения с кем-то, не помню подробностей, да и неважно, он уезжал – и вот вернулся, и вот оказался у меня в комнате.

Из охраны никто не шел, я продолжала нажимать на кнопку.

– Да брось ты, – заметил он. – Не жми на пупочку. Они все зафиксированы. Лежат и отдыхают. Нет, живые, не беспокойся. Свет у тебя плохой, – огляделся Цапаев.

– Мне достаточно, – сказала я. – Мне действительно хватало неяркой лампы на стене, создававшей полусумрак.

– Я на тебя посмотреть хочу.

Цапаев встал, нашел включатели, и комнату залило максимальным светом, который зачем-то запланировали при отделке, но которым я никогда не пользовалась. Это был, Володечка, стран-

* Все описано верно, но нужно учитывать, что мобильные дома и маршрутные карты появились только в двадцатых годах 21-го века. Скорее всего Д. Лаврова просто перепутала время, от чего суть не меняется. – *Прим. изд-ва.*

ный обычай того времени, вспоминая о котором, нынешние мои современники grind* зубами от досады: сколько везде горело лишних лампочек, сколько текло впустую настоящей живой воды, сколько тратилось калорий на обогрев лишних кубометров жилья, не оптимальных для проживающих в нем людей. Но ты не поверишь, если бы я сказала об этом тогда, то в лучшем случае получила бы в свой адрес ухмылку или даже смех. Экологи и так называемые зеленые, то есть защитники природы, считались идиотами, я не шучу, Володечка. И люди полагали, что их дела, которыми они живы на сегодняшней день, намного важнее, чем дела и жизнь их детей, которые, кстати, у многих из них так и не родились, не говоря уж о внуках, а те, что остались живы, не говорят спасибо своим предкам, обрекшим род человеческий на угасание.

Но вот странно: сама пишу об этом, а сама – вот сейчас – чувствую, что для меня гораздо важнее рассказать о себе и о тебе, Володечка, чем думать о будущем человечества. Ибо человек в своем неискоренении неискореним. Как писал японско-корейский философ Я Хуэю:

당신은,하지만 그렇게는 안 될 것이 인간의 어리석음을 제거할 수있습니다 인간 **

Осветив меня, Цапаев смотрел на меня долго, пристально и нагло.

– Хороша, хороша, – сказал он. – В самом деле, хороша. И что, ты действительно никого из нормальных людей к себе не подпускаешь?

– Кого вы называете нормальными людьми?

– Ну, не таких же, как твой художник покойный. Серьезных людей.

– Правителей, капиталистов?

– Можно и так назвать. Элиту.

– Я вообще мало кого подпускаю. У меня аллергия на человеческие запахи. На звук голоса. Даже на цвет глаз, – сказала я, думая, что слегка фантазирую, но именно в этот самый момент понимая, что это правда: всегда, например, ненавидела голубоглазых блондинов и жгучеглазых брюнетов. Видимо, это нелюбовь к крайностям.

– Надо же. А у меня вот карие, – обеспокоился Цапаев. – Ничего, не тошнит?

– Нет. Но вы человек полный...

– Говори прямо – толстый.

– Да, толстый. Вот на это у меня точно аллергия.

– Ясно. И сколько тебе надо маней, чтобы твоя аллергия прошла?

Мне стало скучно, я отвернулась.

– Что? Вопрос не понравился? – спросил он усмешливо, не веря, что такой вопрос может не понравиться.

– Да нет. Просто такое ощущение, что я смотрю фильм, который видела уже сто раз. Одни и те же слова.

– Слова те же – деньги разные.

Я посмотрела ему прямо в глаза и четко произнесла (почему-то испытывая жесточайший приступ отвращения):

– Слушайте, Цапаев. Никогда, даже под страхом смерти у меня с вами ничего не будет. Даже не надейтесь. Потому что такие, как вы, мне надоели. Потому что я вас ненавижу. Потому что... – дальше я не нашлась слов.

А он все это выслушал чуть ли не с удовольствием. И воскрикнул:

– Молодца! Ладно. Этого я и хотел. Бороться будем, девушка. Учти, запрещенных приемов для меня нет.

– Что вы имеете в виду?

– Да много чего. У тебя сестра, мама, братик.

Мне стало страшно.

– Если вы что-нибудь с ними сделаете...

---

* grind, *англ.* – скрежетать, скрежещут.

** *корейск.* – можно искоренить глупость в человечестве, но тогда это будет не человечество.

Он поднял руку:

– Не торопись. Я сперва хочу по-мирному, по-доброму. Видишь в чем штука, – пожалел он меня, – тебе просто не повезло. Если я чего-то хочу, то это все. Это у меня будет. Хоть ты тресни. Я сам не рад, что такой упрямый, но что делать, – развел он руками.

Цапаев ушел, а я долго еще сидела, окаменевшая.

Все это казалось мне дурным сном и идиотизмом.

Я готова была проклясть свою красоту, потому что она, оказывается, вместо того, чтобы сделать мою жизнь и жизнь будущих детей безопасной под защитой красивого и сильного человека, наоборот, сплошь и рядом подвергает меня опасности.

Я поняла, что Цапаев подлец безграничный и ни перед чем не остановимый. И вдруг вспомнила о своем саратовском чудовище. Почему о нем ни слуху, ни духу? Чего он ждет?

Мне вдруг представилось, что этот неведомый человек – единственный, кто может меня выручить. Он тоже опасность, но по сравнению с другими – такая ли?

Мне вдруг захотелось его найти.

Но как?

Я придумала способ.

Я позвонила Владимиру, который в это время был активно действующий журналист, и сказала, что могу дать ему интервью на скандальную тему, он сможет это интервью продать не местным, а центральным изданиям. Он заинтриговался. Я рассказала ему про Цапаева. Понимала, что рискую, но: 1. Теперь, когда его намерения будут известны всем, Цапаев не посмеет прибегать к подлым мерам: есть же все-таки в стране закон и правоохрана! 2. О Цапаеве узнает мое неведомое чудовище и, возможно, захочет вмешаться и помочь. 3. Не исключено, что захотят помочь и другие. Кто-то, имея отчасти корыстные помыслы, а кто-то и от души. В России всегда находилось много людей, готовых помочь красивым девушкам.

Таков был мой план.

Потому что, повторяю, Цапаев показался мне реально страшен, особенно когда я начиталась в сети о его многочисленных подвигах, граничащих с криминалом. С женщинами он себя вел особенно безобразно: когда ему понравилась актриса К., он сделал так, что ее уволили из театра и не снимали ни в одном кино, ни в одном сериале. Актриса К. срочно вышла замуж за продюсера М. Но продюсер М. разорился и покончил с собой. Актриса К. уехала за границу и нашла там себе френдбоя из бывших русских евреев, богатого адвоката – адвокат в течение месяца лишился всей практики, а потом попал в клинику психических отклонений, где надолго застрял. Короче говоря, актрисе К. пришлось смириться и пойти навстречу Цапаеву, но, когда ее доставили ему в имение, он глянул на нее искоса, держа на коленях какую-то девушку, и сказал:

– Ну вот, дура, говорил я тебе? Уйди, расхотел я тебя.

Такими поступками он создал себе репутацию человека, которому невозможно отказать, опасно отказать. Создал нарочно – и тешил себя этим.

Итак, я по телефону рассказала Владимиру всю эту историю. Мимоходом с уважительным и заинтересованным интересом спросила, как у него отношения с пусть-Машей. Он сказал: все нормально, возможно, скоро поженимся.

Человеческая фантазия убога. Половина газет, которые напечатали интервью, назвали материал «Красавица и Чудовище». Но, кстати, везде к слову «чудовище» были приставлены кавычки, а потом еще часто был вопросительный знак. То есть мы как бы не утверждаем, а как бы интересуемся и предполагаем.

Цапаев позвонил мне, долго смеялся и сказал:

– Интересно, на что ты рассчитывала? Нет, вообще-то даже неглупо: у меня сейчас такой момент, что лишний раз нельзя светиться и кого-то трогать. Но это сейчас. Завтра я разозлюсь и будет хуже. Не боишься?

– Если я почувствую, что вы представляете для меня серьезную угрозу, я приму меры.

– Да неужели? Какие?

– Вплоть до того, что найму киллера.

Киллер, Володечка, это значит – наемный убийца. Найти его в России того времени не составляло никакого труда, причем услуги их были дешевыми, так как рынок был обширным, спрос превышал предложение (в данном случае спрос – это количество людей, готовых наемно убить за копейки, а предложение – количество заказчиков: на предложение каждого заказчика сбегалось пять-шесть профессиональных убивателей). Конечно, я не собиралась всерьез исполнить свою угрозу, но никто не знает, на что способен человек, прижатый к стене. Поэтому я все-таки не исключала возможности и такого варианта.

Цапаев смеялся, но его смех был деланный.

– А ведь ты доиграешься, – сказал он. – Ты на конкурс «Мисс Мира» можешь и не попасть.

– Ну и что? – блефанула я. – Работой я и так обеспечена. Да и не нужно мне больших денег и большой славы. Вам не повезло, Виктор Антон. У меня так мало есть и мне так мало надо, что вы ничего меня не можете лишить. Интервью я дала только с одной целью – обезопасить своих близких. Повторяю, если вы им что-то сделаете, я готова на все.

Цапаев опять посмеялся, но я чувствовала, что первый мой предположительный пункт – что он испугается резонанса – сработал. Это проскальзывало в его словах и намеках, что не обязательно было трещать на весь свет о частном разговоре и что он мог бы подать на меня в суд, просто не хочет из детского воздушного шарика раздувать аэростат.

Сработал и третий пункт: на мой сайт в Интернете посыпались письма поддержки, в том числе и от людей, имеющих вес. Они скрывались под псевдонимами, но впрямую сообщали, что готовы на моральную и материальную помощь. Я благодарила, но ничего не просила.

Неожиданно проявился опять Всеслав Байбакян.

– Неужели этот кал так себя ведет? – спросил он, позвонив мне.

– Именно так.

– Это хорошо, – сделал неожиданный вывод Байбакян. – А ты вот что. Тут у нас в Кремле будет одно мероприятие... Только не думай, ничего личного, я тебя даже боюсь. О тебе слухи ходят, что ты можешь импотенцию наколдовать.

– Слухи бывают разными, – сказала я неопределенно.

– Так вот. У нас есть люди... – он сделал паузу, чтобы я оценила, каких именно людей он имеет в виду, – которые считают, что наши девушки должны побеждать везде. Что это такое, последняя «Мисс Мира» у нас была в начале девяностых! И одна-единственная. Были другие – «Мисс Объединенных Наций», «Мисс Вселенная», но все равно – маловато. Эти люди считают, что у тебя хорошие шансы. Ты этим людям нравишься. Короче, неплохо бы тебе на этом мероприятии побывать. И тогда ни одна дрянь, включая Цапаева, – в голосе Всеслава явно дрогнуло что-то личное, – не посмеет тебе навредить.

И лишь второй пункт молчал: не появлялось мое саратовское чудовище, что мне было, как ни странно, даже немного обидно.

Но вскоре и оно проявило себя.

Сначала раздался звонок с неопознанным номером.

Измененный голос сказал, что приехал из Саратова и хочет меня видеть.

Но мне показалось, что я узнала его. И сказала:

– Мне даже неизвестно, как вас зовут.

– Допустим, Икс-Эль.

– Хорошо. Зачем вы приехали?

– Я обеспокоился. Я хочу помочь.

– Спасибо. Мне нужна только моральная поддержка.

– Мы можем хотя бы встретиться?

– Вы готовы мне показаться?

– Нет, извините. Черт, я тебя на вы зову, отвык. Я не готов тебе показаться. Давай так. Приезжай в клуб «Дружбы Наций». Знаешь такой?

– Да, там недавно был фестиваль саратовского самотворчества. Меня приглашали. Вы тоже были?

Он не ответил.

– Сегодня в шесть вечера будь там – в зале.

– И что?

– Ничего. Просто зайди.

В шесть часов я была в этом клубе. Охранник, увидев через стекло мою машину и меня в ней, бросился открывать дверь. Позвонил кому-то, появилась служительница, приятная женщина средних лет, она улыбнулась мне и молча проводила в зал.

Там было пусто и освещено. Пустые ряды кресел, пустая сцена. А сзади и сверху – окна, как в театре – для техников и режиссеров, для проектора, если демонстрируется фильм. Я сразу поняла, что Икс-Эль там, но разглядеть было ничего нельзя – за этими стеклами не было света. Зато он меня, конечно, видел. Я даже подошла поближе, чтобы он мог удобнее смотреть.

Раздался звонок, благодарный голос в телефоне произнес:

– Спасибо.

– Пожалуйста. Что вы хотели сказать?

– Хочу сказать... Если будет настоящая опасность, я окажусь рядом.

– Вообще-то уже опасность.

– Поэтому я здесь.

– Да нет, уже все как-то наладилось.

– Нужны деньги? – спросил голос.

– Вы прекрасно знаете, что я не возьму.

– Что нужно?

– Да ничего вообще-то.

– Начинаю думать, что вам просто захотелось со мной встретиться.

– В каком-то смысле. У вас голос приятный.

– Стараюсь, – усмехнулся голос.

И на чей-то похож, хотя непонятно, на чей.

– Этот мой телефон – для связи с тобой, – сказал он. – Если что, сразу же звони. И просто так – звони. Вдруг захочется поговорить?

– Как там Саратов? – захотелось мне вдруг узнать.

– Что именно интересует?

– Ну... Не знаю.

– Ничего не изменилось.

– Тоже хорошо.

– Главное, что я хотел сказать, – голос стал серьезным. – Будь осторожна. Очень тебя прошу. Если ты выиграешь конкурс, а ты должна выиграть, у тебя начнется такая карусель. Будут предложения – самые разные. Выбирай внимательно. И...

После долгой паузы голос произнес:

– Я тебя люблю.

Второй раз в жизни, Володечка, что-то в моей душе трепетнуло, когда я услышала эти слова. Не знаю почему. То ли теплота голоса, его тембр... Срезонировало. Тогда, Володя, еще не было разработанной теории психологического резонанса, да и самого этого понятия. Не было однако и злоупотреблений, которые сначала казались безобидными – почти шутливыми: например, мужчина хакерским способом сканировал интел-фейс женщины, узнавал, на какие тембры и модуляции женщина резонирует, после этого менял себе голос, что стало легко, и добивался симпатии, а женщина даже не подозревала... Невольно вспоминается сказка «Волк и семеро козлят», помнишь, как я тебе рассказывала эту сказку? Подобно многим мамам моего времени, я сама почти не помнила никаких сказок, покупала книги, фильмы, смотрела, читала, а ты любил, чтобы я тебе перерассказывала. Причем чтобы это было почти в темноте. Наступал поздний час, я тушила

свет, подсаживалась к тебе и начинала. Я рассказывала одну и ту же сказку по пять-шесть раз. Она оставалась той же, что-то менять было запрещено, ты протестовал против этого: если принцесса вышла замуж, то вышла, а если умерла, то умерла, жаль, но варианты не допускаются. Зато тебе нравилось, когда сказка все больше обрастала деталями и подробностями. Я рассказывала:

«И вот появился в тех местах волк».

Ты добавлял:

«Серый».

«Да, серый волк. Он захотел съесть козлят».

«А откуда он появился?»

«Ну... Он там жил».

«Нет, ты сказала – появился. Если бы он там жил, он бы их раньше съел».

«Они были маленькие, ждал, пока вырастут».

«Тогда он козу бы съел. Пока маленькая была. Она же была маленькая когда-то тоже?»

«Сравнил – одна коза и целых семеро козлят».

«И все-таки лучше, если он появился, – твердо решил ты. – Они жили счастливые и спокойные, а он появился. Потому что если бы он всегда был, они бы боялись. А он не боялись. Потому что не понимали, что такое волк».

«Да, ты прав. Он появился. Он услышал про козу и ее детей и специально туда приехал».

«Да ладно. Волки не ездят».

«Пришел. Чтобы съесть».

Ты не соглашался:

«Нет. Нет, чтобы съесть, это да. Он позавидовал, что они такие веселые».

«Ты прав. Он позавидовал, что они такие веселые. И решил их съесть, чтобы они перестали веселиться».

Для тебя все становилось ясно, все расставлялось по местам, ты готов был слушать дальше.

Письмо двадцать третье

Ну вот, Володечка, настал наконец твой момент, когда я могу рассказать тебе про отца, который не стал твоим отцом, но все-таки немного побыл им.

Все началось на том самом мероприятии, куда меня пригласил Всеслав Байбакян. Я не помню, в связи с чем оно было собрано, что-то из сферы культурной политики. Так высоко я еще не взлетала, хотя это взлетание было как бы авансом – да, я была победительница, «Краса России», но этих крас за последние годы образовалось уже достаточно много, никто даже не помнил их имен, так бывает во всех областях: все помнят Гагарина, Титова, Терешкову – они были первыми, но никто не помнит последующих. Собственно, сейчас никто и Гагарина не помнит, кроме нескольких пожилых людей вроде нас с Родерикой – что нас, кстати, и объединяет.

Кремль поразил меня внутри своей крохотностью. Почему-то казалось, что за внушительной внешней стеной скрывается что-то монументальное, массивное. А оказалось – постройки весьма средней величины. Я бывала уже и в башне «Федерация», и обозревала Москву с 800-метровой высоты башни «Паритет»*, поэтому представления о масштабах у меня были соответствующие. Но главным для меня всегда были люди, хоть это может и странно прозвучать, учитывая мою аллергию.

Тогда я встретила одного из кумиров своей юности – Владимирова Владимира Путина. Только не подумай, Володечка, это не он. Имя Владимир было достаточно распространенным. Впрочем, я могу и ошибаться, я могла видеть другого большого человека – Дмитрия Анатолия Медведева. Но вместе вряд ли: кажется, я уже писала, что тогда между ними возникли первые серьезные разногласия, которые потом привели к прямой, хотя и вежливой конфронтации. Политика очень

* Ошибка: башня «Паритет» была построена в 2023 году, то есть героиня не могла посещать ее в описываемое время. – *Прим. изд-ва*.

сложное дело, если говорить просто, то позиции были таковы: Путин считал, что необходимо дальнейшее усиление государственности, не обольщая себя, не надеясь на поддержку гражданского общества, поскольку его все равно в России не было, нет и, видимо, не будет (а какое и было, в первое десятилетие 21-го века самоуничтожилось, несмотря на все старания президента возродить и поддержать его с помощью поощрения частных и личных инициатив). Медведев же полагал, что государство хоть и первостепенно, но находиться в вечной конфронтации с народом и обществом уже не может: народ устал ненавидеть власть, а власть устала быть ненавидимой. Конечно же, он переоценил и усталость народа, и утомление власти – силы еще, как показала история, оставались, но, увы, не для сотрудничества, а для открытой вражды, приведшей к таким непривычным для России явлениям, как акции сплошного гражданского неповиновения, инициаторами которых были интернет-миллионщик Прокушев с товарищами и другие, подобные ему люди. Извини, Володечка, что так путано объясняю.*

Я, Володя, тогда держалась простой позиции: я верила в креативных и сильных людей. Я много раз убеждалась, что историю делают личности, а так называемый народ в лучшем случае выдвигает их из себя, а потом, отходит и смотрит, что получится. Сила и красота были для меня почти синонимами, поэтому я и чувствовала себя удивительно легко в этом обществе гигантов.

---

* С этим нельзя не согласиться: во-первых, Д. Лаврова в очередной раз противоречит сама себе, описывая ситуацию не так, как делала это в первых письмах, во-вторых, очередное ее изложение субъективно и ошибочно по многим пунктам, особенно касающимся отношений В.В. Путина и Д.А. Медведева. Об Интернет-миллионщике Прокушеве можно сказать, что его роль в истории, на наш взгляд, преувеличена. Тогда существовало что-то вроде онлайн-спорта: люди заводили дневники и соревновались, кто больше наберет читателей и сопереписчиков, так называемых френдов. Рецепты популярности были просты: побольше иллюстративного материала, писать часто, коротко и доступно, стремиться спровоцировать дискуссию на любую тему и по любому поводу. Набравшие 1000 и более френдов назывались тысячниками. Надо заметить, что среди них было много и дельных людей – врачи, историки, географы и т.п. Потом появились десятитысячники, стотысячники, а потом возник Прокушев, ставший за год с небольшим миллионщиком. Он был студент-недоучка, ушибленный идеей переделки российской ментальности, системная ошибка которой, по его мнению, заключалась в том, что верхи всегда не могут, а низы всегда не хотят, верхи, уверенные в своей правоте и силе, не могут ни отстоять свою правоту, ни действенно показать свою силу (не усмирительную, конечно, а созидательную), поэтому, плюнув на это безнадежное дело, занимаются личным благоустройством, а низы, потыкавшись во все инстанции и друг к другу, убеждаются в наказуемости любой инициативы, кроме шкурной, поэтому тоже ударяются в личное благоустройство. Прокушев организовал с помощью своих адептов несколько акций, насколько впечатляющих, настолько и бессмысленных. Так, например, однажды, обидевшись на то, что ему попалась прокисшая сметана, он призвал своих френдов в течение недели бойкотировать все молочные продукты вообще, распуская среди не продвинутой публики слухи о неведомых вредоносных бациллах. Этой недели хватило, чтобы вызвать оторопь и хаос в торговых сетях, что немедленно отразилось на экономике и финансах. Подобным же образом Прокушев однажды подорвал табачный и вино-водочный рынок, самая же серьезная акция была, когда он призвал всех бойкотировать покупку недвижимости. Даже если очень надо – терпеть и не покупать. Рынок квартир и домов оторопело оцепенел. Торговцы, не привыкшие снижать цены, что въелось им в плоть и кровь, терпели. Они не верили. Прошел месяц, прошло три месяца. Покупатели не покупали, торговцы не продавали. Наконец одна риэлторская фирма не выдержала, сбавила цены. Ее владельца немедленно убили разъяренные конкуренты. Но тут же одновременно не выдержало еще несколько фирм. И все обвалилось, и в течение двух недель цены на квартиры и дома стали почти разумными. Излишне говорить, что буквально через месяц все вернулось на свои места, ибо покупатели предали сами себя, приобретая недвижимости впятеро больше, чем им того требовалось. Прокушева привлекали к уголовной ответственности, судили, но на его месте появлялись другие. Эти анархические игры кончились, когда от имени Прокушева какой-то лже-Прокушев решил сорвать выборы. И тут – возможно впервые в истории России – общество обнаружило, что оно может действительно договориться внутри себя, напрямую, от человека к человеку. Все вылилось в грандиозную политическую фантасмагорию, Великое Баловство, как назвал его политтехнолог Цезарь Евтухович: на выборы не явились 70% населения. Выборы перенесли, провели работу, явка не улучшилась. Законодательно понизили порог явки, в результате не пришло почти 90%. «Народ развеселился, – пишет Евтухович, – и впал в состояние озорства, почуяв, что впервые не власть что хочет с ним, то и делает, а он что хочет, то и делает с властью». Это веселье однако привело к экономическому коллапсу, и тут были приняты меры, о которых здесь невозможно рассказать потому, что это потребует слишком много места и погребет под собой основной текст, то есть документальную, хоть и не без огрехов памяти, историю конкретного человека. – *Прим. изд-ва*.

Цапаев тоже был на этом 收集最好的人 *, но благоразумие подсказало ему не приближаться, он только ожигал меня издали глазами.

И вот тут подошел Он. Я не хочу называть его имени, Володя, то есть он тоже Владимир, это понятно, я имею в виду другое имя, по которому его знает история. Чтобы отличать его от других Владимиров, назову его Влад. Короткое имя больше ему идет – человеку выпада, четкого быстрого слова, кинжального взгляда. Он просто подошел и спросил:

– Как дела?

И все. И я поняла, что готова рассказать ему свою жизнь и пойти за ним, куда он скажет. В любое время. При этом, Володечка, он не был идеально одет, и выглядел тоже не идеально. Больше того, на вороте его пиджака заметны были частички отмершей кожи головы (я это так ненавидела, что навсегда забыла слово!), отчего обычно меня продирало мурашками вдоль позвоночника от омерзения, а потом хотелось пойти в гигиеническую комнату и вывернуться наизнанку. Так вот, ты не поверишь, я чувствовала, что моя рука готова была приподняться и заботливо стряхнуть с него эти частички – а потом растереть в пальцах прилипшее. Я даже зуд почувствовала в пальцах. Влад не был и красивым: нос великоват, глаза маленькие, зубы кривоватые и желтоватые, хоть он и не курил. Но от него разило такой силой, такой энергией, что... Нет, это трудно передать. Магнит тоже не может рассказать, что он чувствует, когда над ним проносят большой кусок металла, а он, магнит, прикреплен к чему-то... Но к чему я была прикреплена? К обычаям, Володя. К обычаям того времени. Вместо того, чтобы ответить, как это сделала бы через пару десятков лет любая нормальная женщина: «Мои дела неплохо, а теперь еще лучше, потому что я тебя вижу и ты мне нравишься», – я тупо пробормотала:

– Нормально.

Да еще гордилась при этом, что ничем не выдала своих мыслей и чувств.

– Вот и хорошо, – сказал он и пошел дальше.

Я ни о чем больше не могла думать, кроме еще раз увидеть его и обменяться взглядом.

Но почему-то он больше мне не попался.

И я уехала домой.

Нет, я не просто уехала, я мчалась, я летела ракетой на своей машине по ночной Москве.

Вспоминая через много лет книги и фильмы тогдашних фантастов и футурологов, я улыбаюсь. Они были очень наивны. В частности, некоторые считали, что человек придумает способы левитации, что оказалось невозможно. А другие были уверены, что люди откажутся от личного транспорта как неэффективного, неэкономичного, будут пользоваться чем-то общественным. Этого не произошло. Это противоречит человеческим склонностям. В самолете ты летишь со скоростью, которая недоступна тебе, когда ты едешь по хайвею в каре со скоростью не больше 1000 ли** в час, но ты едешь сам, тебя не везут, в этом вся разница. Справедливо замечают эстонцы в своей древней поговорке: Mis on rõõm kiirus, kui te ei suuda seda? То есть: какое удовольствие от скорости, если ты не можешь управлять ею?***

Куда я так торопилась? Я торопилась не просто домой, а в Интернет. У меня был выход и с телефона, и в машине, нот я хотела в спокойной обстановке насмотреться и начитаться о Владе. Множество раз я встречала фотографию его лица в материалах и репортажах, но мимоходом, заурядно. Где были мои глаза? Где была моя душа?

И я смотрела, читала – и каждая фотография, поворот головы, взгляд имели другое значение, каждое произнесенное им и запечатленное буквами слово имело глубокий смысл. ЛИЧНЫЙ смысл – будто он говорил это только мне или в расчете на то, что я когда-то это прочту.

---

* 收集最好的人, *кит.*, – собрание лучших.

** Ли – китайская мера длины, около 0,5 км.

*** Здесь, как и во многих других местах, Д. Лаврова дает неточный перевод, что объяснимо издержками памяти и не блестящим знанием языков. Точный перевод: «Что такое удовольствие от скорости, если вы не можете сделать?» – *Прим. изд-ва.*

Да, Володечка, это было сумасшествие, но сумасшествие долгожданное, потому что я была с детства уверена, что встречу человека, которого полюблю огромной любовью, потому что другой любви у меня быть не может.

Чем больше я всматривалась в него, тем больше понимала, что мы прекрасная пара. Да, я идеальная или почти идеальная красавица, но он в каком-то смысле идеальный мужчина. Не очень красивый и даже, если говорить объективно, вовсе некрасивый на первый взгляд, но стоит чуть вглядеться в сталь этих глаз, в склад этих губ, в морщь этого лба... Чем-то он был похож на человека тоже некрасивого и тоже разительно обаятельного, спевшего о себе, но мне казалось, что обо мне: «Чую, с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю...»

Я пропадала с гибельным восторгом и была счастлива. И подлая удивительность в том, что я, порядочная в принципе девушка, даже не задумалась о том, что у Влада есть жена и дети. Двое детей. Для меня этого словно не существовало. А вот сочащиеся из некоторых средств массовой информации слухи о его якобы отношениях с известной теле-радио-интернет-журналисткой, красавицей и блоггершей Цестурией Менхель, претендующей на роль самой эпатажной женщины Москвы, меня напрягали. О ней я тоже почитала: мама писательница, папа бизнесмен, дедушка – крупный деятель советского времени, сама Цестурия училась в Америке, во Франции, была мимолетно замужем за Эдуардом Лимоновым*, крутила романы, имеются в виду не художественные произведения, а поверхностные любовные отношения, с различными знаменитостями. Признаюсь, я сразу же возненавидела эту Цестурию. У меня не было никакого плана, но я сразу же решила, что Влад должен стать моим мужчиной. Я верила в свои силы. Я бесконечно вспоминала этот короткий эпизод: он подходит: «Как дела?» – «Нормально», и с каждым новым разом мне виделось все больше скрытого смысла в этом диалоге, и уже мне казалось, что это было практически признание в любви и предложение отношений с его стороны и согласие с моей. Надо теперь только пересечься, чтобы напрямую прояснить наши позиции.

Но это пришлось отложить: предстоял конкурс «Мисс Вселенная»**.

Письмо двадцать четвертое

В свое время, Володечка, я написала книгу об участии в этом конкурсе и о связанном с ним скандале, о кипевших вокруг интригах. Возможно, эта книга еще где-то существует, но у меня нет доступа. Доступы потребления вообще очень ограничены, нам гарантировано только получение ежедневной порции концентратов, а сколько их, что будет, когда они кончатся, никто не говорит. Что делается для дальнейшего выживания, тоже не говорят. Или говорят – но не там, не тем, кто в силу возраста исключен из активной социальной жизни. И даже выйти за пределы своего ареала мы не можем – да и боимся, если честно.

Я не буду посвящать тебя в подробности, да они и не слишком, на мой сегодняшний взгляд, интересны. Утомительные репетиции, ежедневные тренировки, а где-то там, на заднем плане, мелькал влюбленный Цапаев, слал сообщения, писал письма на мой сайт. Твердил одно и то же: «Я знаю, кем ты хочешь закрыться, но ничего нее получится. Я на все пойду, ты будешь моей». Выглядело это скучно и глупо.

Как и на отеческом конкурсе, здесь предложили подписать контракт на случай победы. И я, такая осторожная при первом разе, здесь поступила так, как поступали девушки в предыдущем конкурсе – поставила подпись не глядя. Я была уверена, что победит кто-то другая: слишком много потрясающе красивых претенденток было вокруг. Я смотрела на них, а потом на себя и, хотя видела, что не хуже, но зато не видела, что лучше. Вообще на месте членов жюри я бы просто растерялась: совершенно невозможно выбрать, учитывая разницу в типах красоты, расах, национальностях, цвете кожи. Само название конкурса – «Мисс Вселенная»*** – это подразумевает.

* Информация неподтвержденная. – *Прим. изд-ва*.

** Оговорка, имеется в виду – «Мисс Мира». – *Прим. изд-ва.*

*** Похоже, это не оговорка, а проблемы памяти. – *Прим. изд-ва.*

Когда я была совсем еще девочка и со свойственным девочкам интересом рассматривала разные журналы и сайты в сети, где рассказывалось о подобных конкурсах, я почему-то ожидала увидеть что-то неземное, инопланетное. Ведь Вселенная – не только Земля. И меня разочаровывало то, что я видела, да, красивых, но абсолютно земных девушек. И, между прочим, то ли фотографии были виноваты, то ли мое восприятие, но в групповых портретах претенденток я всегда находила тех, кто казался мне гораздо симпатичнее победительницы, а в других поражало то, что они, будучи тоже победительницами региональных конкурсов, иногда просто редкостные уродины. Тогда, Володечка, царствовал средиземноморский-африканский тип, который испанцы с нежностью называли – de caballo или equina, то есть конский, лошадиный. Лошадь – это домашнее животное для перевозки грузов и людей, а также для работ на сельском хозяйстве, четырехногое копытное, высокое животное, считавшееся красивым. Действительно, было что-то конское в тогдашних некоторых красавицах – огромные задние ноги, я оговорилась, конечно, самой смешно, так вот, огромные ноги изрядной лошажьей кривизны, крутой crup, который именно скорее был похож на круп, чем на женское приятное округлие из двух полукруглий, плавный подвздох, переходящий в тонкую талию, широкая грудь, высокая холка, длинная шея, крупные белые зубы, довольно широкий рот... Хм, кажется я злословлю, старая солонка! Да уж, женщинам в любом возрасте только дай поговорить о других женщинах.

У меня была группа, команда, я никогда не оставалась одна, кроме на ночь. Но в этом отеле была галерея для технических целей, на которую нельзя даже было выйти, не было двери, а только окно. Однажды я приоткрыла его для впускания ночной прохлады и почти моментально его снаружи распахнул и влез в номер Цапаев. Я схватилась за телефон. Цапаев умоляюще поднял руки и забормотал окончательные глупости:

– Не бойся меня, не трону, просто у меня так никогда не было, я серьезно с ума схожу, то есть душой, я тебя люблю просто до смерти, ты можешь понять?

– Понять могу, – сказала я. – Но не более того.

– Мне много не надо, я просто характер себе испортил, если мне что надо, а мне не дают, я как наркоман делаюсь без наркотиков, меня ломает, я подыхаю просто.

Действительно, выглядел Цапаев плохо: по лицу лился пот, он тяжело дышал, кожа стала бледно-серой, точь-в-точь приступ какой-то болезни.

– Хочешь – отстану? – спросил Цапаев.

– Вы и так отстанете. Или вас отстанут.

– Ну, не так просто! Я тут такое устрою! Я просто перестреляю тут всех – и кончится для тебя конкурс. Скандал, все газеты пишут, телевидение показывают. А мне уже все равно. А можем договориться.

– Что я должна сделать?

– Дай – и все. Дай, а? Ну что тебе стоит? Разок. Я минуты две-три, больше не продержусь. А?

– Вы с ума сошли?

– Конечно. Один раз. Ты же не девочка, у тебя же много было.

– Не много.

– Ну, будет много. Это я гарантирую. Одним больше, одним меньше. Ну дай, дай, дай, – канючил он так, как ребенок с больным горлом просит мороженого: знает, что не купят, а все равно просит. Правда, некоторые безвольные мамы покупают. Я никогда этого не делала, Володечка, несмотря на все твои уговоры. Любовь должна быть строгой и ответственной, слабой и безвольной любовью можно погубить человека. А мороженое – это такая сладкая холодная масса из специально обработанных сливок. Сливки – продукт из молока. Сливают, поэтому и сливки. Молоко – продукт из коровы. Корова – жвачное домашнее животное размером с лошадь, но с рогами и... Я отвлеклась.

У Цапаева действительно был вид человека невменяемого, непрошибаемого, глаза были словно прикрыты пеленой или слоем эрги*. Чуть ли ни слюна вытекала из его рта, я сказала, что он

* Значения этого слова разгадать не удалось. – *Прим. изд-ва*.

был похож на мальчика, просящего мороженое, нет, скорее на домашнюю собаку, которая, очень голодная, смотрит на еду, повизгивает от нетерпения, переминается с лапы на лапу, посторонний звук может на долю секунды отвлечь ее, но она, коротко глянув в сторону, тут же опять вперяется в лакомый кусок, а броситься не может – за этим следит строгий хозяин.

Я не была строгой хозяйкой, но Цапаев понимал, что бросание ничего ему не даст. Поэтому и повизгивал, то есть продолжал нищенски ныть:

– Нет, но в самом деле! Никогда баб не понимал, мужики добрее, если меня какая женщина попросит, я всегда с радостью – да на, не жалко, а вы цепляетесь за это, будто неизвестно за что, тоже мне, пещера Алладина...

– Вы хамить начинаете? – спросила я.

– Да ни в коем случае, сам не понимаю, что говорю. Ну дай, дай, пожалуйста, очень прошу. Ну дай, что ли, сучка ты такая, в самом-то деле, не мучай ты человека! Удовольствие, что ли, тебе доставляет? Или чего боишься? У меня и презерватив есть, все гигиенично будет, две минутки, почему не дать, я не понимаю? А? Нет, объясни! Что тебе такое мешает, что прямо уж переступить нельзя? Да ничего! Это просто вредность ваша, бабская, это ваша месть нам всем, мужикам, за то, что вы под нами живете – потому что природа так устроила и хоть вы что делайте со своим феминизмом! Дашь или нет? – спросил он вдруг каким-то другим тоном, простым и грубым, доставая пистолет.

– Вы что собираетесь делать?

– Не знаю. Шпокну или тебя или себя. Или нас обоих. Потому что выхода нет. Если не дашь, я жить не смогу. Я этого не вытерплю, ты понимаешь или нет?

Тогда все это выглядело нелепостью и дичью, Володечка. Но общество меняется, меняются и нравы. По законам десятых годов его могли приговорить к огромному штрафу в мою пользу и пользу государства, да еще с отсидкой в тюрьме, в двадцатые годы эту ситуацию долго разбирали бы в суде с сомнительным результатом, а вот в тридцатые штраф и заключение могли присудить мне – за мучительство человека, не вызванное необходимостью и не имеющее под собой аргументированных оснований. Но тогда я ничего этого не могла предполагать. Я видела: дурацкая ситуация, мужчину обуревает идея, что он должен поиметь со мной секс. Если я откажу, последствия непредсказуемы. А если дам, как он выражается, это тоже не гарантия, что он отстанет. Я так и спросила:

– А где гарантия, что вы после этого отстанете?

– Мое слово! Заметь, я ведь не прошу, как раньше, чтобы ты со мной все время была или там пару лет или месяц хотя бы, я один раз прошу! Матерью клянусь – успокоюсь. Я себя знаю.

Что ж, поверила я ему, Володечка. Разрешила. Отключилась, заперла в себе все эмоции – и...

Он действительно управился в две минуты.

А потом сказал:

– Ё, из-за чего с ума сходил, спрашивается? Ничего особенного. Как и у всех. Фффу, – выдохнул Цапаев, – зато полегчало. Спасибо тебе.

Заранее скажу, Володечка, что через некоторое время он появился на моем горизонте, но тогда была уже другая ситуация, его быстро успокоили. А потом он куда-то совсем исчез, я не интересовалась. Возможно, уехал навсегда во время народных погромов августа 2009 года* под лозунгом «круши заборы», когда население на бульдозерах и просто с ломами, топорами и кирпичами в руках ломали коттеджные богатые поселки в Подмосковье.

Этот случай не испортил мне фейерверочного впечатления от того, что произошло после. Я чувствовала себя на подъеме, в кураже. Этапы конкурса транслировались на весь мир, и я почему-то была уверена, что Влад – смотрит. Я видела, где находятся телекамеры, и глядела в них так, будто глядела ему в глаза. Я, наверное, была сумасшедшей не лучше Цапаева, потому что не допускала даже мысли, что моя встреча с Владом не состоится, что у нас не будет истории, в моем гангренозном воображении эта история уже началась.

* Дата указана неверно. – *Прим. изд-ва*.

Чем ближе к финалу, тем больше я понимала и чувствовала, что выдвигаюсь вперед. Это особенно легко понять, когда перед финальными этапами подъезжаешь к зданию, чтобы подняться по лестнице, устланной ковром. Нас было еще довольно много, поэтому по отдельности подъезжать не получилось, нас всегда было несколько. Это делалось для людей, не попавших в зал, но желающих из-за ограждения посмотреть на нас. Так вот. Вместе со мной на лестнице всегда оказывались три-четыре девушки, но больше всего камер было направлено на меня, больше всего вспышек адресовались в мою сторону.

И все навязчивее меня стало овихревать предчувствие победы.

При этом надо еще иметь в виду, что я впервые была за границей, да еще в местах курортных, благоустроенных, где мне было очень комфортно – совсем не пахло людьми, во всем было заметно стремление к идеальной чистоте, к человеческой неприступственности. Не знаю, как им это удавалось. Мне пришлось однажды оказаться в частном доме, хозяин и другие гости отстали: им показывался сад вокруг дома и красивый *(яма для купания и плавания, чем-нибудь облицованная и наполненная водой – я помню, что она считалась обязательной принадлежностью комфортного дома, даже если никто из обитателей терпеть не мог плавать)*, а я зашла в дом для мочеиспускания. Когда искала туалет, поразила нетронутость дома: он был оформлен, как жилой, но будто для выставки, не для жилья, а кухня, мимо которой я прошла, выглядела так, будто на ней никогда не готовили. Может быть, это чересчур, но мне, учитывая мою аллергию на все человеческое, это очень нравилось.

Мне нравились запахи отеля, его коридоров, лифтов (и плавное их движение), тишина холла (говорили там тоже негромко), мягкая мебель, мягкие ковры, которые обязательно чистили каждый день, но как-то при этом незаметно – будто по ночам невидимые и неслышимые эльфы.

Повторяю, я была счастлива – атмосферой, ожиданием. Эпизод с Цапаевым забылся на следующий же день или даже в тот же вечер, я не помню. Я даже, Володечка, задумалась мимоходом: может, это следствие моей бессовестности, что я так легко забываю о таком мерзком своем поступке, пусть даже и вынужденном? А потом поняла: нет, просто ко мне не прилипает. С меня это стекает, не оставляя следов, как вода стекает с окрашенного масляной краской борта яхты (вспомнилось мое одиночное морское путешествие 56-го года, как-нибудь потом расскажу).

И я помнила о Владе, я все делала для него. Я каждую минуту, когда видела себя в зеркале, представляла, что на меня смотрит Влад. И от этого становилась еще лучше.

И вот финал. Мы готовимся выйти на сцену. Все в черных платьях схожего фасона – один из лучших домов моды заплатил за право одеть нас. У каждой была лента через плечо с названием страны. Как гордо мне было надевать ленту с надписью «Russia» накануне, когда мы тренировали это дефиле! Ленту мне принесли перед самым выходом, я даже не заметила, кто принес и кто положил на столик. Взяла ее, перекинула через плечо, начала прикреплять. Почувствовала скользкое ощущение на коже ладоней. Принюхалась. И меня охватил ужас: кто-то натер ленту клеем или каким-то другим составом, в котором ясно чувствовался гнилостный животно-человеческий запах, тот самый запах разлагающейся органики, на который у меня аллергия. Я ждала реакции – насморка, слез... Но ничего не было. Я взглянула на себя в зеркало. И поняла, что, извини, Володечка за высокопарность, моя любовь вылечила и защищает меня. Я не могу испортиться, если Он на меня сморит. Я выдержу!

И я выдержала.

Я даже нарочно вдохнула в себя поглубже этот отвратительный запах и, гордо расправив плечи, пошла на сцену, уловив в каком-то сегменте окружающего пространства чей-то ожидающий подлый взгляд. Что ж – ожидания не оправдались.

И вот – объявления призов и наград. Как всегда – сначала второстепенных. У девушек, получающих эти награды, двойственный вид: с одной стороны рады быть отмеченными, с другой, огорчены – нет абсолютной победы. Но – 當所有沒有足夠的大米，你有什麼冰雹 *. Я стояла и

* 當所有沒有足夠的大米，你有什麼冰雹, кит. – когда всем не хватает риса, радуйся тому, что дали тебе.

смотрела вперед открытым лучистым взглядом – надо ли говорить, что я была уверена, что он видит меня. И это оказалось именно так, он потом признавался, что ему казалось, будто я смотрю прямо ему в глаза. Я отвечала, что так оно и было.

Я так углубленно думала о Владе в эту минуту, что не сразу поняла, почему все повернулись ко мне, улыбаются, аплодируют. И только тогда задним счетом я услышала то, что было произнесено за секунды до этого: Miss Universe – Dina Lavrova! На обесчувственных, онемевших ногах я пошла вниз по ступеням. Это были самые трудные, самые страшные ступени в моей жизни (так я думала – не знала, что будут и пострашнее). Я страшно боялась упасть. Претенденткой на звание лучшей ты еще можешь упасть, но когда ты лучшая – падать не имеешь права.

Письмо двадцать пятое

Я вернулась домой, Володечка, национальной героиней. Правда, перед этим у меня был небольшой тур, несколько перелетов – европейские страны, Азия, Америка. Организаторы выжимали из конкурса все возможное и стремились показать победивших (включая второстепенных призерок) девушек вживую как можно большому количеству желающих – пока еще интерес к ним горяч.

Не обошлось без инцидентов. В каком-то аэропорту, уже не помню, помню только, что страна была прохладная и мы были в накидках из меха ондатры от обговоренного контрактом производителя. Тогда еще был в моде натуральный мех как предмет роскоши, но уже против него выступали многие организации, в том числе так называемые зеленые. По их логике нельзя было убивать малочисленных зверей, тех же ондатр, которых называли еще мускусными крысами. Против умерщвления в массовых масштабах крыс обычных, городских, они ничего не имели. Так вот, мы шли, и вдруг из толпы встречающих вырвался какой-то всклокоченный мужчина с вытаращенными сумасшедшими глазами (потом выяснилось, что он действительно был психически болен) и плеснул на меня жидкостью из пластиковой бутылки. Меня успели загородить сумкой, пострадал охранник, которому прожгло одежду, и несколько посторонних людей, получивших небольшие повреждения кожи. Одна крохотная капля попала и мне на шею, осталось пятнышко – я тогда еще не знала, что это знак, предупреждение и уведомление о том, что случится со мной после.

Но не хочу сейчас о грустном.

Я вернулась национальной героиней. В России вообще одна из самых давних и закоренелых традиций – торжествовать всем народом по любому поводу. Конечно, были в истории причины серьезные – военные победы, покорение космоса, Молчаливая Революция 2018 года и т.п. Это понимали и люди последующих поколений. Но вот чего они не могли понять из своих пятидесятых или шестидесятых годов – с какой стати демонстрация личного голоса какого-либо певца на одном из бесконечных соревнований, которые тогда устраивались, считалась триумфальной победой всей нации? Или – почему весь народ сходил с ума от радости, когда российская команда по *(игра, заключающаяся в гонянии мяча по полю с целью попадания его в прямоугольное пространство, ограниченное какими-то, кажется, палками)* выиграла чемпионат мира?* – учитывая, что играли в ней люди, жившие преимущественно за границей. В пятидесятые мы благодушно посмеивались над своими предками – как можно было миллионам людей тратить огромное количество времени, чтобы сидеть на трибунах или у телевизоров и пассивно смотреть на горстки соревнующихся? Согласись, Володечка, есть в этом что-то абсолютно противоестественное.

Но тогда было архаичное представление о человеке, что он в своих публичных международных действиях представляет не сам себя, а свою страну (которая часто никак не помогала его успехам, а нередко даже и мешала), а победа этого человека расценивалась как победы страны. В связи с этим мне вручили медаль или орден «За заслуги перед Отечеством третьей степени». Я мимоходом усмехнулась названию награды, означающему третьестепенные заслуги, но ничто не

* Факт неподтвержденный. – *Прим. изд-ва*.

могло оморочить главную радость – при награждении присутствовал Влад. Мне подарили новую машину, квартиру. Было несколько пышных мероприятий чествования меня по поводу победы.

Но я думала о другом: как встретиться с Владом, познакомиться наконец с ним.

Так получалось, что самым действенным помощником в этом мог стать Павлик Морзе. Я позвонила ему, мы встретились, я напрямую сказала ему, что заинтересована в одном человеке и ищу пути пересечения. Узнав, кого я имею в виду, Павлик присвистнул и сказал:

– Молодец! Вот почему ты всех динамила – дожидалась лучшего варианта. Я бы на его месте не отказался.

– Пожалуйста, без комментариев.

– У него жена, любовница.

– Я знаю.

– Не понял. Я к тому, что есть другие люди – свободные. И с положением. И с деньгами. И не старые. Подобрать?

– Мне нужен Влад.

– Влюбилась, что ли? – удивился Павлик.

– Не твое дело.

– Не мое-то не мое, но... – Он что-то хотел сказать, однако передумал и закончил странным высказыванием: – Тебе же хуже.

Повод для встречи образовался сам по себе. Павлик клялся, что именно он все устроил, но, я думаю, меня пригласили бы и без него. Открывали отреставрированную старинную усадьбу, кажется Измайлово. Правда, Павлик все-таки сыграл свою роль. Когда настал момент разрезать ленточку, это должен был сделать Влад. Он подошел к ленточке, а кто-то из местного руководства понес ему на подушечке *(устройство для разрезания бумаги, ткани... резанцы? Разрезалки? Нет. Что-то вроде ножилки, то есть маленькие ножи. Вспомню потом. По-английски, кажется, scissure*)*. Вот тут-то Морзе и показал свой талант. Вынырнув, словно из-под земли, он сердито взял у чиновника подушечку с таким видом, будто тот неприлично нарушил некий протокол – и чиновник виновато пожал плечами и очень огорчился лицом. Дескать, не знал, извините. Павлик молниеносно передал ножницы** мне, а я подала их Владу. Влад улыбнулся, глядя на меня, взял ножницы, сделал два разреза – так, что в его руке остался кусок ленты. Он держал его и не знал, куда деть. Я взяла у него этот кусок. Когда брала, слегка прикоснулась к его руке. Не нарочно, так получилось. От этого прикосновения я чуть не упала в обморок.

А потом мы ходили, осматривали усадьбу.

Самое интересное, что Цестурия, его любовница, тоже там была, и я по логике должна была жадно рассматривать ее, сравнивать с собой, ревновать, но, удивительное дело, я ее не помню. Я ее совершенно не помню, будто она была невидимкой. Или просто у меня в этом месте выпадение памяти, провал, будто я была без сознания, а очнулась – стою у перил одна и смотрю вниз, на сад и дальний лес. И почему-то никого вокруг. И подходит Влад. Говорит:

– Красиво.

– Да, – говорю я. И готовлю следующую фразу: «Меня пригласили на детский фестиваль стран России, вы там будете?»

И тут – вот где волшебство и фантастика! – Влад говорит:

– Скоро детский фестиваль стран России, вы там будете?

Я рассмеялась и в ответ на его недоуменный взгляд ответила:

– Я хотела спросить вас о том же.

Так все это началось.

Это было естественно и неизбежно, как предопределение. На детском фестивале Влад был один, без Цестурии и без жены, но со своими детьми – замечательные дети, он нас познакомил,

* scissure – ошибка, это по-английски расселина, щель, а ножницы – scissors. – *Прим. изд-ва.*

** Что – уже вспомнила? – *Прим. изд-ва.*

мне это было отдельно приятно. Потом он отправил их домой. А потом и сам исчез. В некоторой растерянности я шла к выходу, тут возле меня возник молодой человек и сказал:

– Здравствуйте, машина вас ждет.

– Я на своей.

– Если позволите ключи, ее доставят, куда скажете.

Конечно же, я отдала ключи. Я все поняла.

Меня привезли в Подмосковье, в какой-то довольно обычный поселок, где был неприметный, но вполне аккуратный дом. В этом доме меня ждал Влад. Он встретил меня словами:

– Если я поступил неправильно, скажи сразу.

– Ты поступил правильно.

Я рад.

Начались мучительные и счастливые дни. Мучительные – потому что я не могла видеть его часто, счастливые – потому что все-таки могла видеть. Он был очень занят – бесконечные дела, поездки. Пошла уже вторая неделя нашей любви, я сидела у телевизора, и там был репортаж об отправке на конгресс нашей делегации. Влад был в составе этой делегации, что меня не удивило. Но там была и Цестурия, я увидела ее в крае кадра.

И тут я с ужасом впервые подумала, что Цестурия осталась в его жизни. Да, появилась я, но он остался женат. Почему же Владу и Цестурию не оставить? Я чуть не сошла с ума от этой мысли. Немедленно позвонила ему. Телефон был недоступен, а всегда открытого Интел-кома тогда еще не было. Я нажимала на кнопку вызова, напоминая сама себе глупую обезьяну, которая сидит в клетке и жмет на клавишу, после чего должна открыться дверца с бананом, а дверца все не открывается, банана все нет. Я чуть палец себе не стерла. Наконец его голос:

– Да?

– Ты там не один, оказывается?

– Конечно, – спокойно ответил он.

– Я не это имела в виду, – сказала я, постыдно чувствуя, что глупею, как глупеет, наверно, каждая ревнующая женщина.

– Ты скажешь мне об этом, когда я вернусь, – сказал он вежливым, почти официальным голосом, и я поняла, что его слушают.

– Ты любишь меня? – спросила я жалобно, с противностью слыша сама себя.

– Да, конечно, – сказал он таким тоном, каким отвечают официантам, интересующимся, понравилось ли блюдо.

– Когда ты мне позвонишь?

– Через два дня. Когда вернусь. До свидания.

Те два дня, пока его не было, я не спала, не ела, не находила себе места. Люди золотых пятидесятых усмехнулись бы, читая об этом. Тогда само слово «измена» фактически исчезло из обихода, как исчез и институт брака – такой, каким он был раньше. То есть существовали, конечно, обязательства, и они даже были оговорены более подробно, чем когда-либо до этого, но никому в голову не пришло бы записывать в эти обязательства, например, пункт о том, что социальные партнеры (то есть муж и жена – или муж и муж, жена и жена, транс и транс, вариантов появилось много) не имеют права вступать с другими людьми в сексуальный контакт или общаться с ними так, как им того захочется. Партнеры, что стало казаться естественным, больше озабочивались, как себя ведет совместно проживающий здесь и сейчас конкретно с ним – и какая ему была разница, как он ведет себя с другими? Поэтому «изменять» можно было сколько угодно и как угодно при условии соблюдения гигиенических правил, гораздо болезненнее супруги относились к попыткам портить их слуховое и зрительное пространство, к тому, что назвали аудиовизуальным суверенитетом.

Но это было потом, а тогда я искренне считала, что он мне изменяет. Он любит меня? Значит, должен быть только со мной. Именно это я скажу ему при встрече.

За эти два дня было бесчисленное количество звонков: во-первых, приглашения на различные события, во-вторых, контактеры желали встретиться со мной и точно выстроить график

моих поездок. Впервые я вчиталась в условия своего контракта и ужаснулась: как минимум, в течение года я не буду принадлежать себе. Сейчас у меня двухнедельная передышка, а потом – я внимательно просмотрела графики – я попаду на Родину за весь год только два раза. Это меня ужаснуло. Я решила посоветоваться с Владом и сказать ему, что хочу отказаться от контракта. Конечно, это был беспрецедентный случай, ведь это означало, что я лишусь звания «Мисс Вселенная» и должна буду передать корону другой девушке. На такое никто ни разу не пошел за всю историю конкурсов красоты.*

Письмо двадцать шестое

Разговор с Владом вышел очень тяжелым. Он отчитал меня, напомнив, сколько у него работы, как она важна для него и для людей. Он сказал, что Цестурия была не вместе с ним, а как бы параллельно: это ее работа. Она журналистка. Она освещает такие события. Влад добавил, что с него хватает и ревности жены по тому же поводу. И если я буду вести себя подобным образом, он будет вынужден со мной расстаться, хотя ему и не хочется.

Я приняла его слова как полную правоту и сказала, что мне нужно знать только одно: любит ли он меня?

– Да, – ответил Влад и поцеловал меня так нежно, как он это умел.

Когда же я высказала свое решение разорвать контракт, он был изумлен. Он не мог поверить, что это серьезно. И даже спросил:

– Может, ты самообломщица, defeatist**?

– Нет.

– Тогда в чем дело?

– Я не смогу столько без тебя.

– Мне тоже будет трудно. Но давай рассудим с другой стороны. Ты хочешь быть самостоятельной женщиной? Или собираешься находиться у кого-то на содержании?

– Конечно, я хочу быть самостоятельной.

– Тогда тебе нельзя отказываться от денег. У тебя, ты сама говорила, на плечах мать и младший брат.

– Да, конечно.

Я была запутана. Я узнала, что он меня любит, но почему-то не спросила главное – а каковы вообще его планы на мое будущее? Содержанкой я быть не собиралась, но я хотела замуж, что тогда было естественно (я говорю «тогда», имея в виду не мое любовное состояние, а традиции тех лет).

Мне тогда казалось, Володечка, что Влад восполняет мне мой утраченный ум и решает за меня совершенно правильно. Действительно, я должна быть самостоятельной. Я должна кроме этого постоянно развиваться, чтобы стать достойной Влада. Я должна доказать, что не просто красивая пустотышка, а девушка с большими перспективами.

---

* Ошибка: такие случаи бывали. В частности, россиянка Оксана Федорова, «Мисс Вселенная»-2002 года поступила именно так: расторгла контракт и была лишена своего звания, что, однако, ничуть не повредило ее репутации. – *Прим. изд-ва.*

** defeatist, *англ.* – пораженческий (-ая, -ое). Здесь путаница: движение пораженцев, самообломщиков возникло на пятнадцать лет позже. Были серьезные адепты облома, отказа, были те, кто превратил это в игру. Суть: человек добивается чего-либо. Победы, награды, успеха, должности, денег, любви и т.п. И, когда цель уже достигнута, когда остается сделать последний шаг, протянуть руку, поставить подпись, самообломщик говорит: «Нет. Я отказываюсь от этого». Причины возникновения движения историки трактуют по-разному. Некоторые склонны видеть философско-психологические основы: самообломщики поняли, что почти все несчастья начинаются именно в момент обретения желаемого. Другие считают, что теория самооблома имеет социально-экологические корни: видя, что попустительство и потакание своим амбициям ведет общество в тупик, некоторые решили своими поступками показать пример того, насколько эфемерны достигаемые цели. Что, конечно, никого не вразумило и не остановило. Правильно выразился в свое время мыслитель Исмаил ибн Али Абу-ль-Фида: اذا كان نهاه نم كيري نم للبرش ، فاك ال مويدح شيء عن الكاذب قراض للذيب (Когда человек пьян, его бессмысленно предостерегать о пагубных последствиях вина.)

И я постаралась отбросить негативные мысли. Лучше запомнить эту ночь – чтобы подольше сохранить ее в памяти.

И вот парадокс, Володечка: я помню, как внимательно оглядывала все окружающее – что было на стенах, на полу, какой материал висел на окнах, какая была мебель. Желая впитать в себя все это, я отпечатывала в своей душе, как пластилин отпечатывает то, что к нему прикладывают, все слова Влада, все его взгляды, все его движения, я была уверена, что ни один след от его прикосновений никогда не сотрется – и что вышло? Не сейчас, то есть через сто лет, а уже через несколько дней я с недоумением обнаружила, что – ничего не помню. Помню только свое счастье, а какие были стены, что висело на окнах, что говорил Влад? Ноль, черное зеро. Почему? До сих пор не знаю. А вот другое помню – где-то в аэропорту или в другом месте, в России или в Германии, или в Нидерландах, или в Голландии, неважно, помню – женщина торгует цветами. Помню, что ей было лет сорок, короткие темные волосы, просто, но ловко уложенные, серые глаза, быстрые и бережные руки с тонкими пальцами. Помню, как она заворачивала этими пальцами цветы в прозрачную упаковку. А я шла мимо и посмотрела на цветы, на эту женщину. А женщина посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. И у меня было ощущение, что она поняла меня насквозь. Она поняла, что я смотрю на эти цветы, предожидая, что такие подарит мне при встрече любимый человек, что я люблю, что я счастлива, но печальна разлукой, что я хотела бы купить сама себе цветы, но это неудобно. И она своей улыбкой как бы говорила – ничего страшного, наверстаем, получим свое. Я улыбнулась ей в ответ и, уверена, у нас обеих было одинаковое ощущение в эту минуту, будто только нам двоим известна великая тайна жизни, хотя ни я, ни она не сумели бы выразить, в чем она заключается.

И сейчас, Володечка, я, как ни стараюсь, не могу вспомнить лица Влада. Может, потому, что слишком хочу вспомнить А вот эту женщину и ее цветы помню так, будто вижу перед собой на фотографии – до мельчайших подробностей.

Жизнь «Мисс Вселенной» оказалась не из легких. Бесконечные поездки, представительство на самых разных мероприятиях, из них чуть ли ни половина традиционно-благотворительные. Это как бы напоминало обществу о бескорыстной роли красоты в нашем мире, и все было лицемерием и фальшью. Да, я передавала больным детям деньги от имени каких-то фондов или коммерческих структур, но меня при этом прилежно снимали, эти снимки продавались, за этим стоял масштабный рекламный бизнес. Очень наглядно его суть предстала передо мной, когда я летела в самолете и листала полированный журнал, где, в том числе, были мои фотографии в приюте для пожилых актеров. Под ними были подписи, где указывалось, в чем я одета: «Блузка D&G – 34 000 не помню чего, что такое D&G, кстати, тоже не помню, просто буквы засели в памяти, какой-то бренд, какая-то торговая марка, шарфик – такая-то фирма – 15 000 (примерно), юбка – такая-то фирма – 25 000, туфли – фирма – 40 000, серьги – 150 000, часы – 100 000, цепочка и кулон – 400 000...» Не хватало только надписи: Дина Лаврова – Lavrov Vasily&Alevtina – и указание стоимости.

Впрочем, многие было уверены, что она у меня есть, надо только узнать, сколько.

На выставке автомобилей в какой-то арабской стране меня решил купить шейх одной из пограничных с Россией, когда-то входивших в нее, первобытно-общинных стран, не помню, какой, я всегда не очень была в географии. Шейх приехал на выставку в лимузине, где у него по слухам были два спальни и две ванны, не считая других апартаментов, его сопровождал кортеж из семи машин, он приехал, чтобы купить несколько дорогих автомобилей в добавление своей коллекции, где их насчитывалось уже около двух сотен. Шейх любил на них смотреть, но не на всех успевал поездить хотя бы раз. В отличие от машин все двести жен шейха были им хотя бы раз обласканы, иначе это считалась бы позором даже для него, безграничного правителя (в своих границах).

На выставке шейх увидел меня и прислал своих людей осведомиться о моей цене. Люди были вежливыми, кланялись и складывали руки при каждом слове. Я сказала, что традиции моей страны исключают для меня возможность стать двести первой женой. Они ушли и через час вернулись, чтобы сказать: лучше быть двести первой женой шейха, чем первой женой нищего ىوآنبا*.

* ىوآنبا, араб. – шакал.

Я ответила: но я вообще не собираюсь пока замуж. Они ушли и через час вернулись, чтобы узнать, сколько будет стоить, если не замуж, а так. Я сказала, что никаких так невозможно. Они ушли и через час вернулись, чтобы спросить: а возможно ли это так за двадцать тысяч рубаилей*? Я сказала: это невозможно ни за какие деньги. Они ушли и через час вернулись, чтобы спросить: а за сорок тысяч? Я сказала: или ваш шейх тупой, или вы неправильно ему передаете то, что я говорю. Ни за какие деньги, неужели не ясно? Они сказали, что даже не слышали моих слов про возможную тупость шейха, и это будет лучше для нас всех. И ушли, и вернулись. Шестьдесят тысяч. Так они ходили восемь раз и догнали до полмиллиона. Я отказалась. Они ушли, вернулись и с почтением доложили, что шейх считает меня نونجم ** или ارود ***, или موتعم ****: больше полмиллиона рубаилей не стоит ни одна женщина на земле.

Я ответила, что и я не стою. Потому что тут дело не в сумме. Вы же знаете восточную поэзию! – сказала я им. Вы же должны помнить ваши классические стихи:

ان ما ال يملكون ثمن.
كم هي الشمس ؟
كم هي الرياح ؟ *****!

Они переглянулись и, похоже, не поняли, что я имела в виду.

Настоящее наполнение моей жизни было совсем другим. Я ждала момента, когда останусь одна в номере, подключусь к Интернету и буду общаться с Владом. Он-лайн у нас не получалось – разные графики, разные временные пояса, поэтому приходилось писать старинно – письмами. Я старалась выразиться коротко и нежно, понимая, насколько он занят. Посылала письмо – и ждала ответа. Летела каждый раз в гостиницу, бросалась к компьютеру. Смотреть через свой мобильный коммуникатор запретила себе: иначе каждую минуту смотрела бы. И вот врываешься в номер, сбрасываешь с себя все – и к компьютеру, включаешь, входишь в почту... Ничего нет... Настроение портится. Все плохо. Идешь в душ. Моешься наскоро, закутываешься в полотенце, бежишь смотреть – не пришло ли? Нет. Ставишь себе условие: смотреть не чаще, чем один раз в час. Твой дед, Володечка, мой папа Василий, так выпивал вино и водку. Не потому, что был упорядоченный человек, просто сам себя регулировал таким образом, чтобы не выпить слишком много. Помню с детства: он сидит перед телевизором, рядом бутылка и рюмка, он посматривает на стену, на часы. Вот часы ударяют – они были с мелодичными звуками, лицо отца просветлевает, но он иногда не спешит, выжидает еще несколько минут, находясь в состоянии добровольной (и поэтому сладкой) муки. Целый час он был раб времени, а теперь оно в его руках! Но больше пяти минут папа временем обычно не владел, наливал, выпивал. Вот и я – ждала полчаса, сорок минут, пятьдесят, час, а после этого, когда уже было можно, несколько минут держала себя в состоянии садомахистической оттяжки. Бросалась и – либо опять ничего, либо счастье. Когда наконец письмо, даже кровь приливала к лицу, сердце начинало стучать. И было уже неважно, о чем письмо, главное – пришло. «Динчик!» – первое слово читаешь долго, словно сосешь леденец (леденцы – это такие конфеты, часто прозрачные, они постепенно таяли во рту). Потом следовало обычно несколько ласковых слов, короткая информация о настроении. Я читала это часами... И начинала сочинять ответ – медленно, по словечку. Я чувствовала себя писательницей, но не в старом смысле слова, когда писали книги, и не в том, новом, появившемся во время исчезновения литературы как таковой, вернее, превратившейся в чисто декоративное искусство сладкословия, ловкословия, новословия, гладкословия, спорословия (появились соревнования по лингвисти-

* Рубаили – валюта переходного периода, имевшая хождение в некоторых странах. – *Прим. изд-ва.*

** نونجم, *араб.* – сумасшедшая.

*** ارود, *араб.* – дура.

**** موتعم, *араб.* – идиотка.

***** Сколько стоит ветер? Сколько стоит солнце? Они не имеют цены! – с араб.

ческой атлетике), а в смысле практическом, прикладном, чему нас учили в школе на уроках оптимального общения*, стремясь вложить максимальный смысл в минимальном формате.

Везде, где я была, вокруг витали мужчины разного возраста, степени состоятельности и уровня наглости, и многие стремились так или иначе покорить меня. Но я легко от них отделывалась – поддерживала, например, с помощью Павлика Морзе слухи о своей аллергии на людей (а она в это время у меня совсем прошла, благодаря любви) или о том, что я ведьма, нахождение с которой лишает мужчин силы. Что интересно, второе пугало гораздо больше: мужчины считали, что аллергию во мне они смогут излечить, а вот собственного страха опасались. Это известный парадокс: человек всегда считал и, увы, считает, что с другими ему справиться легче, чем с собой. Тирану Сталину, о котором, Володечка, я, быть может, расскажу отдельно, казалось легко управлять миллионами людей, милуя и казня их, но он совершенно не способен был справиться со своими вредными привычками, в частности с пристрастием к никотину. Недаром, кажется, именно он высказал изречение: «Победить Гитлера (вместо Гитлера можно подставить советский народ, смысл в данном случае не изменится) гораздо легче, чем бросить курить».

Письмо двадцать седьмое

Я прекратила предыдущее письмо, Володечка, потому что задумалась об этой теме – о нашем желании, чтобы жизнь других складывалась так, как мы хотим.

Я виновата перед тобой. Мне все не хотелось верить, что ты вырос, это трудный момент для всякой матери. А потом появились девочки, девушки, женщины – и все, и я поняла, что ты теперь не мой. Я помню твою обиду, когда я не хотела знакомиться с твоими девушками, уклонялась, хитрила, ссылалась на то, что мне куда-то нужно срочно уехать. На самом деле я знала, что мне твоя очередная passio** не понравится. Во-первых, уже тем, что очередная. Если она окажется красивой, мне будет казаться, что она много о себе думает. Если некрасивая, будет обидно, что она тебе не пара. А главное – я боялась привыкнуть, боялась, что кто-то придется мне по сердцу, покажется достойной кандидатурой мне на смену, а вы потом расстанетесь, и мне будет больно. Но еще больше я боялась твоей боли. Да, у тебя складывалось все легко, весело, беспроблемно, как и большинства молодых людей сороковых годов, нашедших почти оптимальные варианты межполового общения. Но есть то, что опрокидывает все варианты – любовь. Твоей любви к кому-нибудь я очень боялась. Не потому, что заранее ревновала, а потому, что почему-то была уверена в ее несчастливом исходе.

Когда появилась Сандра Ким, я сразу почувствовала опасность. Она была у тебя дольше других, и я понимала причину этой привязки – холодность ее красоты. Беспроигрышный вариант: такую девушку хочется растопить. Однажды мы остались с ней вдвоем, помню, что среди цветов и где-то на высоте, и я наугад спросила:

– Мне кажется, Сандра, ты придерживаешься идеологии living dead***.

Сандра улыбнулась и ответила:

– Нет. Но мне у них многое нравится. Умение радоваться. Умение не бояться терять.

– То есть ты заранее, например, не боишься потерять Володю, если что-то случится?

– А что случится?

– Ну – просто расстанетесь?

– Значит расстанемся. Почему этого бояться? Странно. Вот я приехала в город, он мне нравится, я в нем живу какое-то время. Но я не боюсь оттуда уехать. Есть другие города.

– Но какой-то может показаться тебе единственным.

---

* Дина путает, уроки оптимального общения появились намного позже, в ее время были уроки ОБЖ, то есть «Основы безопасности жизнедеятельности». – *Прим. изд-ва.*

** passio, *лат.* – страсть, пассия.

*** living dead, *англ.* – живые мертвецы, распространенная в 40-х годах психологическая практика, когда человек говорит себе: «Я умер, следовательно: 1. Я всему радуюсь 2. Я ничего не боюсь. 3. Мне ничего не жаль».

– Вряд ли.

– Почему?

– Мы о городе или о человеке?

– О человеке.

– Человек может быть единственным только сам для себя. Для другого он может быть заменяем. На земле огромное количество людей, замену всегда можно найти.

– То есть ты заранее готовишься расстаться с Володей?

– Я об этом не думала, нам хорошо. Но если придется, я не умру с горя.

Мы говорим, а ты, Володечка, сидишь тут же: обычаи того времени заглазных разговоров не предполагали, все равно содержание становилось известным. Ты улыбаешься, но жилочка на скуле мелко и тихо подрагивает – как подрагивала она в таких случаях у всех мужчин на протяжении всех тысячелетий. Меня это пугает. У меня плохие предчувствия.

И они оправдываются. Однажды Сандра пришла с молодым человеком, каким-то кажется, Самсоном, и предложила Володе, как это было тогда принято, оценить этого кажется-Самсона. Володя послушно начал перечислять:

– Что ж, высокий, глаза довольно приятные, волосы густые... Остального я не знаю.

– В сексе очень энергичен, – сказала Сандра. – Ты молодец, Володя, ты хороший, но он такой – более бурный. Хотите посмотреть? – спросила она меня.

Люди в определенном возрасте не хотят казаться ретроградами. Я осталась и посмотрела. Не скажу, что это был бурлеск, но энергия, да, присутствовала.

– Но я пока ничего не решила, – сказала Сандра, опустившись после этого в воду. – Если кому-то что-то не нравится, может сказать.

– Мне нормально, – сказал кажется-Самсон.

– Мне тоже, – сказал Володя. Но жилочка задрожала. И я ушла.

Некоторое время они были втроем, потом появилась еще какая-то Эмма, девушка роста около двух метров и имевшая в связи с этим преимущества, потому что любой мужчина, который отказался бы иметь с нею секс, мог быть заподозрен в отсутствии политкорректности и толерантности. Потом там еще кто-то был, время шло, жилочка подрагивала, я страдала.

И однажды, не выдержав, сказала Володе:

– Сынок, не обманывай себя. Ты хочешь, чтобы Сандра была только твоей, ведь так?

– Мало ли что я хочу. Желания – дело неподконтрольное. И часто вредное. Ты вот хочешь крем-гофре, но не ешь его. Потому что вредно.

– Не сравнивай. Да, я знаю, что человек не может принадлежать другому без его согласия. Но ты пробовал спросить ее: способна ли она хотя бы некоторое время находится только с тобой? Если она скажет нет, значит, не настолько ты ей нужен. И тебе лучше бросить ее...

– Мама!

– Извини.

Я извинилась, потому что в запальчивости произнесла выражение, которое в описываемое время звучало хуже грязной брани. В начале века мы спокойно говорили: «Она его бросила», «Он ее бросил», вкладывая в это образное значение, а не прямое – никто никого наземь на бросал. Но потом и это значение стало казаться неприличным: никто никого не имеет права бросить ни в прямом, ни в переносном смысле. Следовало выражаться: «Воспользовался своим правом свободы, предоставив свободу другому человеку». Или: «Я освободила его», «Я освободил ее».

– Извини. Тебе нужно освободить ее.

– Не хочу. В тебе просто говорят пережитки.

– Возможно. Но я опасаюсь за тебя.

– Я не хочу об этом с тобой говорить! – сказал ты.

Нет, я ошибаюсь. Такая формулировка была в то время тоже невозможной – никто не имел права уклоняться от общения, если другой хотел его продолжить.

Он спросил:

– Насколько важно для тебя говорить об этом сейчас?

Я пожалела его – пожалела, забыв, что умная мать обязана быть жесткой. И сказала:

– Я могу и после.

– Тогда после, если ты не против.

– Не против.

Но разговора на эту тему больше не было.

А потом произошло страшное.

Я была тогда в какой-то поездке.

Ночь.

Телефонный звонок.

Я вскакиваю и обливаюсь холодным липким потом.

Невероятным способом я угадываю, что мне сейчас скажут.

– Извините, что поздно... Ваш сын...

– Я вылетаю!

Они очень торопились, Володечка, похоронить тебя без меня. Ты был изуродован, они не хотели, чтобы я это видела, хотя применили пластическую косметику, насколько это было возможно. Ты употребил то, что разрушает на молекулярном уровне...

Я звонила им каждую минуту и требовала, чтобы дождались.

Они отвечали, что есть определенный порядок, который нельзя нарушать. Я могу заказать стопроцентно идентичную копию.

Я не хотела копии. Я хотела увидеть тебя, Володя. Я надеялась, что все еще поправимо. Стоит мне только успеть доехать до тебя, увидеть, прикоснуться – и ты оживешь.

Я приехала, увидела, прикоснулась.

... Сейчас, Володечка, я несколько часов плакала, жалея и горюя, что родила тебя на свет, а ты погиб. Но вспомнила, что не родила и, следовательно, ты не погиб. И успокоилась. Насколько это лучше и для меня, и для тебя...

И все же иногда я в полной уверенности, что ты был жив. До деталей, до эпизодов, до имен тех, кого ты любил...

А вот твой отец, вернее тот, кто мог быть твоим отцом и некоторое время был им, он давно уже мертв. Он умер молодым, ему не было даже семидесяти.

Но я ведь до сих пор не сказала, кто он.

Это, конечно, Влад.

Вернее, тот, кого я называю Владом.

У меня немного опять все запуталось. Я уже закончила университет, когда стала «Мисс Вселенная»? Не помню.

Сколько мне было лет тогда? Двадцать или двадцать три?

Не помню.

Но неважно, неважно.

Весна остается весной, сколько бы тебе ни было лет и какая бы ни была вокруг общественная система. Я помню, первое мое возвращение в Москву после долгой разлуки было весной. Влад знал об этом заранее и поэтому высвободил себе целых два дня. Он повез меня на подмосковные озера. Это, Володечка, были огромные образования пресной воды, в которых можно было даже купаться, а из некоторых после минимальной обработки даже пить воду. По крайней мере, я своими глазами видела, как Влад зачерпнул воду горстью и выпил со смехом – и не только остался жив, с ним даже не было никаких неполадок.

Любой москвич имел доступ к этим озерам в любое время, мог приезжать, пригорать, плавать на лодках, купаться. Вообще это было время великого равенства. Как минимум чистый воздух и чистая вода могли быть доступны всем, кто этого хотел. Если кому-то не нравилось место проживания, он легко мог сменить его. Не то что сейчас, когда каждый прирегистрирован к своей ячейке, да еще счастлив, если она у него есть – учитывая, сколько людей ждет своей очереди...

С Владом я испытывала всегда ощущение силы, мощи, чего-то большого и красивого. Мы мчались на мощном речном корабле, Влад и здесь не мог оставить своих разговоров, он мощно, напористо, энергично, решал какие-то мощные дела по коммуникатору, стоя лицом к ветру и оглядывая окрестности воды и берегов так, будто он все это создал или собирается преобразовать. Я тогда была уверена, Володечка, что жизнь делают именно такие люди, как твой папа, они словно в лесу просекают прорубку, а остальные идут вслед за ними. У меня рядом с Владом было чувство причастности к значительным событиям, к чему-то глобальному.

В комфортабельной stateroom* у нас был лирический и нежный секс, я много говорила Владу о том, как скучала и как люблю его.

А к вечеру мы полувозвратились – свернули куда-то в залив, где причалились к помосту на воде, там стояло довольно много кораблей, некоторые очень большие.

Это была неофициальная встреча людей, решающих судьбы страны. Я увидела там многих членов правительственных и парламентских структур, в которых тогда не разбиралась, но меня это и не интересовало. Влад попросил меня, чтобы я была отдельно, откуда-то взялась девушка, которая должна была исполнять роль моей подруги, то есть мы были как бы с ней вместе.

– Сама понимаешь, – мягко сказал Влад. – Я еще не разведен, а у нас тут плохо смотрят, если человек не в разводе, а уже с кем-то что-то. Понимаешь?

Я поняла.

Мы ходили с этой девушкой, скучая друг от друга – она была в таком же положении. Влад общался с мужчинами (Байбакян тоже был среди них), а к нам в это время подошел довольно пожилой по тем меркам, шестидесяти с чем-то лет, мужчина. Я знала его, это был довольно странный человек по фамилии Тощинский, который очень любил выступать в газетах и по телевизору с парадоксальными мнениями, каждый раз с противоположными. Поток его речи был непредсказуем. Так вышло и на этот раз.

– Иди погуляй, – сказал он моей временной подруге. – Девушки парами ходят, безобразие. Развели лесбиянство. В стране демографическая проблема, а они друг с другом целуются.

То, что мы не целовались, Тощинского не смущало: для него правдой было не то, что он видел, а то, что он говорил.

Девушка отошла.

– И вообще, – продолжал Тощинский, то есть говорил так, будто продолжал, а на самом деле свернул в другую сторону. – Придумали конкурсы красоты. Это не наше явление. Наше явление – сарафан до пят, волосы платочком завязать, глаза в землю. И восемь ребятишек! Вот наше явление, вот наш идеал. А это что? – показал он на мои ноги, которые были в เสียบ **, что оправдывалось уикендной обстановкой. Это же разврат! Это ты себя всем открыто предлагаешь – нате, берите, раздвигайте! Что, не так?

Я знала за Тощинским репутацию чудака, поэтому решила не оскорбляться.

– О моде говорите? – спросила, проходя мимо, дородная правительственная дама – тоже в довольно короткой юбке.

В голове Тощинского что-то перемкнуло.

– О моде! Если у девушки ноги красивые, гладкие, почему не показать? Для того мы их на конкурсы и посылаем, – похвастался он, словно его личной и государственной заслугой было то, что красивых отечественных девушек посылают на конкурсы. – А если кривые или две тумбы, – он прямо указал на ноги дамы, – то зачем пугать людей? Надень на них паранджу и сиди дома!

– Вы сроду такие вещи говорите, – поморщилась дама.

– Я говорю правду! – отрезал Тощинский. – И это все знают.

Я издали ловила взгляд Влада, наконец поймала и жалобно улыбнулась, глазами показывая в сторону Тощинского: спаси меня от него! Но Влад склонил голову, словно просил: ничего, потерпи.

---

* stateroom, *англ.* – в данном случае имеется в виду каюта повышенного класса.

** เสียบ, *тайск.* – юбка, парео.

Я стала терпеть.

Взяв меня под руку, Тощинский галантно водил меня вдоль пристани и с благовоспитанной улыбкой хорошо себя ведущего клинического идиота нес полную чушь. Тема женщины в современном мире его взволновала, он никак не мог с нее слезть. При этом говорил сердито и напористо, словно убеждал каких-то неведомых придурков, а потом сам же себе и возражал от лица этих придурков, неожиданно поумневших.

– Коня на скаку остановит, в горящую фанзу войдет*! Вот идеал женщины! Сильная, высокая, смелая! – убеждал он.

А через пять минут:

– Женщина должна быть женщиной! Коня, видите ли, остановит, в горящую фанзу войдет! Каждый должен делать свое дело! А конюхи на что? А пожарные? Мы за что им зарплату платим? Я внес проект закона: если у женщины трое детей, пусть сидит дома и получает от государства деньги, как воспитательница детского сада. На каждого ребенка конкретную сумму. Мало? Рожай еще! А всех одиночек, гулящих, бродячих, childfree – на периферию. В Сибирь. Одиноких отлавливать в ресторанах и клубах и отсылать в принудительном порядке. Либо выходи замуж в три дня.

А через пять минут:

– Легальная проституция**, вот что спасет нацию! Я законопроект внес: легализовать! Мужчина после двух лет семейной жизни домой идти не хочет. Он хочет выпить, на футбол, с друзьями посидеть. Ему надо сбросить сексуальную энергию, но он ее топит в пиве. Почему? Потому что к проституткам боится – и зараза, и ограбить могут, и вообще дорого.

Я устала это слушать и сказала:

– Извините, мне пора.

– Куда тебе пора? – закричал Тощинский. – Вот бабы, вот лицемерие! Тут остров, куда тебе пора?

– У меня могут быть свои дела?

И я отошла от Тощинского.

Слегка сердитая, ушла подальше от людей, к воде. Там были заросли у берега. Послышался плеск. На холме, над зарослями, появилась фигура в черном и форменном.

– Греби отсюда! – крикнула кому-то фигура.

– Не ори, – негромко ответил с воды пожилой голос.

Показалась лодка – обычная, с веслами. В ней сидел человек в каком-то балахоне и не спеша греб. На дне лодки была вода и там бултыхалась, били хвостами мелкие рыбешки. Увидев меня, рыбак вдруг сказал с обидой:

– Радуешься? – хотя я вовсе не радовалась. – Ничего, тебе тоже скоро скажут: греби отсюда. И погребешь!

Я не поняла его слов.

Потом подошел Влад.

– А я тебя ищу.

Обрадовавшись, я шагнула навстречу. Но он придержал меня руками.

– Ты зачем Тощинского оскорбила?

– Я? Чем?

– Говорит, так себя вела, будто он тебя снять хотел. А он не хотел, он просто общался.

– Могу перед ним извиниться, если хочешь.

– Да нет. Просто мне с ним еще работать.

– А со мной жить. Или у тебя нет таких планов?

– Есть, есть.

---

* Неточная цитата из какого-то, судя по всему, юмористического стихотворения. Фанза, фан-цзы, 範宇, *кит.* – хижина, изба. – *Прим. изд-ва.*

** Ранее Д. Лаврова утверждала, что проституция уже легализована. Видимо, она имела в виду десятые годы 21-го века. – *Прим. изд-ва.*

Он обнял меня.

Мне было грустно.

Так вечно занятый отец отвечает мимоходом дочери, не вслушиваясь в вопросы:

– Есть, есть. Да, да. Конечно, конечно.

Дочка насупливается и спрашивает:

– А я завтра умру?

– Да, да, конечно, конечно. Что? – просыпается вдруг отец.

– Да так, ничего! – выходит из комнаты мстительная дочка.

Письмо двадцать восьмое

Этот вечер, Володечка, оставил во мне неприятный осадок, но потом был еще один день, а потом вечер и нежность, и любовь. И я отправилась на дальнейшие турне в *(напоминающем небесное спектральное, то есть многоцветное, явление во время влаги и солнца)* настроении, в убежденности, что мое счастье от меня никуда не денется.

Через пару недель, находясь где-то в Токио, Лос-Анджелесе или Париже, не помню, я, не получая несколько дней писем, страшно встревожилась и даже рискнула позвонить Владу, что он категорически мне запретил. И услышала нечто очень странное: «Данного номера не существует». Так случалось, Володечка, если владелец решал по какой-то причине избавиться от своего номера и оповещал об этом пчелиную, или как она там называлась, компанию. Но у Влада было еще несколько номеров, которые я знала. Однако все они или не отвечали или были заблокированы. Очередным утром, едва умывшись, я бросилась к ноутбуку, вошла в Интернет и первое, что увидела, еще не открывая почтового ящика, в ленте главных новостей дня: «Владимир Р. женится на Саше Буковицыной».

Я была, мягко говоря, ошеломлена, а твердо говоря, почти убита.

Саша Буковицына, наследница Андрея Бориса Буковицына, одного из самых богатых людей России, считалась очень завидуемой невестой. Ее фотографии постоянно появлялись в уличных газетах и журналах, она мелькала на телевидении, но все было пристойно, выверено, цензурировано – ясно, что такая девушка не могла позволить лишнего ни себе, ни средствам массовой информации. Да и папа не позволил бы. Никто при этом не знал, какое у нее образование, чем она занимается, но это, собственно, никого и не волновало. Невеста – это было ее звание, занятие, профессия и образование. Ее имя сопрягали то с одним, то с другим известным человеком – и вдруг. Как гром. Неожиданно. Ниоткуда.

Я решила срочно лететь в Москву и попросила купить мне билет.

Тут же прибежали разные люди и стали меня отговаривать, указывать на контракт.

Я сказала, что разрываю контракт.

Они тут же выдвинули вперед адвоката, который с видом злого фокусника предъявил мне множество аргументов, доказывающих, что в случае суда по причине неисполненных обязательств, меня ждут огромные финансовые неприятности с последующими долгами и нищетой.

Я ничего не слышала и не хотела слышать.

В самолете просматривала всю информацию, которую смогла найти, об этой Саше. Во мне поднималось чувство, которого я не испытывала по отношению к Цестурии. Цестурия тоже красавица, но зрелая женщина, с умом, оригинальная, деятельная, всего сама добившаяся в жизни, я, пожалуй, даже уважала ее, хотя и ненавидела. А что тут? Только вот эти глаза, эти губы, этот нос? Одна только геометрия – и все?

Слово это, геометрия, мне припомнилась не случайно, Володечка. Однажды в школе ко мне подошла соученица Таня, очень умная и хорошая девочка, и вдруг, ни с того, ни с сего, прошипела:

– Было бы в кого влюбляться! Ты что, лучше меня? Чем? Ничем. Все это, что у тебя – геометрия! Он в геометрию влюбился!

Кто это «он», я так и не узнала. Наверное, кто-то из наших классных мальчиков, влюбившийся в меня, а Таня любила его, вот и разозлилась. Я удивилась тогда: за что, почему? Что я такого сделала? Да, я красивая, но разве это вина?

Был и другой эпизод, гораздо потом. В очередное навещание мной Бориса и Лары, сестра отвела меня в сторону и сказала:

– Послушай, не сердись, но лучше тебе уехать. У нас и так с ним сейчас полный разлад, а тут ты еще... У него настроение портится.

– Почему? Он всегда рад меня видеть.

– Ага, рад. Просто задыхается от радости. Вернее, оттого, что хочет тебя – а не может.

Тогда я тоже видела в глазах сестры неприязнь, пограничную с почти ненавистью, и обиделась – за что? И вот, просматривая изображение Саши, я поняла, за что. Ни за что. За то, что, ничего не делая, только родившись с чертами лица более правильными, чем у других, я вызываю к себе любовь, не будучи ее достойной. Саша казалась мне такой же – не заслужившей ничем любви, но эту любовь имеющая. Я увидела в ней себя со стороны и возненавидела, но это, естественно, не означало, что я начала ненавидеть себя.

И тут раздался звонок – от Влада. Он сказал, что я, наверное, в курсе последних событий, и попросил не обижаться. Он не хотел меня расстраивать и срывать мне турне. Этот брак – только видимость. Он все объяснит при встрече, главное – не делать резких движений, если я его действительно люблю.

То есть он шантажировал меня моим хорошим к нему отношением!

Во мне все вскипело, и я сказала, что лишнее движение уже сделано, я лечу в Москву.

Он помолчал. Он умел не тратить слов, когда знал, что ситуация необратима. Самолет ведь даже он со всеми его связями не способен повернуть назад. После паузы Влад сказал:

– Хорошо, я тебя встречу.

Встретил меня не он, а какие-то незнакомые люди. Они провели меня в депутатскую комнату или VIP-апартаменты, которые были во всех русских аэропортах, на всех вокзалах, во всех гостиницах, учреждениях, ресторанах, это, Володечка, просто-напросто старинная традиция, даже в домах всегда существовали так называемые чистые половины, гостевые, и комнаты попроще, для просто людей, которые так и назывались – людские.

Вот меня и провели через людской зал в укромную чистую горницу, где меня ждал мой Влад – теперь уже не мой, с чем я не могла смириться. Верный своим привычкам, сначала он излил на меня потоки гнева за то, что я ничего не понимаю, а тороплюсь нарубить дров, вернее, flood stove, when hot*. Хорошо, сказала я, пусть я чего-то не понимаю, тогда объясни, хотя, по-моему, это надо было сделать раньше.

Влад объяснил: перед ним давно стояла проблема развода с женой Ольгой. Проблема очень серьезная: и Ольга была против, и дети не в восторге. А главное, отец Ольги – большой воротун бизнеса и политики, он, если рассердится, испортит Владу не только жизнь, но и всю его карьеру. Особенно когда увидит, что зять на ком-то вторично женится по любви, без интереса, то есть, в его понимании, ради чистого баловства. Именно так он воспринял бы брак Влада со мной. А вот женитьбу на дочери Буковицына он расценит как деловой проект и тоже, конечно, рассердится, но зато поймет и простит – учитывая, что он Буковицына давний знакомый и партнер. Поэтому Саша в определенном смысле – средство развода с Ольгой.

– И она это знает? – спросила я.

– Кто?

– Саша, кто же еще?

– Конечно, нет.

– А если узнает?

– Каким образом?

* flood stove, when hot, *искаж. англ.* – затопить печку, когда жарко; неправильно употреблено слово flood от «затоплять», следует – light, от «затапливать».

– Я скажу.

– Ты хочешь испортить мне жизнь? Пойми, все эти женитьбы и замужества в наших кругах – дело абсолютно формальное. У Саши есть приятель, но отец ни под каким видом не позволяет ей выходить за него замуж, он чуть ли не наркоман вообще. Поэтому у нас все взаимно, я для нее тоже что-то вроде ширмы.

– Она тебе так сказала?

– Зачем говорить, мы умные люди, без слов все понимаем.

Мы долго еще беседовали, и Влад убедил меня в том, что он прав, что поступает так, как должен поступить. Убедить было не так уж трудно: от слов он перешел к делу, а я в такие моменты совсем теряла голову.

Он посоветовал мне во избежание ненужных мыслей и поступков уехать, отдохнуть, не читать газет и журналов, Интернета, не смотреть телевизор – куда-нибудь подальше, на Карибские острова. И пообещал, что через неделю обязательно прилетит ко мне на пару дней. Это было привлекательно. Вернее, наилучший вариант из имевшихся наихудших.

Письмо двадцать восьмое

Моя тропическая неделя, Володечка, была очень странной. Я одновременно восхищалась окружающей красотой и была депрессирована случившейся неприятностью. Утром, после душа, глядя на себя в зеркало, я думала: боже мой, какая я красивая! – и тут же вдогонку: боже мой, какая я несчастная! Этот гремящий коктейль чувств, это beautiful suffering*, наверное, добавляли к моему облику дополнительное очарование, я видела, что все вокруг любуются мной, влюблены в меня. А у меня, возможно потому, что я в этот период была избавлена от проклятья аллергии, была в те дни какая-то повышенная чувствительность ко всему, но чувствительность не раздраженная, а благодарная. Утром я просыпаюсь – и благодарна своему сну, который меня родил заново (всякий сон есть еженощное умирание и воскресение), благодарна своему отдохнувшему телу, благодарна легкому теплу под мягким одеялом и приятной прохладе комнаты, где беззвучно работает климат-система. Я открываю тяжелые шторы: набивная плотная ткань на бежевой шелковой подкладке, рисунок – темно-зеленые стебли и бархатно-пурпурные цветы. Впускаю свет. Вижу море, лазурное, прозрачное у берега, и синее, ярко-темное дальше. Иду в ванную босиком по гладким каменным плитам и коврикам: плиты прохладны, коврики теплы и мягки. Потом делаю легкую гимнастику на веранде, глядя на море, взмахиваю руками и ногами и чувствую, как с каждой минутой ласковеет воздух, ветром овевающий мои движущиеся руки и ноги. Выхожу из своего домика, напоследок оглядев его так, будто прощаюсь с этим временным жилищем, пусть это не так, но это придает всему особый вид. В комнатах мебель из массивного темно-красного дерева, стены, покрашенные в легкий оттенок, чтобы их почти не замечать, кровать под baldaken* с кисейным пологом, потолок из беленых досок – для стильности. Иду в ресторан – босиком, мне это понравилось, я заметила, что многие дамы через день-два переняли эту моду, хотя считалось, что в ресторан босиком нехорошо. Вообще везде свои незаметные правила – чаще приятные, потому что всякие правила облегчают жизнь, если они созданы для удобства, а не ради затруднительности. Утром в ресторан все приходили в одежде обычной, будничной, неприметной, в обед, когда все уже веселое, разгоряченное, развеселенное морем и бассейнами, можно даже в купальных одеждах – наскоро, шумно, как на пикнике. Вечером же у них, как во многих западных и южных странах, то, что у русских считается обедом: обильная еда, неспешная, с разговорами. И все в чем-то вечернем, и босиком дамы уже не приходят, даже я. Преимущественно туфли или босоножки на высоком каблуке.

Я любила утренний ресторан за малолюдность, тихость, неспешность оживших после сна отдыхающих. Входишь, тебе улыбаются официанты – не просто так, а потому, что уже знают тебя

* Beautiful suffering, *англ.* – красивое страдание.

** baldaken, *турецк.* – балдахин.

(улыбки первых дней заучены, механичны), ты уже своя, и они – свои. Ощущение домашности, когда все узнаваемо и все на своих местах, появляется быстро, без него невозможно жить. Человек все быстро одомашнивает, я знаю это по опыту своих многих поездок. Уже потом, в мое трудное время, когда приходилось жить в тесных каморках, я, вселяясь, первым делом аккуратно раскладывала и развешивала вещи, не позволяя им валяться где попало, вешала на стену небольшую репродукцию картины «Грачи прилетели», которая сразу создавала вокруг Россию, какие бы безликие панели ни обрамляли пространство, ставила на столик букетик с цветами, которые покупала в ближайшем магазине – и все, мой дом был готов.

В ресторане этого дорого отеля хоть и существует традиционный стол самоугощения, но ты можешь сесть и тебя обслужат, все принесут, что скажешь. Я никогда этого не делаю, я все сама.

Легкие, но приятно-звучные в тишине прикосновения ножей и вилок к тарелкам, ложечек к чашкам, чашек к блюдцам. Темная струя ароматного кофе густо льется в белую чашку. Белое молоко льется в черный кофе: белое облачко вплывает в черную жидкость, распространяется, не спеша размешиваешь, все становится однородного оттенка. Берешь хлеб, он мне запрещен диетой, но здесь можно – и здесь его столько, что трудно удержаться, берешь три ломтика хлеба – белый и упругий, темный, тяжелый, с какими-то плотными вкраплениями, и большой ломоть смешанного цвета, с впуклыми раковинками, какие бывают в сыре. На черный ломтик намазываешь желтоватое масло, на белый немного джема – красного вишневого или оранжевого апельсинового, а на большой ломоть кладешь что-то основательное, крестьянское – ломоть буженины или окорока. Все это неприхотливо, без изысков (а они тут есть – и немало, включая экзотические морепродукты), но для человека вкусная еда та, что из детства, а я в детстве все это очень любила. Иногда мне хочется закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях: гладкая ручка кофейной чашки в пальцах, приятно-шершавый кусок хлеба в руке, у меня развилось что-то вроде тактильного гурманства, каждый предмет мне казался на ощупь отдельно, по-своему приятен. Проходя мимо пальм, беседок, бунгало, галерей, я обязательно дотрагивалась до поверхностей, ощущая и сравнивая.

Идешь к морю по белому песку, еще не успевшему нагреться. На пляже никого, некому глазеть, но зато кажется, что весь мир, в центре которого ты находишься, любуется на тебя – вот когда ты мисс Вселенная, а не потому, что вручили корону, вот когда чувствуешь, что Бог все создал для тебя, а тебя сделал для всего, что ты (как и каждый любой другой человек) есть цель и смысл всего, что существует. И все есть несомненное доказательство Бога – и ты сама, и небо над тобой, и вода, в которую входишь, и десятки видов разноцветных рыб, причудливых кораллов, которые ты рассматриваешь, опустив в воду голову в маске. Нет, действительно. Если это не чувствует через тебя мировая душа, то есть Бог, тогда зачем все это? Само для себя? Не чувствуя себя? Так не бывает! Так не может быть! Мне вообще тогда казалось, что Бог создал Человека как некий орган чувствования мира – чтобы через него осознать всю греховную прелесть плотского существования. Правда, какое же оно плотское, если увиденный человеком красивый предмет тут же в нем, в человеке, становится духовным отражением?

В общем, тогда во мне была сплошная путаница – почти языческая.

...Возвращаешься под тент, на мягкое покрывало шезлонга, ложишься, вытягиваешься, закрываешь глаза, слушаешь тихий шелест волн, голоса, которые всегда у воды кажутся странными, будто все они – над рядом с тобой, вот девочка что-то закричала, словно над самым ухом, смотришь – а она далеко у воды. Становится так невесомо хорошо, что кажется, вот оно – бескорыстное и полное счастье существования, вегетативно-осмысленное, та самая растворенность в мире (как частица планктона в мыслящем океане), блаженная потерянность своего я (равнозначность морю, солнцу, всему), к которой стремятся всю жизнь многие философы... Но тут же подает тихий голос это самое никогда не спящее «я», мешающее спокойно инджойствовать, это «я», которому, сколько бы ни было счастья, все мало. Вернее не так: когда счастье приходит, «я» начинает сомневаться – а может, оно совсем не такое?

На третий или четвертый день на песок возле моего шезлонга сел атлетического вида молодой человек, типичный обложечный красавец с синими глазами, кудрявыми волосами с выгорев-

шими или химически высветленными прядями и сказал на очень плохом английском:

– Hi. You – Miss Universe? (Привет. Вы – Мисс Вселенная?)

– Here everything is known. And you, too. (Здесь все это знают. И вы тоже) – ответила я тоже не слишком перфектно – тогда у меня еще не было практики.

– That is right. (Это верно), – ответил он. – But we must as a start a conversation. (Но надо же как-то начать разговор).

– Why? (Зачем?)

Он усмехнулся, делая вид, что его не собьешь такими вопросами. И небрежно ответил:

– To see. (Чтобы познакомиться).

– Why? (Зачем?) – повторила я.

– To speak. (Чтобы поговорить), – не сдавался он.

– Why? (Зачем?) – в третий раз спросила я.

Он, не чрезмерно остроумный, как многие красавцы, коряво вымолвил:

– People talk to know each other. (Люди общаются, чтобы узнать друг друга).

– I do not see the need. (Не вижу необходимости), – сказала я. – I see that you have a nice guy. That's enough. (Я вижу, что ты красивый парень. Этого достаточно).

Некоторое время он осмыслял мои слова, видимо, не понимая, как продолжать то самое общение, ради которого ко мне подсел. Наконец где-то в недрах этого совершенного анатомического ландшафта родилось:

– What should I do to you like? (Что я должен сделать, чтобы тебе понравиться?)

– Silent. (Молчать).

Он послушался. Сидел рядом и молчал час, два, три. Мне показалось это занятным. Я подумала, что он, возможно, не так глуп, как мне показалось. Когда я собралась на обед, он отправился было за мной, но я выставила руку: нет, не надо. Он понял.

Настал вечер. После ужина были небольшие танцы под тростниковым навесом. Обычно я сидела и наблюдала, ко мне сначала подходили, а потом перестали, видя, что я не собираюсь танцевать. Но мой волнокудрый красавец рискнул. И я согласилась. Мы танцевали молча. Несколько раз он взглядывал на меня и собирался что-то сказать, но я прикладывала палец к губам.

Я уже знала, что хочу провести с ним ночь.

В этом была какая-то неумолимая логика, логика красоты, когда подобное льнет к подобному. Именно тогда, когда я особенно остро, мучительно и прекрасно любила Влада, я захотела другого мужчину, я, пожалуй, полюбила его. Dubbel kärlek* давно уже перестала считаться ненормальностью, но тогда, в начале двадцать первого века, Володечка, люди еще постоянно искали себе оправдание, когда оказывались в подобной ситуации. Они мучались, переживали. Возможно, я уже тогда была женщиной будущего – я не мучилась, не переживала. Я, конечно, понимала, что не скажу об этом Владу, но не видела никакой измены Владу, больше того, во мне кисла** смутная мысль, что моя любовь к этому прекрасному незнакомцу делает еще лучше мою любовь к Владу. Как бы это объяснить... Вот я одна. Я люблю Влада. А вот я с другим мужчиной. Он любит меня и становится немного частью меня. То есть меня становится больше. А раз меня становится больше, то и моей любви к Владу больше, разве нет?

Все эти размышления были потом, а тогда их не было. Ничего не было, кроме ощущения логики. Я понимала, что это может быть узнано. Но мне было все равно.

После нескольких молчаливых танцев мы молча прошли в мой домик и там молча залюбили друг друга прямо с порога.

Это было так красиво и здорово, что я даже желала, что Влад не видит и не радуется за нас.

А потом был сон, из которого меня, привыкшую к одиночеству и отвыкшую от утренних голосов, разбудили звуки моего красавца. Он был на галерее и говорил тихо, не рассчитав звукопроходимость стены, за которой я лежала.

---

* Dubbel kärlek, *швед.* – двойная любовь.

** Бродила? – *Прим. изд-ва.*

– Все нормально, – говорил он на абсолютно русском языке. – Все оказалось так легко, что я даже не ожидал. Она сама затащила меня в постель.

Меня накрыла догадка: это подстроено.

Но я невольно согласилась со словами провокативного красавца: я сама его затащила, я сама во всем виновата. Зачем я вообще это сделала? Чтобы отмстить Владу? Конечно – нет. В таком случае я разве не понимала, что мое приключение станет ему известно? Понимала. Надеялась, что он отнесется к этому легко? Нет. Тогда что же?

Ответа нет, Володечка. Я ни о чем не думала, я ни на что не рассчитывала, я твердо знала, что люблю Влада и он не должен в этом сомневаться, а раз так, то не должно быть никаких особых последствий.

Волнокудрый вошел в комнату.

Я оглядела его и поразилась, насколько равнодушна стала к нему.

– Доброе утро, – сказал он ласково.

– Доложил начальству? – спросила я.

– Какому начальству? – он приготовился защищаться (обычный мужской рефлекс), но тут же понял, что в этом нет необходимости, и расплылся в улыбке:

– Да.

– Поспешил. Мог бы отдохнуть недельку за чужой счет. Сказал бы: сопротивляется, ломается.

– Да? Чтобы меня за это наказали?

– За тобой следят?

– Почти уверен. А жаль, я бы действительно с тобой недельку покувыркался.

– Пошел вон, – сказала я.

Он не обиделся. Он помахал мне рукой и исчез навсегда.

Через несколько минут раздался звонок.

Конечно же, это был Влад.

Не дожидаясь, что он скажет, я поздравила его с успехом: теперь у него есть все основания считать меня предательницей. А я знаю теперь его степень доверия по отношению ко мне.

Влад не стал запираться: да, он проверял меня. Больше того, сказал Влад, он и раньше сомневался в моей верности, иначе сто раз подумал бы, прежде чем жениться на Саше Буковицыной. Увы, его сомнения подтвердились.

– Ты все лжешь, – сказала я. – Ты пытаешься обмануть сам себя. Просто ты меня полюбил и тебе это мешает. Ты отвык любить. Ты хочешь меня устранить. Ты меняешь одну нелюбимую женщину на другую, зачем? А если это не так, скажи просто и прямо: «Я не люблю тебя». Скажи!

– Я тебя люблю, – сказал он. – Но то, как ты себя ведешь, превышает всякие планки.

– Минуточку! – прервала я. – Если ты подослал ко мне этого секс-диверсанта, значит, ты хотел, чтобы я так себя вела!

Чувствовалось, что он поражен моей логикой и проницательностью. Он не мог найти контрдоводов, поэтому сказал:

– Я не желаю ввязываться с тобой в дискуссии. Ты молодая, красивая, у тебя есть работа и куча выгодных предложений от разных мужчин, в чем я уверен. Строй свое будущее – без меня.

– Хорошо, – послушно сказала я, потому что у меня созрел некий план.

Он созрел в одну секунду, несмотря на его авантюрность, сложность и масштабность.

Письмо двадцать девятое

По традициям российской жизни, Володечка, идущим из глубины веков, наилучшим гарантом безопасности были не личные качества, не сила, не деньги, не таланты, а связи с людьми, обладающими властью. В этом есть логика, согласись: если правящие люди, на которых большая ответственность, доверяют кому-то, значит, человек того достоин.

Я знала, насколько велик в глазах Влада авторитет В.В. Путина. Он даже таймер носил, как Путин, на правой руке (тогда, Володечка, вообще таймеры помещались в самых неожиданных местах, не только на теле, но и на стенах, на столах – люди, не умея чувствовать время, желали всегда иметь его физическое обозначение перед глазами). И эта преклонность Влада Путину была основой моей идеи.

Я вернулась в Москву и обратилась к Павлику Морзе с просьбой внедрить меня туда, где будет Владимир Владимир. Павлик долго отнекивался, потом сказал, что это будет стоить больших денег. Я согласилась, передала ему деньги. И вскоре узнала: назначена поездка премьер-министра в сельские районы страны, где он должен осмотреть, как выращивают пищевые растения и животных. С ним будет делегация. Павлик уговорил кого надо, чтобы меня туда включили.

– В качестве кого? – спросила я.

– В качестве представительницы детского фонда. Ты должна будешь ревизовать состояние сельских детей. Дело плевое – одного чмокнешь, другому сопли вытрешь. Стоп! – сказал он. – А как ты все это сделаешь со своей аллергией?

– Она прошла. И пока не возвращается.

– Здорово, – позавидовал он. – А у меня шишка какая-то вскочила под коленкой. Врачи говорят – ничего особенного, а я переживаю. Зря, наверно. Само пройдет, как у тебя. У тебя же само прошло?

– Любовь помогла! – ответила я с шутливой высокопарностью.

Но он не понял шутки и начал подробно выспрашивать, как именно помогает любовь. Видимо все-таки шишка его беспокоила больше, чем он желал показать, и он хотел выяснить, не поможет ли любовь.

Итак, я отправилась в поездку как представительница детского фонда. Мы летели вместе в одном самолете, ехали в соседних машинах, осматривали сельских животных и людей. Все было хоть и без налета излишней официальности, но деловито, ничего личного. И мое общение с Путиным свелось к нескольким фразам, сводящимся к обмену текущей и наблюдаемой информацией. Только один раз у нас был контакт, когда в Доме малютки я взяла ребенка, а потом передала его Владимиру Владимиру, чтобы он его тоже подержал. Этот момент передачи зафиксировали все фотографы. Я, Путин, ребенок, это выглядело как-то даже семейно, хотя, конечно, никто не позволил себе даже намека на вольный комментарий.

Конечно же, эту фотографию увидел и Влад.

Он позвонил мне немедленно и спросил, когда я вернусь в Москву.

Я ответила, что уже в Москве – наша поездка была всего лишь однодневной, утром улетели, вечером прилетели.

Влад выразил желание встретиться.

Меня привезли в Подмосковье, в тайное место, где я уже была, я осталась с Владом вдвоем. Я ждала, что он скажет. Но он не стал ничего говорить. Он набросился на меня с какой-то чудовищной сексуальной энергией. Он и прежде был non tanto male*, но это была какая-то, по народному выражению, буря мглою небо кроет. Потом он, когда выпил водки, признался, что во время оргазма мысленно видел меня на фотографии и представил себе то, отчего его наслаждение стало подобным ядерному локальному взрыву. До сих пор не знаю, что он имел в виду, а пояснить он не хотел. В тогдашней России, Володечка, люди были довольно трусливы, когда заходила речь о тех, кто у власти. Властители же, наоборот, были очень смелы и могли сказать о подчиненных или тех, кто был ниже статусом, все, что им приходило в голову. Все изменилось, когда появилась новая редакция конституции, закрепившая реально равные права граждан, в частности право любого ответить адекватным хамством на хамство, от кого бы оно не исходило. Одновременно был изменен уголовный или гражданский кодекс, всегда в них путалась, где определялись суммы штрафов и сроки арестов, которые налагались на руководителей, допустивших по отношению к подчинен-

* Non tanto male, *итал.* – ничего себе.

ным грубость, неуважение и уже упомянутое хамство. Помнится, это вызвало обвал судебных процессов и долгую работу по определению дефиниций, так как практика русской жизни не давала четких понятий о том, что такое грубость, неуважение и хамство. Не редкость было, когда уличенный руководитель утверждал, что он всего лишь пожурил подчиненного, а подчиненный настаивал на унижении человеческого достоинства, а присяжные были наполовину за руководителя, наполовину за потерпевшего – в зависимости от собственного социального статуса.

Но не только мое соседство с уважаемым человеком возбудило Влада. Он признался, что я была права, что он меня действительно любит, а вернее сказать, попал от меня в психофизическую зависимость. Он надеялся, что молодая, стройная, темпераментная, красивая жена успокоит его, на самом деле уже в первую брачную ночь он с грустью вспомнил обо мне, уже в первую брачную ночь он с ужасом обнаружил, что не так уж и хочет эту юную красавицу, тогда, чтобы не облажаться*, он закрыл глаза, представил меня – и все получилось.

Но все же он просит потерпеть – он не может так часто и так резко менять свою жизнь. Мы будем встречаться, это главное, чего он хочет. Я согласилась – наши желания совпадали.

Видимо, я обладала врожденным инстинктом счастья – там, где другая увидела бы свое положение неправильным или сомнительным, я находила плюсы и бонусы. В конце концов, у меня был любимый человек и была возможность с ним встречаться. Я опять много снималась для журналов и на телевидении: мой разрыв контракта с последующим лишением меня титула явился скандалом, то есть хорошим информационным поводом для прессы. Я прекрасно, как никогда, выглядела. У меня не возобновлялась аллергия. Мне понравилась работа в детском фонде, куда я попала случайно, но, как выяснилось, мне это подошло.

В общем, все складывалось замечательно, а потом произошло Главное Событие Моей Жизни, Володечка: у меня появился ты.

Письмо тридцатое

Как только я почувствовала в себе твое появление, я испытала то, что ни с чем нельзя сравнить, чего никогда не поймут мужчины (разве только те, которые, начиная с сороковых, вынашивали в себе детей особым образом, но я пишу о тогдашних современниках): ТЕПЕРЬ Я НЕ ОДНА!

Это трудно выразить словами. Об одиночестве написано миллионы слов, в частности, я до сих пор наизусть помню стихи замечательного Ивана Хуареца Йенг Лу, написанные на ходовом в семидесятые творческом языке méli-mélo или mishmash, или интер-суржик**:

Як скердно виты плюрыфорги
Мум в эгидюленье вилкти.
Алегрить грмадой смычны орги,
Ахренто смуты вобщь ети.

Ламур соулую, торкаю,
Даб не зациклен нах кодун.
Коли за илле морфираю,
Баздетс – унынливо унун.

Примерный краткий перевод: «Как страшно тащить свое одиночество, все хотят быть в твоем веселье, никто не хочет быть в твоей грусти. Любовь – единственное средство не думать о себе, о своем одиночестве. Но даже когда я засыпаю с тобой, я все равно один».

* Облажаться – не расшифрованное слово. – *Прим. изд-ва.*

** méli-mélo, *фр.*, mishmash, *англ.*, суржик, *укр.* – смесь, мешанина.

Женщинам, по крайней мере счастливому большинству, от природы повезло неизмеримо больше: они знают, что такое жить удвоенной жизнью, что такое иметь в себе две жизни – свою и носимого ребенка. Вот почему многие после родов чувствуют не только необыкновенное счастье, но и странную, на первый взгляд, депрессию, в которой ничего странного: вот меня было двое, а вот я опять одна...

Некоторое время я ничего особенного не чувствовала, это было только на уровне результатов теста. Было что-то вроде легкого приятного сумасшествия: я накупила кучу тестеров и постоянно проверяла себя – и утром, и днем, и вечером. И каждый раз радовалась: да, беременна.

Мне не терпелось сообщить об этом Владу. Я была уверенна, что он будет счастлив, ведь нет ничего лучше, чем ребенок от любимого человека. Конечно, это предвещает некоторые сложности, но неужели их испугается человек, тащащий на своих плечах громадные дела, проворачивающий в своем мозгу огромные объемы информации, умеющий управлять тысячами и десятками тысячами?

Конечно, я сказала ему это не по телефону. У нас было очередное нежное и страстное свидание, после которого я его обрадовала. Он в это время одевался. На секунду застыл, надевая на себя *(вид нижней одежды, который ниже талии, синоним словам пугливцы, бояки и т.п. – видимо, потому, что в те времена с этим было связано много стрессовых ситуаций, фобий и т.п.*)*, а потом задал странный вопрос:

– Интересно, а какой реакции от меня ты ожидаешь?

Я растерялась.

– Никакой не ожидаю. Просто сказала.

– Нет, ты не просто сказала. Ты сказала, чтобы я за тебя решал, как быть.

– А что тут решать? Есть варианты?

– Мне кажется, вариантов нет.

– И мне так кажется.

– Тогда могла бы и промолчать, – сказал он, потрепав меня по щеке, что я не очень любила.

– Есть женщины, которые могут промолчать в такой ситуации?

– Мало, – вздохнул Влад. – Была у меня одна такая лет пятнадцать назад. Вот любила меня женщина – по-настоящему. Ей любовь была дороже себя. Однажды говорит: «Знаешь, я от тебя аборт сделала». – «Когда?» – «Да месяцев шесть назад, не волнуйся. С тех пор веду себя осторожней». То есть, она регулярно применяла всякие средства – таблетки или свечки, не помню. И никаких проблем. А у тебя что случилось? Не сработало?

– Что не сработало?

– Твои средства.

– Какие средства?

– Противозачаточные.

– Но я их не применяла!

Он хлопнул себя по коленям и покачал головой:

– Чему же ты удивляешься? Странно, что ты не забеременела раньше.

– Да не удивляюсь я! Давай вообще разберемся. Только что ты сказал: вариантов нет. Я согласилась. Но, похоже, ты имел в виду аборт?

– А ты что имела в виду?

– Я? То, что мы наконец поженимся, потому что у тебя веский повод и ни твой бывший тесть не будет в претензии, ни теперешний. Мы друг друга любим, у нас будет ребенок, что еще нужно?

Он долго смотрел на меня странным взглядом и молчал.

Я не выдержала:

– Что?

– Тебе честно или правду? – ответил он своим обычном шутливым вопросом.

---

* Видимо, имеется в виду слово «трусы», этимология которого на самом деле другая – от «труситься», «трястись». – *Прим. изд-ва.*

– И честно, и правду.

– Хорошо. Единственная правда – ты мне всегда нравилась больше других. Чисто эстетически. У тебя красивое лицо, красивое тело, я люблю все красивое. Потом, я с тобой получал довольно неплохие оргазмы. Это тоже важно, согласись. Но любовь это все-таки что-то другое. Это, по-моему, желание видеть человека каждый день и общаться с ним каждый день. А если не пообщался, чувствуешь себя плохо, неуютно, будто не побрился.

– Значит ты не хочешь видеть меня и общаться со мной каждый день?

– Нет.

– А с Сашей своей?

– Тоже нет.

– А с бывшей женой?

– Тоже нет. В этом моя трагедия, – запонурился он. – Я, наверно, еще никого не любил. Вот полюблю, тогда окончательно устрою свою жизнь.

Я была в трансе и в шоке, поэтому продолжала задавать бессмысленные вопросы.

– Ты хочешь, чтобы наш сын был безотцовным?

– Почему сын? И еще никого нет.

– Уже есть! Он есть!

– Определили пол?

– Пока нет, срок очень маленький. Но будет сын. Ты будешь жить и знать, что твой сын где-то растет плебс-боем*?

– Повторяю, его пока нет. А если ты решишь его оставить, это будет твое решение. В таком случае вообще не понимаю, зачем ты со мной советуешься?

– Я не советуюсь! Я была уверена, что ты обрадуешься, что у меня от тебя будет ребенок.

Видимо, я выглядела такой несчастной, что Влада это навело на какие-то мысли. Он сказал:

– Я радуюсь. Вернее, я готов обрадоваться. Но не сейчас. Сейчас не время, понимаешь? У меня есть некоторые срочные дела, после которых я заработаю много денег. Это даст мне свободу. Почти безграничную, поверь мне. Я смогу жить так, как захочу. От Саши избавлюсь, это решено. Вот тогда у нас все будет – нормальная семья, нормальные дети.

– А если я сейчас все-таки рожу ребенка? – спросила я.

– Ты можешь это сделать. Но это будет по отношению ко мне предательство. Подножка. Вернее, удар ножом в спину. Мы не сможем встречаться. Извини.

Я не ожидала, что на меня так подействует эта его угроза. Он стал не только частью моей жизни, он стал моей жизнью. Дело не в том, что прошла аллергия, хотя и в этом тоже, Влад сделался для меня чем-то вроде кислородного аппарата для задыхающегося больного. При этом не обязательно дышать всегда, пусть изредка. Но – отнять совсем? Этой мысли я не могла перенести.

– То есть, – уточняла я, – условие продолжение наших отношений – аборт? Если говорить прямо?

– А почему не говорить прямо? – весело удивился Влад. – Я люблю говорить прямо. Я вообще, надо сказать, не люблю детей. Особенно маленьких. Но от тебя – переживу как-нибудь. Только не сейчас. Сейчас – нет. Категорически.

– Без вариантов?

– Без вариантов.

Так, Володечка, передо мной встал страшный выбор между тобой и твоим отцом. А выбор всегда заставляет заново оценивать то, между чем и чем приходится выбирать. Ты был еще в зачатке, я тебя любила будущего, а Влад был живой и настоящий. Я тонула в слезах несколько дней подряд.

Не буду описывать извилистых путей моих размышлений, сразу же скажу о выводе. Вывод был такой: на самом деле выбор не между тобой и Владом, а выбор между Владом и будущими де-

* Плебс-бой, жаргон 20-х годов 21-го века, означает – уличный, маргинальный подросток. – *Прим. изд-ва.*

тьми вообще. То есть: если я сейчас избавляюсь от зародыша, у меня остается шанс выйти замуж за Влада и родить ему и себе несколько детей. Если оставляю, ребенок будет без Влада – и один, с сомнительной перспективой рождения еще кого-то, потому что я тогда не представляла, что могу кого-то полюбить, кроме Влада.

И я отправилась на аборт.

Об этом я не буду писать, потому что это может быть тебе неприятно.

Была сложность в том, чтобы сделать это секретно во избежание лишних слухов, поэтому я нашла частную клинику, где можно было произвести эту операцию анонимно, без предъявления документов.

Операция кончилась плохо, я долго не могла прийти в себя, долго держалась температура, начались головокружения и другие негативы. Меня не могли держать в стационаре, так как при этой клинике его не было. То есть были две палаты, где женщины лежали после аборта несколько часов и после этого уходили. Поэтому меня отправили домой, но регулярно навещали за достаточно высокую плату. Кончилось тем, что в полубессознательном состоянии я позвонила Ларе, она примчалась с Борисом, они отправили меня в больницу, где я провела потом полтора месяца. Выяснилось, что было заражение крови и еще какие-то специфические осложнения, не хочу об этом.

При выписке врачи сказали мне, что имение детей для меня в дальнейшей жизни будет проблематичным. Но я тогда даже не очень огорчилась. Я верила, что все еще поправимо. Я радовалась, что осталась жива. Я хотела увидеть Влада, который за все это время не сумел навестить меня, так как был длительное время за границей.

Когда я была в больнице, я не читала газет, не смотрела телевизор, не пользовалась Интернетом.

Вернувшись домой, тоже не сразу заглянула в сеть.

Я будто что-то предчувствовала.

И увидела – почти сразу же – счастливую пару, Влада и Сашу. Они выходили из какого-то красивого здания, что-то готическое, где-то там, на Западе. Влад сиял. А у Саши круглился живот. Подпись голосила, что политик и бизнесмен В. Р. дождался счастья: его молодая жена забеременела.

Письмо тридцать первое

Все на меня навалилось, Володечка. Я ненавидела эту женщину и ее будущего ребенка. Я шарила в услужливом Интернете, который подсовывал свои ответы в одну секунду, что не есть так уж хорошо: во многих случаях некоторое время на поиски ответа необходимо для того, чтобы понять, насколько важен вопрос – и нужен ли он вообще. К примеру, когда человек в приступе злобы хотел взорвать все окружающее, в доинтернетное время он не знал, как это делать, стал искать бы книги, выспрашивать, навлек бы на себя подозрения или сам охладел бы к идее, в эпоху же раннего Интернета это можно было сделать легко и быстро – то есть и найти, и взорвать. Потом изобрели множество фильтров, на которые было тут же придумано еще больше способов их обмануть. Но, опять-таки, пока обманываешь, идет время, угасает порыв...

При чем тут это?

Вот при чем: я за несколько секунд отыскала сведения, что проще всего сжечь кожу серной кислотой – и адреса множества мест, где эту кислоту можно было приобрести в любых количествах.

Купив целую канистру, я осторожно наполнила стеклянную большую бутылку с широким горлом и стала ждать.

Информацию о перемещении таких людей, как Влад, найти было легко. Я узнала, что через три дня он должен участвовать в одном важном событии в России, следовательно, должен вернуться. Я узнала, откуда он должен вернуться и легко вычислила аэропорт, куда должен был прилететь его самолет. Номера рейса я выяснить не смогла, поэтому пришлось поехать в аэропорт заранее. Я ходила, как тигрица в вольере, но подумала, что это подозрительно. Села, пыталась ус-

покоиться. Новая догадка: женщина без вещей, с одним только каким-то пакетом, которая долго сидит на одном месте, тоже подозрительна. Я зашла в аэропортный маркет, купила сумку и что-то в нее. Туда же положила и пакет с бутылкой. Но тут же мысль: если я с вещами, значит улетаю. А если улетаю – почему так долго нахожусь в аэропорту? Могут подойти, спросить, куда лечу. Нужно взять билет. Я пошла к окошкам авиакомпаний и в ближайшем попросила билет.

– Куда? – спросила тикет-герл.

– Все равно, – сказала я, но спохватилась. Посмотрела на карту полетов компании, что была за спиной девушки, и сказала: – В Гонконг. На ближайший рейс.

– Ближайший завтра.

– Очень хорошо. Давайте.

– Но на ближайший уже нет. Можно на послезавтра или другими маршрутами.

– Можно на послезавтра или другими маршрутами, – повторила я механически, потому что в это время слушала объявление о прибытии самолета. Это был, его, их самолет.

И пошла встречать.

Если бы у меня была хотя бы спокойная минута для обдумывания того, что я собираюсь сделать, я бы ужаснулась, но такой минуты мне не давал мой воспаленный мозг. Вообще это было странное состояние. Такое я испытывала всего один раз жизни во время пустякового повода. Мы поссорились с Ларой. Я рассердилась на нее, схватила довольно тяжелую модель дворцового замка, которую я делала из специальных деталей, не помню названия, и кинула в нее, стараясь попасть в лицо, чтобы больнее. Парадокс в том, что когда я хватала, кидала, старалась попасть в лицо, я понимала, что делаю плохо, что этого делать не надо. Больше того, я в момент действия не хотела этого делать – но все же фатально делала!

Я в нетерпении ждала у входа в секторе прилета.

Мне почему-то кажется, что я видела, как самолет приземлился, как отделились капсулы с пассажирами и стали приближаться к зданию аэропорта, хотя я не могла этого видеть*.

Я ждала. Прижалась к стене, чтобы ничем себя не выдать (голова моя была при этом покрыта платком, а глаза в темных очках для неузнаваемости), поставила сумку на пол, достала пакет с жидкостью.

Влада и Сашу нельзя было пропустить – к ним бросились толпы журналистов. Охранники Влада оттесняли их, но со всеми справиться и за всеми уследить не могли. Я проталкивалась ближе и ближе. Вот ненавистное лицо Саши. Счастливое. Красивое. Сейчас не будет у тебя ни счастья, ни красоты. Я отвинчиваю пробку. Какие-то ступени под ногами, я стараюсь быть осторожной.

С каким-то банальным криком вроде: «Вот тебе!» – я бросаюсь вперед и, налетев ногой на ступеньку, падаю. И вижу как моя рука, словно чужая, взметывается надо мной, а из бутылки медленно, будто в замедленной съемке, выливается жидкость. И плещет мне в лицо. И я уже больше ничего не вижу, кроме жуткой боли.

誰使任何一個陷阱的另一個人，他進入這!** – как верно выразился через шестьдесят с лишним лет Мэй Джон Ли, когда после вытеснения русских из Сибири они обосновались в северных и приморских областях Китая, где занимались контрабандой сои и гаоляна и составили около 80% населения, что при тогдашней рождаемости русских было не удивительно.

Но вот тогда, именно тогда, когда на меня падала карающая жидкость из моей собственной руки, я поняла Бога и поверила в Него. Потому что это Он не допустил, чтобы я изуродовала другую женщину и, возможно, лишила ее потомства (я потом узнала, что от испуга у нее были неприятности по сохранению в себе ребенка, а если бы не испуг, а шок?). Многие наивные люди обвиняют Бога: зачем он заставил человека все время делать выбор? Человеку трудно, он мучается. А Богу разве легко? Ему разве не приходится делать выбор? Кто из людей решился бы рассудить меня с самой собой? Я убила в себе своего ребенка – и Бог позволил мне это. Я могла убить чужого

* Еще и потому, что тогда подобного способа доставки пассажиров в аэропорт не существовало. – *Прим. изд-ва.*

** 誰使任何一個陷阱的另一個人，他進入這, *кит.*, здесь: не рой другому яму, сам в нее попадешь.

ребенка в чужой женщине – и Бог не позволил мне сделать это. Кто еще смог бы поступить так нечеловечески справедливо? И я почти сразу все поняла и приняла, и сказала Ему спасибо за то, что Он не сделал меня преступницей.

Но все же, Володечка, я потеряла больше двадцати лет своей жизни, пока не появились хорошие средства для регенерации кожи и восстановления зрения, хотя один глаз так и остался искусственным. Но и потом меня долго мучили фантомные боли, кошмары наяву и во снах. Всю жизнь.

Лишь в золотые пятидесятые я немного пожила в свое удовольствие, но это было уже не то. Конечно, свежесть, стройность, упругость и красота в мои 60-70 лет почти не отличались от тех качеств, которые у меня были до несчастья, но тогда, в 23 года, я была уникальной, а в пятидесятые подобных мне были миллионы – это стало легко. Да и не в этом даже дело, я занималась уже настолько другим, что для меня внешность почти не имела значение, хотя все-таки имела.

Но закончу историю.

Когда на меня выливалась жидкость из бутылки, я успела все-таки отвернуться, поэтому пострадала одна половина лица, хотя досталось и второй половине. Но там были всего два красных следа от носа к щеке, а сожженная половина было обезображена до невероятной степени.

Как я лечилась, как я лежала в больнице, это неинтересно.

Вдобавок, вернулась моя аллергия – в жестокой степени. Меня стали раздражать вообще все резкие запахи, не только человеческие, но и краски, вещей. Я просила перевести меня из палаты, в которой, как мне казалось, ужасающе воняло от стен. Мне сказали: да, тут был ремонт и стены красили, но два года назад. Я настаивала, меня перевели туда, где ремонта не было десять лет. Тогда я еще могла настаивать, тогда у меня оставались деньги.

О моей катастрофе, естественно, с огромным удовольствием писали различные издания, в Интернете крутились бесчисленные ролики: кто-то заснял и выложил их там. Они были очень популярны. Влад давал направо и налево интервью о сумасшедшей поклоннице, он стал знаменит, это помогло ему в его карьере, которая, правда, оборвалась в чистилищные годы тюремным заключением – я ничуть не жалела, моя любовь к нему прошла в тот самый момент, когда первая капля жгучей жидкости упала мне на лицо. Поразмыслив, я потом поняла, что вовсе и не любила его. А сведения о нем я черпнула позже: несколько лет ничего не читала и не смотрела.

Меня навещали Борис и Лара. Лара плакала, Борис смотрел печально. А я сквозь боль радовалась за него: теперь кончатся муки его тайной любви ко мне. Недаром же он спросил:

– А как там, под повязкой? Не очень обожгло?

– Нормально обожгло, – и я показала ему фотографию, которую сделали при помещении меня в больницу. Для будущей истории болезни. Он даже вздрогнул.

– Но что-то можно сделать?

– Почти ничего. Дело не в коже, поражены нервные окончания, мышцы. Будет не лицо, а маска. То есть уже так оно и выглядит, просто вы не видите за бинтами.

Я ошиблась: мира в душе Бориса не возникло. Наоборот, очень скоро они расстались с Ларой. Но она была даже довольна: он выделил ей какие-то средства на жизнь, а особой любви она к нему никогда не испытывала.

Трудней всего было маме.

Она примчалась ко мне – дежурить, поддерживать, помогать. Взяла с собой Дениса. Каждый день просиживала возле меня несколько часов. Я сначала терпела, а потом сказала, что чем больше я лежу одна, тем мне легче: меньше раздражающих запахов.

Потом сняли повязки. Конечно, ко мне рвались репортеры и фотографы, я пригрозила врачам и персоналу судом, если они допустят чье-то проникновение. Потом выяснилось, что кто-то из персонала, подкупленный огромными деньгами, позволил все-таки кому-то просверлить отверстие в стене, когда меня увозили из палаты на процедуры, и таким образом сделал несколько снимков, продав их, само собой, в десять раз дороже, чем заплатил врачу-предателю.

Однажды у меня возникла причуда позвать Вила Колинкина, о котором я тебе, Володечка,

много рассказывала*. Он явился – как всегда, рафинированный, дезодорированный, стерилизованный и одухотворенный. Я лежала сохранившейся стороной лица и попросила не подходить слишком близко.

– Ну что, Вил, – сказала я. – Ты по-прежнему любишь мою уникальную душу, как ты говорил?

– Я всегда тебя буду любить, – сказал Вил, которому верность своему слову была дороже правды.

– Хорошо, – сказала я. – Ты хотел жениться на мне. Я согласна.

И повернулась к нему полным лицом.

Я знала, какое это производит впечатление (и даже научилась получать от этого странное удовольствие). Лицо Вила, всегда ему полностью подконтрольное, так передернулось, что мне показалось, что я услышала, как скрипнули мышцы.

– Что? Не нравится?

– Это поправимо... – пробормотал он.

– Нет. Непоправимо. И все твои слова о моей душе и о моей уникальности – брехня. Вот это, – показала я на ожог, – всего лишь квадратный дециметр кожи. Это ты и любил, дорогой мой интеллектуал. Ты любил кусок кожи. Нет этого куска кожи – нет любви. И у всех у вас так. Вы любите не людей, а геометрию. Сантиметры квадратные и кубические. Площади и объемы вожделеемых соприкосновений. И все. И вся ваша загадка к этому сводится. Ладно, Вил, иди с богом, я не в обиде. Я хуже тебя: не надо было тебя звать. А ты все-таки пришел, значит все-таки ты еще человек.

Он что-то еще бормотал утешающее, я не слушала.

А потом приехал из Саратова Владимир.

Приехал, Володечка, тот, кто, может быть, единственный, достоин был стать твоим отцом.

Я встретила его агрессивно. Я сказала, что если он надеется, что теперь я поддамся на его влюбленность, то – обнаженный номер! Я не хочу такой любви, не хочу жалости, не хочу самоотверженности. Я хочу, чтобы меня любили за то, за что любили – за красоту. А красоты нет, значит не надо меня любить!

Но потом я успокоилась и мы поговорили. С той своей девушкой, не помню имени, он давно расстался. Издает собственную газету на деньги богатого, но патриотичного человека, стал заметным журналистом в Саратове.

Я вдруг поняла, что мне еще хочется с ним поговорить. И он приходил несколько дней подряд.

Как-то мимоходом я рассказала ему о саратовском неведомом чудовище. Которое собиралось через три года мной завладеть, но куда-то исчезло.

Владимир хмыкнул и сказал:

– Это я был тем чудовищем.

– Не смешно.

– Я и не смешу.

– Ты же бедный был, Володечка, а чудовище мне машину подарило и вообще. За конкурс тоже ты заплатил? Из каких денег?

– Ты не интересовалась моей жизнью и ее деталями. У меня в тот год бабушка умерла, оставила двухкомнатную квартиру в центре. Я ее продал. Это ведь целый капитал! Ну, я и решил заинтриговать, как-то придержать тебя, что ли...

– Зачем?

– Я знал, что такого ты меня, то есть никакого, безвестного, бедного, не очень красивого, не полюбишь. Я поставил себе цель: за три года добиться того, чтобы у меня все было. То есть – для тебя. Чтобы ты меня оценила.

– И?

* Возможно, в каких-то других письмах. – *Прим. изд-ва.*

– Не получилось.

– Почему?

– Потому что... Не знаю. Вот такой я чудозвон.

– Постой, а как же авария? Тебя чуть машиной ни убили!

– Я сам себя чуть ни убил. Это всего лишь совпадения. Хотя были моменты тогда, хотел смерти. Дурак.

– Да... Неожиданно... Что ж, возможно, тебе повезло больше, чем ты думаешь. Красавица и чудовище – проблема. А чудовище и чудовище...

– Перестань...

– Володя, только не ври. Вот ты смотришь на меня – и неужели не чувствуешь отвращения?

– Нет.

– Потому что ты стараешься смотреть на одну половину! А ты смотри в глаза, вот так! – я приподнялась и повернулась, чтобы ему было виднее.

– Смотрю, – сказал он.

– Нет, не в глаза, – исправилась я. – Когда смотришь в глаза, лица не видишь! На лицо смотри, на кожу, на этот ужас.

– Ну, смотрю.

– И что? Ведь ужас.

– Как сказать... Наверно. То есть не очень приятно. Но я уже привык за эти дни. А главное – люблю.

– Меня?

– А кого же?

– Со всем вот этим? Я тебе не верю! Ты сейчас сам себе благородство в душу накачиваешь, насильно, а потом будешь мучиться, лучше уж я одна

Володечка, прости, что-то вроде внеплановой проверки. Я сейчас спря

Письмо тридцать второе

Отняли. Только этот клочок, где ничего не напишешь. Все. Смысла больше не осталось ни в чем.

Письмо первое (тридцать третье)

Лана, девочка моя! Диана Лавреневская, твоя мама, пишет тебе и спешит. Прошел год, я достала, на чем писать и могу. Я твоя мама. Мама, мать – это кто родила или могла родить. Девочка – ребенок женского пола. Диана – личное имя, Лавреневская – родовое имя. Род – это

Я не родила тебя от кого хотела сначала, а потом от Владимира, моего мужа, уже не могла родить. Муж – это муж жены. Жена – это жена мужа.

Я виновата перед тобой и рассказала тебе все об этом, но у меня взяли, я еще раз.

Еще раз – это опять.

Я мучаюсь, что ты меня не поймешь.

Я и сама себя не вполне. Не вполне – это не очень. Не очень – это да, но нет. Близко. Близко – это рядом.

Я так собьюсь. Я жила. Да. Прекрасная молодость. Юность. Я пропущу, потом вставлю.

Память вытекает из меня, как кровь из и я макаю в нее слабеющий ума и пытаюсь начертать на

Пытаюсь удержать свою и твою Тебя.

Я была молодой. Это когда мало лет для организма, но уже много для ума. Еще у меня былитакая же девочка, как я, но старше, ирожденный моей мамой, но мужского пола и младше.

Мы жили в Это поставленные друг на друга жилые ячейки. Мое было счастливым, потому чтои мама меня. Я читала, смотрела, или передвигалась по. Наша быладревесными растениями. Когда я стала вырастать, я увидела и поняла, что. Мои и мама были людьмиобщества. Я потом жила в нашей родины. Я знала, что меня ждет будущее. Не для себя, а чтобытебя. Я мечтала о тебе. Но чтобы ты былая должна была. Твоегозвали. Он был. Мы встретились с ним в. Он. А я. Но это не мешало намДругие

счастье

ужас и пустота

но нет

проклятье моей красоты

хотя

ты не понимаешь?

Потом опять Владимир, который
и радость, насколько она возможна

Я вернулась. Я стала жить заново, мне помогли чудозвоны, как называл себя и мой Владимир, замечательные люди – Анна Сафронова, Сергей Боровиков, Алексей Александров, Роман Арбитман, Алексей Голицын, Олег Рогов и многие, многие другие, о которых нужны отдельные рассказы и эпопеи.

...

А главное: да, тебя не было, но были мои любимые дети, кого я растила и воспитывала всю жизнь, я вас всех помню, Антон, Илга, Айлин, Ибрахим, Хинд, Сигэкадзу, Чаган, Гамлиэль, Офра, Сагит, Алехандро, Паула Высокая, Паула Маленькая, Паула Рыжая, Сушмита, Амитабх, Русланчик, Лизутка, Йо Иингх, Мечислав, Шойо...

(Далее перечислены пятьсот с лишним имен, и список не кончен, просто не хватило бумаги).

ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛОВАРЬ

Примечание. Это скорее не словарь, а наброски к нему. Судя по ним, Д.В. Лаврова (Лавреневская) собиралась дать определения некоторых предметов, явлений и понятий начала 21-го века, но не успела далеко продвинуться. Естественно, эти определения сугубо субъективны. Важно отметить, что в словаре (как и в примечаниях к некоторым письмам, и в самих письмах) обнаружены следы нескольких чужих скриптов.

Админ Истамбюель Варенникова-Сяо

Автомобиль (машина, кар, тачка) – средство передвижения, смертельно опасное для жизни в 20-м и первой половине 21-го в.в. Оно часто выполняло, как многое в жизни тогдашних людей, социальную протезирующую функцию, являясь внешним свидетельством признания в обществе, какового (признания) на самом деле часто не было.

Адвокат – бизнесмен, извлекавший прибыль из несчастий и преступлений людей.

Александров Алексей Святослав – один из основателей движения **Дети Ра**, провозгласившего поэзию формой духовного протуберанца; протуберанец может быть разным и даже не очень большим, но он протуберанец, а не выплеск грязи из лужи от колеса проехавшего автомобиля (см. Автомобиль).

Алладин – герой восточных сказок, который нашел что-то такое, что исполняло любые желания, но, кажется, остался в результате ни с чем: древние люди уже понимали, что безграничность возможностей неизбежно приводит к краху.

Америка (США) – страна, которую все ненавидели за то, что там живут (в смысле потребления) лучше всех, и любили за то же самое. Главный недостаток американцев, как выяснилось, заключался в незнании географии: когда в семидесятых Дэйл Мак-Чжун призвал к демократической войне, граждане США были уверены, что завоевать нужно только полмира, т.к. полмира у них уже есть. Ошибка оказалась фатальной.

Анекдот – короткая глупая история, суть которой заключалась в том, что рассказывающие и слушающие чувствовали себя умнее тех, про кого рассказывали и слушали, результатом была завышенная оценка себя, которая нужна была в начале прошлого века каждому землянину (легкий психологически наркотик).

Анна Семенович – не помню, кто это, помню только поговорку: «Ты не Анна Семенович, чтобы тебя все знали».

Арбитман Роман Эмилий – блестящий знаток кино и истории, создатель жанра анти-антиутопии, когда история предстает не такой, какой была или могла быть, а такой, какой *должна* была быть.

Армия – государственная структура одинаково одетых и вооруженных на случай войны людей, находящихся на положении спортсменов, которым, возможно, никогда не суждено соревноваться, отсюда срывы, неврозы и т.п.; армии всех стран были по этим причинам скопищами психически неуравновешенных личностей. В случае войны неврозы не проходили, а обострялись (феномен передержки).

Блин – русская тонкая лепешка из муки и одновременно популярное ругательство; первый блин выходил, как известно, комом, чему сопутствовало огорченное «Блин!» хозяйки. Отсюда и пошло.

Боровиков Сергей Григорий – основатель течения литературной обломовщины, которое предостерегло искусство слова (правда, не навсегда) от технического фокусничанья, коммерческого балясничанья и механического сюжетоконструирования.

Ведущий, ведущая (на телевидении, на радио, на концертах и т.п.) – люди, без которых аудитория начала века не была способна понять, что происходит.

Великий кризис семидесятых – слишком сложно, надо обдумать. На потом.

Владивосток – в 40-е Мэй, в 50-е Порт-Мэй-Влад, в 70-е Кэнди-Догу, в 90-х ушел под воду.

Власть – бизнес, основанный на управлении людьми.

Волосы – роговые нитевидные отростки на теле человека (на теле животных то же самое называлось шерстью).

Выть – однотонно кричать.

Галстук – мужское функциональное украшение на шее, контролировавшее степень эмоциональной напряженности: если шея раздувалась, галстук становился тесен, это для галстуконосца был знак успокоиться. Я не помню ни одного фильма, где бы не рвали галстук от волнения, а в каком-то кто-то даже жевал. Для политиков галстук был стопроцентно обязателен ввиду эмоциональной опасности их работы и необходимости постоянно контролировать шеевздутие.

Голицын Алексей Александр – поэт, потомок Гедиминовичей-Голицыных, внучатый племяшник* известного поручика Голицына, героя Белого движения, о котором охотно пели песни потомки героев Красной армии: парадокс истории!

Губернатор – бизнесмен, извлекавший прибыль из управления губернией.

Дума (парламент) – бизнес-структура, извлекавшая прибыль из законотворчества.

Духи – жидкое вещество для придания женщине несвойственного ей запаха.

Жена, женщина – это я объяснила.

* Так в словаре. – *И. Варенникова-Сяо.*

Инцест – половые отношения между родственниками, а также браки, на протяжении 21-го века то запрещаемые, то разрешаемые.

Каблук – главная часть красивой женской обуви, задняя подпорка, часто высокая и тонкая, делающая эту обувь максимально неудобной. Зато на высоких каблуках невозможно было пройти, не раскачивая бедрами: чем выше каблук, тем амплитуднее раскачка, для этого все и делалось.

Конкурсы – мероприятия, сводившееся к субъективному выбору одного из многих по тем или иным признакам. В 40-е годы официально названы деяниями, унижающими человеческое достоинство и запрещены. Существовали подпольно в формате тотализаторов, в 70-е возродились.

Коллекционер – человек, страдавший легким психическим заболеванием собирания чего-либо, желавший иметь в личном пользовании много редких предметов; при возникновении виртуально-осязательных ресурсов это занятие потеряло смысл.

Красота – нечто, объективно (вне сознания человека и общества) не существующее, но при этом оказывающее на жизнь людей огромное значение, ибо в красоте воплощаются представления человека о гармонии, пользе, силе, богатстве, а иногда и смысле жизни. Прекрасная красота какой-нибудь далекой планеты, затмевающая все красоты Земли, не имеет для человека ни малейшего значения. И это понятно.

Кухня – отдельное помещение, где готовилась еда. Боже, сколько воспоминаний...

Магазин – место, где абсолютно любой человек мог купить абсолютно все из того, что там имелось, если у него на это были деньги. Этих волшебных мест (вот уж воистину пещеры Аладина!) нет уже лет пятнадцать.

Милиция – бизнес-структура, извлекавшая прибыль из охраны общественного порядка в децентрализованном порядке (то есть в порядке не общей, а личной выгоды).

Москва – город, который был больше самого себя. Он нравился тем, кто хотел быть больше себя, ненавистен тем, кто не в силах был стать больше себя и пофиг тем, кто раввин* себе.

Ок – форма согласия с чьим-либо утверждением, происходит, насколько я помню, от слова «око». То есть – «око даю, согласен».

Орел – птица, символ власти, успеха, царственности – то ли потому, что орел летал выше всех, то ли потому, что был замечательным убийцей (люди всегда уважали животных-убийц).

Охранник – в начале 21-го века охранники часто выполняли роль *привратников* или *швейцаров* для *пафоса*, а не для пользы. Если в учреждении было всего пять служащих, пятым был охранник. Если трое – третьим был охранник. Если двое – вторым. Если же имелся один человек (например, при автостоянке), то это был, конечно, охранник. В начале десятых годов охранники стали самой массовой профессией, их было больше, чем врачей, учителей, военных и т.п. После этого началось очередное призадумывание в гос. масштабе на тему, до чего мы докатились.

Павлик Морозов – запутанная историческая фигура, мальчик, который**

Папики – покровители девушек, обычно старше их на 20-30 лет. В десятые годы развилось близкое по смыслу явление – «мамики».

Правительство – бизнес-структура, извлекавшая прибыль из управления государством.

Полотенце – предмет особой и изысканной роскоши, продолговатый кусок материи для вытирания с тела воды после мытья.

Презентация – мероприятие в честь какого-либо события, без которого это событие могли не заметить: люди начала двадцать первого века были рассеянны и несамостоятельны, они видели только то, что им показывали, и знали лишь то, что кто-то хотел, чтобы они знали. Сами видеть и знать они умели редко.

Продукты – общее название всякой еды.

Продюсер – человек, извлекавший прибыль из чужого творческого труда.

Пьющий (человек) – пьющими или выпивающими называли людей, которые регулярно пот-

* Видимо, опечатка, т.е. описка, имелось в виду – равен. *И. Варенникова-Сяо.*

** Не закончено. – *И. Варенникова-Сяо.*

ребляли алкоголь для того, чтобы отдохнуть от самих себя и идентифицироваться с той личностью, которая возникала в результате контакта алкоголя с мозгом.

Работать – что-то делать и получать за это деньги, что-то делать и не получать деньги не считалось работой. Впрочем, прямой связи между работой и деньгами никогда не было.

Река – свободно текущий по земле поток воды. Это не главное. Описать красоту реки.

Реклама – бессовестное навязывание чего-либо, часто основанное на обмане; в золотые пятидесятые была категорически запрещена как явление, грубо оскорбляющее свободу человека.

Рогов Олег Геннадий – поэт и исследователь свойств розовой глины, доказавший, что в Саратове она есть, нужно только увидеть – как увидел розовыми лондонские туманы художник... фамилию не помню: факт известный, сам же художник довольно второстепенный (так явление становится больше автора).

Россия – страна, занимавшая большую часть Евразии, стремившаяся быть империей, но не доведшая дело до конца из-за того, что государство этого всегда хотело, а население этому всегда сопротивлялось.

Роща – несколько деревьев, стоящих рядом, загадка дендростатистики: чуть меньше – еще не роща, чуть больше – уже лес, а сколько именно, никто так и не определил. Называли на глазок.

Сад – я это написала только, чтобы написать это красивейшее слово – САД!

花園餐廳!

!فق يد ح

!הניג

Сафронова Анна Евгений – великий русский культуртрегер и организатор литературного процесса, автор большого числа написанных и еще большего числа ненаписанных в силу занятости аналитических работ.

Сериал – удивительное телевизионное порождение рубежа 20-го – 21-го веков: изо дня в день показывали какие-то истории о выдуманных людях, и на это смотрели, не жалея свое время жизни, миллионы людей. При этом, как правило, никакого художественного значения и смысла в сериалах не было. Но сейчас, когда осталось несколько плееров, позволяющих просматривать эти записи, на право просмотра выстроились многолетние очереди; мне уже не дожить...

Скандал – основная форма приобретения популярности в начале 21-го века.

Собака – одновременно и любимое домашнее животное человека, преданное ему, и ругательство (человеку было свойственно презирать даже собственные привязанности).

Страдать – испытывать дискомфорт.

Туалет – помещение, где люди освобождались от результатов пищеварения.

Улица – пространство, образованное домами, стоящими вдоль и напротив друг друга. Исчезли еще в сороковые годы в связи с возникшей трехмерной структурой жилых конгломератов.

Фейс-контроль – соответствие лица человека, пришедшего в отдыхательное заведение, с понятиями охранника заведения о возможности пребывания этого человека в этом заведении.

ФСБ (Федеральный Сервис Бизнеса (Federal Service Business) – бизнес-структура, извлекавшая прибыль из государственной безопасности.

Чердак – таинственное место детских мыслей, где обязательно стоит сундук, а в нем находится таинственная карта, и якорем там обозначен клад... Пространство под крышей дома.

Школа – существовавшее до тридцатых годов учебное здание, где дети собирались, чтобы получать знания, мешая друг другу, поскольку было доказано, что приобретение знаний есть процесс интимный, а социально общаться можно и в других местах.

Шутка – совсем не то, что под этим понимается сейчас, так же, как и юмор. Обычно связывалось с уродованием человеческих лиц и слов, показом людей, которым плохо и больно. Тогда мало кто был способен понять позднейший юмор – математический, философский и уж тем более логомерный.

Эос – какая-то античная богиня.

Я – местоимение первого лица в устных или письменных словах, обращенных к людям второго лица, часто в присутствии третьих лиц. От этого почти всегда гипертрофированно.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

* * *

Бывает, что занят межгород,
Но вслед за коротким гудком
Его замещающий скорый
В окошко помашет платком,
Стуча, как на швейной машинке,
Сломает прощанья иглу,
И вытянет сквозь камышинку
Рассветную рыхлую мглу.

Зачем нам с тобой переводчик,
Нехитрый словарный запас?
Стоит на путях перевозчик,
Быстрей понимающий нас.
Испорченный сотовый блеет,
И солнечный мячик летит,
И нету счастливей и злее
Препятствий на нашем пути.

Однако, на подступах войско
И твой бронепоезд – в снегах.
И тает затычка из воска,
Увы Одиссею в бегах!
Есть тайное меж городами,
Не время открыться ему
Над рельсами под проводами
В густом паровозном дыму.

* * *

Вполне угрожающе смотрятся
Деревья, дома, провода -
А с виду обычная матрица,
И небо – всё та же вода.

И краешек неба волнителен
С натертой полоской зари.
Полпятого медленным зрителем
Усни и тотчас отомри.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ родился в 1968 году в г. Александров Владимирской области, живет в Саратове, работает инженером-конструктором. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Уральская новь», в антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому» и др. Член редколлегий журналов «Волга» и «Дети Ра».

Когда эти чепчики, усики
И прочие части ракет,
Включив эхолот и акустики,
Очнутся, тебя уже нет.

И мир со своей сковородкою,
Железным подобьем сачка,
Опять проморгает с подлодкою
Удачливого морячка.

* * *

Зима в прямом эфире кашляет,
И снег предательски хрустит.
И дерево кивает каждому,
Без предъявления впустив

Туда, где празднуют безмолвие,
Где слов насыпанный сугроб,
Где замороженные молнии
Хрустальною указкой в лоб

Прицельно бьют - для усвоения
Азов – тупого школяра.
Вращая ручку настроения,
Мне кажется: теперь пора –

Пойдём от берега до берега,
Как пилигрим и пилигрим,
И птиц весёлую истерику
Одним движеньем прекратим.

* * *

Ходит, с левой щеки перевязан,
Головой под машинку обрит,
Ест подбитого лебедя мясо,
Возлежа на тахте, сибарит.

На кушетке досадного смысла
Ясен сокол, слегка наперчён.
Над рекою моста коромысло
Задевает задумчивый чёлн.

Мы живём, под собою не чуя,
Наши речи другим не слышны:
То ли в облаке месяц ночует,
То ли снайперша сбилась с лыжни.

Входит, новым ремнём подпоясан,
Крутит миру невидимый ус,
Подагрической веточкой вяза
Маскируясь под огненный куст.

* * *

Скачет, заглядывает в глаза механическая мелкота,
Одетая в пластмассовый недохитин, в прозрачный бронежилет –
Под ним ничего нет, за ним ничего нет.
Держит, расплескивая, кипяток, теряя из стопки бумаг
Важный листок, перепечатывает на ходу,
Лепечет какую-то ерунду, поворотясь на восток.

Я и сам бегу вместе с ней, но, кажется, отстаю,
Прихлебывая нескафе, прихрамываю изо всех...
Под панцирем у меня что-то вспыхивает не в такт,
А она в это время стрекочет акт. У меня нервы сдают.
До финиша далеко ещё, глубоко ещё до нужного этажа,
Мне, кажется, не успеть, и я кричу коням в драповых дорогих,
Хороших таких пальто – это как караоке петь, –
Слова на стене горящие – не то, не то!

* * *

Такое хриплое ау среди покинутого сада,
Что только хором ночевать, а утром не простясь уйти,
Размешивая огоньки столовой ложкою размером
С фонарный столб, где у дороги пятно невысохшего света.

* * *

В ближайший супермаркет за...
В дырявом брюхе китоборца
Патронов хватит за глаза,
Не помешает пару порций...
Выскакивает друг Гаврош
В ночи почти ветхозаветной,
Нет у него мечты победной,
И крутится волчком, как грош,
А дети с ним. Теперь куда?
В дыму пороховое знамя,
Пробитое осколком льда.
Вперёд, товарищи, за нами
Одна из мировых столиц,
С мильонным населеньем город
С бульонным кубиком, с цветком
В петлице, скоро, очень скоро,
Бегом, товарищи, бегом!

Валерий МУХАРЬЯМОВ

Брагины

Среди жильцов старой фабричной пятиэтажки, живших с присущей рабочим окраинам простотой и открытостью, Нинка Брагина носила несколько снисходительное прозвище Дитя Олимпиады. И хотя родилась она лишь со смуглой, как от сочинского загара, кожей, путаница ее тонких, что называется, «мелким бесом» завитых волос и пухлые, в убористую складочку губы с головой выдавали Нинкину причастность к мировому Олимпийскому движению, а именно к московской Олимпиаде восьмидесятого года. Так стоит ли удивляться, что всякий раз, когда она, откинув назад плечи и высоко подняв подбородок, шла по родному двору своей легкой пружинистой походкой, в воображении коротавших время за доминошным столом любителей «Клуба кинопутешествий» на кудрявой Нинкиной голове рисовалась мерно колыхающаяся корзина с какими-нибудь какао-бобами, а то и с таинственными клубнями мандрагоры.

Забегая вперед, нужно сказать, что самой Нинке, в силу ее независимого характера и полного отсутствия каких-либо комплексов, всегда было решительно наплевать как на соседскую снисходительность, так и на данное ей затейливое прозвище.

Училась она неважно, и когда ее спрашивали об успехах на ниве образования, по своему обыкновению только поводила плечами: «Я звезд с неба не хватаю». Да и уж какие там звезды, если из года в год в итоговых столбиках троечных завитушек в ее дневнике сиротливо красовалась одна единственная, хотя и честно заслуженная пятерка по физкультуре; отстаивая честь школы на спортивных соревнованиях, Нинка неизменно занимала призовые места, что, к слову сказать, не вызывало у ее матери ни малейшего удивления.

А насчет отметок мать только коротко взмахивала рукой: «Брось, Нин, и в голову не бери. У меня вон тоже с образованием не шибко, но ведь не дура же я совсем, и на фабрике, сама знаешь, не в последних хожу».

Что правда, то правда, с образованием у Брагиной старшей действительно было «не шибко», но назвать ее совсем дурой как-то не поворачивался язык, ведь она и в самом деле не только не ходила в последних, но и, как раз наоборот, уже много лет висела на «Доске почета» родной фабрики по пошиву спецодежды.

Более того, ежегодно избираясь в члены профкома, что, безусловно, ко многому обязывало, Валентина Брагина старалась – и этот факт был отражен в ее личном деле – укрепить свое политическое сознание путем активного посещения лекций, проводимых некогда в их фабричном Доме Культуры небезызвестным обществом «Знание». И что вы думаете? – укрепляла!

Из этих лекций она раз и навсегда усвоила, что работать на фабрике, получившей в народе емкое название «Ватник», было бесспорной удачей, и, как человек добрый, стала немного жалеть не имеющих уверенности в будущем американцев, хотя и порицала их за то, что они обижают негров.

Справедливости ради следует заметить, что после постигших ее олимпийских потрясений, о которых речь еще впереди, к этим порицаниям добавилось много личного.

Валерий МУХАРЬЯМОВ родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский педагогический институт. Печатался в журнале «Континент». Автор сценария художественного фильма «Артистка» и ряда пьес, поставленных во многих странах мира. Член Московской городской организации Союза писателей России.

Дед

Не помнившая родительской ласки Нинкина мать выросла под хмельным присмотром своего деда Степана Брагина, старого солдата и близкого к идеям национализма патриота, который, будучи еще мальчонкой с блестящей от соплей дорожкой под носом, в годы русско-японской войны забрасывал камнями лавочки китайцев на окраине Иркутска, внося таким образом посильный вклад в борьбу с японской экспансией.

В девятнадцатом году он воевал с Колчаком. К сожалению, из-за поразившей его тогда жесточайшей дизентерии, воспоминаний об этом периоде дедовой героической жизни сохранилось до обидного мало, да и то, что удержалось в его сознании, являло собой нечто столь же болезненно натужное, как и перенесенный им в ту лихую годину недуг. А потому навестившие его однажды из пионерского любопытства школьники были крайне разочарованы рассказом Брагина о Гражданской войне, не найдя в нем даже малой толики чего-либо пригодного для подражания. Помнится, уже на лестнице один из пионеров, протирая запотевшие от неудовлетворенного любопытства очки, сказал даже по этому поводу ехидную фразу, смысл которой сводился к тому, что далеко, дескать, не каждый воевавший с Колчаком сражался именно против него, а не бок о бок с мятежным адмиралом. Возможно, тот очкарик потом стал известным филологом, но в отношении Брагина он был, конечно же, несправедлив.

Ну, как бы там ни было, а спустя время после дизентерии, перебравшись в Москву, дед устроился вахтером на «Ватник», хотя тогда эту фабрику «Ватником» вовсе и не называли, а в духе того времени она носила радужное название «Синяя блуза», поскольку дух времени ватников в стране еще не ощущался и массовых заказов на них пока не поступало. Так и стоял он год за годом в дверях краснокирпичного здания, построенного по проекту знаменитого архитектора Клейна, и не без удовольствия задерживал всякого, пытавшегося пройти без пропуска. Таких случаев, впрочем, было крайне мало.

Когда дед наконец-то решил жениться, то сделал это, как говорилось, не отходя от кассы, взяв в жены тихую и неприметную с виду кассиршу родного предприятия, которую и перевез в тот же день из общежития в свою коммунальную комнатушку. Нельзя сказать, что этот выбор все нашли очень удачным. Тогда же было замечено, что иные женщины, проходя мимо вахтера Брагина, нет-нет да и поводили недоуменно плечами, а то и губки на манер подковы свертывали: мол, дело, конечно, хозяйское, Степа, и с лица тебе воду не пить, но где же, все-таки, твои глаза-то были? Другие же, что побойчей, так те и вовсе норовили подступить к нему с претензией, потому как в разное время – чего уж греха таить – вымеряли уже пальцами простенок возле Степановой кровати, пребывая в размышлении: впихнется ли туда их шифоньер, и где бы лучше всего стоять комоду. Ну да что сделаешь? – смирились.

А тут и проклятая война подоспела.

Глубокой осенью сорок первого года, забрав из караулки опустевшей фабрики преступно не эвакуированный портрет маршала Ворошилова, Степан пристроил его дома над супружеской кроватью и, крепко поцеловав жену, ушел в народное ополчение с твердым намерением не дать осуществиться гитлеровскому плану «Барбаросса». И день в день, когда по радио объявили о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, впервые поняла тихая Степанова жена, что как ни крути, а с ней определенно что-то не так, и через сорок недель после того поцелуя, сдобренного поощрительным Ворошиловским взглядом, благополучно разродилась мальчиком, дав ему в честь легендарного маршала звучное имя Климентий.

Смерть и на этот раз пощадила старого солдата Брагина. Через пол-Европы на облучке полевой кухни он с боями доехал до самого Берлина и лично, по его словам, этот самый Берлин и брал.

С войны дед пришел с двумя медалями, припадая под их звон на левую ногу, и вид при этом имел самый что ни на есть геройский. А вскоре он вновь заступил на пост по охране государственной собственности или, говоря другими словами, опять встал на вахту в родной до боли проходной.

И все, казалось бы, складывалось хорошо: с женой они жили дружно, Клим рос мальчишкой послушным, и на работе Брагина уважали – комнату, вон, соседскую отдали в пользование. Чего еще надо? – живи, да радуйся, поднимай с друзьями стаканы за то, чтобы не было больше войны, жди прихода Коммунизма... Ан нет! Кабы еще здоровья можно было прикупить для неприметной с виду Степановой жены. Хоть за дорого, хоть душу в залог отдать... – нетути, не продается.

Овдовел Степан, когда сын их служил в армии. Переживал жутко. Приехавший на похороны Клим даже не узнал его – так осунулся отец и постарел в одночасье, а ведь только-только шестьдесят исполнилось ему. Перед отъездом обратно к месту службы, во время мужского неуютного застолья, рассказал он отцу о девушке Марине, работавшей на раздаче в их солдатской столовой. Рассказал, вроде бы, так... между прочим, но при этом все на отца поглядывал: как он? что скажет? Тот подливал в лафитники водку, кивал, как будто одобрительно, но думал о своем, тяжелом.

Дальше побежали дни; для деда – мглистые, безрассветные. Теперь частенько можно было застать его в пивной, где пристрастился он к никчемным разговорам, случайным знакомствам, ну и к выпивке, понятно. В очередь рассказывал о войне; прихвастывал, конечно, не без этого; часто поминал покойницу жену и, сдувая на посыпанный опилками пол густую пену, говаривал убежденно: «Всем нам теперь раком помирать».

Фабричные женщины жалели его. Бывало, бежит какая в обед через проходную, остановится: «Степан Терентич, в гастрономе бычьи хвосты дают, может, взять тебе?» Он только рукой махнет: «Кто мне их готовить-то будет?» Некоторые на этот счет настораживались и, пока он придирчиво сверял фотографию на пропуске с оригиналом, заводили разговор из довоенного: «А что, Степ, помнится, у тебя столетник в зеленой кастрюльке на подоконнике стоял. Так я бы зашла после смены за отростком?» – «Эко, хватилась...» – махнет он рукой, возвращая пропуск, и даже вслед не взглянет.

А тут новый, еще более страшный удар пришелся на и без того опавшие плечи Брагина: получил он от военного командования извещение, что сын его, Климентий, находясь при исполнении служебных обязанностей, угодил в полынью сибирской реки Нижняя Тунгуска, и как не искали его в холодной воде отчаянные водолазы, найти до сего момента не смогли.

Сломила деда эта весть окончательно, никакой маломальской продушины на жизнь не оставила. Никогда еще так сильно не пугался он – будто ослеп вдруг посреди незнакомой дороги и кружит, кружит по буеракам, щупая впереди себя руками. На ощупь и пришел тогда первый раз в церковь. Просить ничего не просил, так... приглядывался по первости только, да невзначай и согрелся душой, прижился там, и позже, если случалось выбирать, то в пивную уже шел не всегда.

Стал он, слава Богу, забываться немного, и если бы не письмо это проклятое... «Уважаемый Степан Терентьевич, – писал неизвестный ему майор Кацевман, – приношу свои соболезнования в связи с гибелью Вашего сына и на правах его командира хочу, чтобы Вы для меня выяснили, продаются ли в Москве наборы бильярдных шаров и почем». Вот такое короткое письмо.

Девять дней после этого, сказавшись больным, не ходил на работу дед. Пил неистово, дико, без оглядки на домовую общественность. Допился до того, что с криком «Бей Кацевмана!» погнался по лестнице за пришедшей к нему с добрыми намерениями фабричной уборщицей Петровной, да еще и метко швырялся ей вслед купленными на профсоюзные деньги яблоками. А на десятый день, когда в квартиру опять позвонили и он, оторвав от табурета ножку, распахнул дверь, в прихожую вошла парашютистка. Дед уже ждал чего-нибудь в этом роде и потому спокойно про себя отметил, что помимо основного парашюта, притороченного, как и положено, у нее за спиной, и запасного, ловко спрятанного спереди под платьем, она держала в руке еще и перевязанный веревкой чемодан.

– Я Марина, – назвала пароль гостья и тоскливо уставилась на хозяина квартиры.

– Ну? – попытался он выиграть время.

И тут, поразив деда больше, чем приходивший с яблоками Кацевман, у парашютистки с шумом отошли воды.

Эх, сообрази тогда несчастный Брагин, что это было хоть и очень похоже, но, однако ж, сов-

сем не то, о чем он грубовато, по-солдатски подумал; да сумей еще и догадаться, что не отважная покорительница небес стоит, обмерев перед ним, а раздатчица Марина с берегов сибирской реки Нижняя Тунгуска, – разве бы выскочил он в одних трусах на лестничную площадку, стал бы барабанить в соседские двери табуретной ножкой, оря дурниной и возмущая тем самым общественность?.. Да никогда в жизни.

Но разошлись самые любопытные; гостью, с трудом оторвав от чемодана, куда-то увезли, и взбаламученный подъезд постепенно опять затянуло ряской покоя, а он все еще сидел на колченогой табуретке за кухонным столом и, слушая увещевания пожилого, похожего на больничную сиделку участкового Мотина, ровным счетом ничего не понимал.

– А я говорю тебе, что это сноха твоя, – в сотый раз повторял Мотин, коротко расхаживая по пятиметровой кухне.

– Она-то, может, и сноха, – пьяно упирался дед, – да только я ей уж никак не свекор.

– А документы? – горячился участковый. – Я у ней первым делом документы проверил.

– А ты, Мотя, опохмелялся сегодня? – потянулся Брагин под стол и, опасно качнувшись, достал початую бутылку. – Вон, сполосни-ка себе стаканчик.

Участковый остановился перед дедом и по-матерински покачал головой:

– Завязывать тебе надо, Степан Терентич, завязывать. Того и гляди, от пальца прикуривать начнешь. – Потом ополоснул стакан и сел напротив хозяина: – Стало быть, и от внука отказываться будешь? – спросил он, придержав пальцем булькающее горлышко бутылки.

– Какого еще внука?

– Тю-у, – распустил на лбу складки участковый. – Что ж ты, в угаре и не заметил, что сноха твоя того... – изобразил он руками огромный живот.

– Врешь! – трезво подался к нему Брагин и, суетливо схватив участкового за рукав, бестолково зашептал: – Ты, вот что... на себе-то не показывай, Мотя, мало ли... – И опять взволнованно переспросил: – Ты правду сказал, ну... про внука?

– Ишь ты, – с удовольствием отметил в нем перемену Мотин, и первым поднял стакан: – Давай, что ли...

С внуком, правда, вышла промашка. Когда допили бутылку, и понукаемый дедом участковый позвонил в роддом, какая-то тетка сердито огрызнулась в трубку, что у поступившей к ним только что Брагиной Марины родилась девочка.

– Два восемьсот пятьдесят! – хлопнул Мотин по плечу вертевшегося возле него деда. – Куда тебе больше?

– Не, не надо, – радостно согласился тот, – и так, почитай, семь фунтов выходит.

Через неделю счастливый Брагин привез Марину с ребенком в чисто вымытую и щедро, до рези в глазах опрысканную одеколоном квартиру. Пока сноха рылась в своем чемодане, он положил живой комочек на стол и торопливо разобрал неумело свернутые тряпицы.

– Девка, – подтвердил он светло, размякло и осторожно потрогал пальцем тугое, измазанное зеленкой пузико.

Имя выбрал сам – Валентина. Марина только плечами пожала.

Вскоре дед ушел на пенсию – видел, не справляется без него молодая мать. Хозяйкой она оказалась никудышной, да и матерью не очень-то хотелось ей быть – все бы, завернувшись в бабкину шаль, на диване лежать, да в потолок глаза лупить. Бывало, спросит дед: – «Мал я-то кормлена?» – «А, – махнет она рукой, – не орет пока, и ладно». Вот и весь сказ.

Зато уж как она любила письма писать, спасу нет. И ведь кому только не писала: и Гагарину, и артисту Марку Бернесу... А то услышит что-нибудь по радио, и сейчас хвать свою тетрадку, и пошло-поехало: «Здравствуй далекий и незнакомый труженик Верхнекамского месторождения калийных солей...» В конце непременно попросит прислать фотографию, и припишет: «Жду ответа, как соловей лета». Много у нее фотографий скопилось; были там и Гагарин с Бернесом, но этих, правда, она в ларьке купила; зато другие сами присылали, и ведь все мужики да парни.

Одних солдат, почитай, с полуроту набралось. И вот еще моду взяла: раскинет их на столе и вроде как пасьянс выкладывает. Тьфу, да и только. В такую минуту как раз шел дед на балкон белье стираное повесить, ну и толкни ее легонько в плечо: «Ты б прикрыла Валюшку, пока я пройду, а то на дворе зябко нынче». Ух, как подхватилась она, скомкала девку вместе с пеленками: «Совсем мне, сироте от вас покою нет, еще и рукам волю даете!» А дед сам чуть не в слезы: разве ж не бьется он, чтобы всем хорошо было?

Жили трудно. Что там дедова пенсия – копейки, а ведь малышке то одно, то другое нужно. Купил он как-то у совсем пропащего мужика машинку, чтобы петли на чулках поднимать. Думал: чекушки за нее не жалко, а если дело пойдет, то и прибыток в доме будет. Нет, не случилось – того не учел, что глаза уже не те, не Ворошиловский стрелок. «Может, попробуешь?» – спросил Марину. Та только сонно на него взглянула, и опять в тетрадке каракули выводит: «Здравствуй далекий и незнакомый полярник станции "Восток". Как тебе живется возле Южного геомагнитного полюса?..»

Хорошо, с яслями особо хлопотать не пришлось, – помнили еще на фабрике Брагина, помогли. Сам Валюшку туда по утрам доставлял: когда на троллейбусе, когда на саночках возил. На старух у подъезда внимания не обращал – ну их... пускай думают, чего хотят.

Десятый месяц уже внучке минул, когда исчезла вдруг из квартиры Марина, исчезла вместе с фотографиями и перевязанным веревкой чемоданом. Пропала, как оказалось, навсегда. Нашел только дед на столе начатое письмо: «Здравствуй далекий и незнакомый монгольский воин...» Участковому, конечно, сообщил, но шибко не убивался. Нет, этого не было. Издалека на сына разве что лишний раз удивился: чего уж он в ней углядел?

Пришло время, и в сшитых дедом нарукавниках побежала Валька в школу. Тут уж и старухи, чтоб им повылазило: «С радостью тебя, Степан Терентич». Вот тогда дед начал «позволять» себе, расслабился, но норму помнил, а как же? – один он у внучки, не дай Бог, если что...

Только вот с пятого, что ли, класса не заладилась у Вальки учеба. Сколько уж она проплакала над книжками, то им двоим лишь и ведомо. Дед, бедный, даже больше нее страдал, поскольку, какой из него в геометриях помощник? Про войну рассказать? – это пожалуйста. Хоть про русско-японскую.

До девятого класса кое-как дотянули, а там уж повел ее Степан Терентич на фабрику. И опять уважили старика – взяли Валентину ученицей. И сразу расцвела девка, нашла, видать, себя в швейном производстве. Начальство на нее не нахвалится, а деду приятно – Брагина! Через год или полтора уже и в профком ее выбрали.

А тут, мода ли на него пошла, или Валька за деда похлопотала, а только стали приглашать его на все подряд торжества делиться воспоминаниями о своем боевом прошлом с пытливой фабричной молодежью. Ну что ж, известное дело, что на людях веселей, чем на печи-то сидеть, и стал ветеран Брагин щедро и с удовольствием с ней, пытливой молодежью делиться.

Несмотря на то, что под воздействием неумолимых лет и губительного алкоголя он многое уже забыл, от выступления к выступлению его воспоминания расцветали все новыми захватывающими подробностями, а самих воспоминаний со временем стало значительно больше, чем вообще могла вместить его память. Поэтому, придя домой и с удивлением вновь переживая рассказанное, дед всякий раз все с возрастающим восхищением оглядывался на свой ратный путь и даже начал дерзко подумывать о написании военных мемуаров.

Эти мысли посещали его все чаще и чаще и в конце концов даже стали подчиняться некоему графику, удивительным образом совпадавшему с днями получения пенсии. И вот как-то утром, случившимся несколько пасмурным из-за мучившего его похмелья, дед все-таки поднял на крыло своего застоявшегося пегаса и, с отвращением слюнявя химический карандаш, написал белым стихом несколько вдохновенных строчек, из коих сам же впоследствии смог разобрать только одну: «Мы во все лопатки лупили по фрицам из своего боевого оружия, чтобы, как сказал маршал Жуков, успеть прикончить войну ко Дню Победы». Начало было положено.

Что же касается его националистических взглядов, зародившихся едва ли не в пору беспорточного детства, то с годами они приняли у деда, говоря газетным языком, форму оголтелого

шовинизма. Нет, в газетах о нем не писали, но то, что взгляды приняли именно такую форму, это точно – он на дух не переносил любого иноплеменника. Ну, просто терпеть не мог.

Немцев Брагин не любил уже потому, что все они, включая знаменитого архитектора Клейна, построившего «Ватник» и Музей изобразительных искусств имени Пушкина, по его глубокому убеждению, были теми же самыми фрицами, по кому в свое время лупил во все лопатки героический дед. Робкие замечания политически грамотной Валентины о том, что Клейна звали Роман Иванович, в расчет не принимались.

Не любил он и грузин, с беспечной легкостью относя к ним все народы Кавказа, и, проходя по рыночным рядам, не мог удержаться, чтобы этак, с вызовом в душе не чертыхнуться: «У-у, понаехали!» Помидоры, однако, покупал.

Несколько сложнее было с евреями, поскольку, хотя шовинизм его был и оголтелым, в своей нелюбви к ним он все-таки делал исключение для участкового врача Розы Яковлевны Гимпель, упорно произнося ее фамилию как Гибель, и для батюшки местного прихода отца Амвросия, в миру – Евреинова Василь Василича, который, впрочем, в снисходительности деда уж совсем не нуждался, так как был, несмотря на подозрительную фамилию, на все сто процентов русским. Но если Роза Яковлевна из-за частых болезней старика считалась в семье Брагиных человеком, что называется, своим, то к отцу Амвросию он проявлял лояльность издалека, уважая батюшку за густой бас и два ордена Славы, полученных им в бытность его полковым разведчиком.

Остальных евреев дед не жаловал, а Кацевмана ненавидел лютой ненавистью.

За долгие годы бдительного стояния в проходной фабрики он так и не смог простить японцам Порт-Артура, но, редко встречая этих представителей Страны восходящего солнца на улицах Москвы, не любил их, как и в детстве, в лице куда чаще попадавшихся китайцев.

В черном дедовом списке, являвшимся по сути перечнем всех существующих на земле национальностей, о доброй половине которых он, правда, и не подозревал, особое место, как бы не казалось это на первый взгляд странным, занимали ничего не подозревавшие о том туркмены.

История возникновения такого недоброго к ним отношения восходит ко второму мирному дню сорок пятого года, когда злой трофейный жеребец с не очень распространенной среди немецких лошадей кличкой Курва откусил половину уха находившемуся в подчинении у Брагина повару туркмену, имя которого злопамятный дед потом забыл нарочно. И вот тогда-то, пытаясь в отместку за нанесенное ему увечье враз выхолостить зловредную скотину, безымянный туркмен метко отстрелил деду мизинец на левой ноге. По сей день, ложась спать, и с горечью не видя отстреленного пальца, старик непечатными словами поминал рывших сами себе Каракумский канал туркменов, и даже находил оправдание профашистски настроенному жеребцу Курве, в тот роковой день, скорее всего, еще не знавшему об уже подписанном генерал-фельдмаршалом Кейтелем акте о капитуляции фашистской Германии.

И вот грянула Олимпиада.

Столкнувшись однажды на своей тихой фабричной улице с кем-то аспидно-черным в ночной рубашке, дед разнервничался настолько, что немедленно совершил, как было сказано в составленном позже милицейском протоколе, «злостное нарушение общественного порядка, путем распития спиртных напитков в районе летнего кафе „Лютик", известного также, как пивная „Под матрасом"». Совершенно справедливо там же указывалось еще и на то, что «данное деяние было осуществлено в составе преступной группы из трех человек, по предварительному сговору». Далее в протоколе говорилось: «Во время задержания правонарушителей Чуркина В.В., Лугового Х.В. и Брагина С.Т., последний пытался ввести в заблуждение милицейский наряд, выдавая себя за одного из законопослушных граждан, занятых приемом пищи в вышеозначенном кафе «Под матрасом». В результате следственно-розыскных мероприятий, предпринятых народными дружинниками Айрапетяном Э.Л. и Шпигун Верой Васильевной, данная попытка была решительно пресечена и задержанные доставлены в Районное отделение Милиции».

В заключительных строчках протокола младший сержант Стригунок, руководивший задержанием, считал своим долгом сообщить, что «при препровождении в Райотдел Милиции, Чуркин

В.В. делал легкомысленные предложения дружиннице Шпигун, чем вызвал у нее возмущенную улыбку, а гражданин Брагин С.Т. выказывал нетерпимость к дружиннику Айрапетяну, выражавшуюся в словах «у, понаехали», и настаивал на своей прошлой службе в правоохранительных органах местной Фабрики по пошиву спецодежды».

Придя из милиции домой, дед от пережитого потрясения слег.

Валентина разрывалась между захандрившим стариком и навалившейся в связи с Олимпиадой общественной работой, вынуждавшей ее порой просиживать на профсоюзных собраниях до самого утра. Над кроватью, рядом с вырванной из журнала картиной Брюллова «Последний день Помпеи» именно тогда она зачем-то повесила карту африканского континента, и часто, вычитав там что-нибудь заковыристое, потом долго повторяла, закрыв для верности глаза: «Лимпопо... Гвардафуй... Нгоронгоро...»

За эти дни Валентина очень изменилась: повзрослела, заметно похудела, личико ее, и без того собранное в кулачок, как-то подобралось, скукожилось, вытолкнув на поверхность большие серые глаза, а когда она, высветлив волосы перекисью водорода, сразу умилительно подурнела, дед пришел к неожиданному для себя выводу, что внучке пора подыскивать жениха.

Видимо, эти же мысли не давали покоя и самой Валентине, досадливо отвлекая ее от общественной работы. Как-то ночью мучимый бессонницей дед услышал за стеной негромкие всхлипывания и, с трудом поднявшись, дошаркал до Валентининой двери.

– Вальк, – негромко постучав, просунул он голову в ее комнату, – ты чего, сдурела?

Та не ответила, и дед понял, что войти можно.

– Али, по работе чего? – спросил он, присаживаясь на краешек кровати. – Так я им быстро укорот-то сделаю. У меня, небось, не забалуешь.

– Нет, не по работе, – не сразу отозвалась Валентина. – Сон мне приснился... страшный.

– Ну-ка, ну-ка, – оживился дед, сам никогда не видевший снов, – сказывай, чего глядела-то.

Валентина помолчала и, вздохнув, начала в темноте рассказывать:

– Приснилось мне, дедуль, что замуж я будто вышла... навовсе.

– Эва! – поощрил он ее. – Ну?..

– Ну вот, – продолжала она, – ночью-то он меня ухватил, да жарко так, крепко... Вот тут, – ткнула она во что-то мягко колыхнувшееся пальцем, – синяк, должно быть, останется...

– Кто?! – с надеждой насторожился старик от этой маленькой подробности. – Наш, фабричный?

– Вот еще, – даже рассердилась Валентина на дедову бестолковость. – Когда ж это ты на фабрике его видел?

– Я-то?.. – удивился тот, и, видимо покопавшись в своей памяти, ответил уверенно: – Нет, не видал.

– Так чего же тогда?.. – все еще в сердцах спросила внучка.

Дед, переживая свою промашку, виновато затих, а она примирительно пояснила:

– Во сне же привиделось, дедуль.

– Стало быть, пригрезилось, – внес литературную правку тот и в ожидании развязки потянул на колени краешек ее одеяла.

Помолчали.

– Ага... – наконец сказал дед, причем исхитрился выговорить это свое «ага» с такой интонацией, с какой обычно произносят «итак...» или «следовательно...», а то и докторско-старорежимное «ну-с...»

– Повернулась я к нему... – сразу отозвалась Валентина, и стало понятно, что во время этой паузы она так и не выбралась из объятий своего ухватистого хлюста. – Повернулась я к нему... – опять повторила она, нагнетая обстановку, как это делают дети, рассказывая на ночь страшилки, – повернулась, глядь... а его и не видно совсем!

– Это как же? – выдохнул воздух дед.

– Вот я и говорю, – приподнялась Валентина, тревожно заскрипев в темноте панцирной сеткой, – руку свою вижу, костюм новый... ну, тот, что с отложным воротничком – тоже вижу, а его

– нет! Вроде как пустое место. Только слышу, – посапывает... – Она опять откинулась на подушку и тихо, с какой-то лирической грустью закончила: – Да еще электричка Мытищинская свистела.

– Электричка?.. – раздумчиво повторил дед, ища в ней ключ к разгадке. – «Дорога?..» – с железной логикой тут же предположил он. Затем в его голову полезли совсем неподходящие слова, часто произносимые при карточном гадании соседкой Анной Ильиничной: «казенный дом», «пустые хлопоты» и даже «пиковый интерес», а когда, шурша пестрыми юбками, явилась и вовсе привокзальная фраза «позолоти ручку», он сдался.

– Ты это... на кухне чекушку с окна не брала? – задал он приземленный вопрос, оставляя внучку наедине с мужем-невидимкой. – А, Вальк?

– Чего?.. Какую чекушку? – очнулась та от своих мыслей.

– Чтой-то не найду я ее. Там еще на два глотка было. Яковлевна, врачиха наша поясницу натирать присоветовала.

– Да ну тебя, дедуль, – невидимо махнула рукой Валентина.

– Бестолковый тебе нынче сон явился, – сказал он тогда, вставая, и, уже прикрыв дверь, хихикнул в щелочку: – Нешто в одеже-то с мужьями спят?

Сделав два глотка и добравшись до своей постели, он еще долго лежал с открытыми глазами, размышляя: «Замуж ей пора... Ну да, созрела девка. Может, Ваське Чуркину из ремонтного посулить ее?» Он представил себе плечистого, под два метра Ваську с перекатывающимися под рубашкой железными мышцами и с железными же зубами меж распахнутых постоянной улыбкой губ на просторном шалопутном лице и, уже засыпая, с удовлетворением подумал: «Этого, небось, в постели не потеряешь».

Отзвучала гимнами и отполоскалась разноцветными флагами Олимпиада. Отстреляли стартовые пистолеты, и на время замолкли судейские свистки. Закончились матчи, завершились турниры, финишировали гонки и эстафеты. Отлетались диски, копья, молоты и ядра. Отзвенели шпаги, рапиры и сабли. С помоста убрали многократно вытолкнутую и вырванную штангу. Посчитались все баллы, голы, очки, метры и килограммы. Распределились места и увенчались медалями победители.

Под прощальную песню Льва Лещенко заплакал вместе со всем стадионом Олимпийский Мишка и улетел на воздушных шарах куда-то в район Университета.

Погасло принесенное аж из самой Греции олимпийское пламя.

Засобирались домой уже было заскучавшие на периферии алкоголики и проститутки, насильно отлученные от большого спорта и спрятанные на время Олимпиады в отдаленные городки и поселки, чтобы, не дай Бог, не показать остальному миру не должных быть в нашей стране язв общества.

И не показали, доказав в этом случае, что наши правоохранительные органы не абы что, и не только владеют, так сказать, общей ситуацией, но и поименно знают каждого алкоголика и держат руку, что называется, на пульсе каждой проститутки.

Наступили будни.

Валентина стала дерганой, вспыльчивой, и, судя по тому, что ночные вздохи и всхлипывания в ее комнате так и не прекратились, можно было сделать вывод, что тот самый, неразличимый в темноте некто без фабричного пропуска, все еще захаживал в ее сны, пугая исходящим неведомо откуда посапыванием.

Дед же, напротив, перемогся, вновь обрел душевный покой, и, забывая о подстреленной туркменом ноге, резво бегал в магазин за растиранием.

Зайдя как-то на фабрику, он деликатно переговорил с Чуркиным.

– А что, – удивился Васька, – разве можно? Так я это... с моим удовольствием. – И, осклабившись железными зубами, добавил: – Лучше бы, конечно, без расписки. А?.. Или как?

– Я вот тебе дам, без расписки, – рассвирепел дед. – У ней комната своя. Смекаешь? Сам-то, небось, по общагам все?

– Так и что? – обиделся за общежитие Васька. – У нас девок разных почитай два этажа живет.

Дед, чувствуя, что разговор принимает нескладный оборот, пустил в ход основной козырь:

– Ты хоть и Чуркин, – понизив голос, сказал он заговорщицки, – а никак того в толк не возьмешь, что я-то не вечный. Ну?.. Вам с Валентиной все метры достанутся.

– Так это еще когда, – с сомнением покачал головой Васька. – Кабы у тебя рак был...

– А годы?! – запальчиво взвизгнул дед, возмущенный Васькиным недоверием. – Я, брат, еще в Русско-Японскую... голыми руками... А с германцем?.. Под Прохоровкой знаешь, сколь танков на нашу кухню перло?.. Ранение, опять же, имею, – дернул он сразу заболевшей ногой. – Али тебе мало?!

Васька задумчиво почесал ладонь о небритую щеку и, сдаваясь, спросил:

– Ну, и как же теперь?.. Прям сегодня, что ли?

– И-и-и, бычок ты непуганый, – остывая, протянул дед. – Мне еще с Валентиной об том потолковать надо. Я тебе знак подам, когда приспеет.

– С тебя бутылка, – на прощанье сказал Чуркин.

На том и порешили.

Но поговорить с внучкой сразу не получилось. Едва выйдя в отпуск, Валентина заболела.

День за днем, не раздеваясь, с накинутым на ноги цветастым халатом, пояс от которого уныло свисал с кроватной спинки, она лежала поверх сшитого из ярких лоскутов сбившегося одеяла и удивительно напоминала растерзанный подарочный кулек, побывавший в руках нетерпеливого ребенка.

Часто она вскакивала и, краснея лицом поверх прижатых ко рту ладоней, выпучив глаза, бежала в ванную.

Дед участливо топтался под дверью.

– Вальк! – пробовал перекричать он шум льющейся воды, – у тебя поносу-то нет? Может, крахмалу намешать?

Во время одного очень продолжительного приступа, он с трудом дозвонился до поликлиники.

– Але-е-е!.. – радостно завопил дед, когда ему, наконец, ответили. – Хочу вызвать Гибель для Брагиной Валентины!

На том конце бросили трубку.

– Ты бы не курил, дедуль, – просила Валентина, добираясь до постели и опять заворачиваясь в халат, – неможется мне.

Дед торопливо совал окурок под капельницу кухонного крана и заискивающе крестился на бумажную иконку, затерявшуюся между пыльной отдушиной и газовой трубой. «К Евреинову, что ли сходить, – думал он, – может, присоветует какого опиуму для народа».

Однажды после пенсии старик принес из магазина большую, в маслянистых потеках запыленную бутылку, похожую на брошенную когда-то под танк, но так и не разорвавшуюся гранату, найденную им на поле боя у деревни Прохоровка.

– Вот, Вальк, – сказал дед, входя с полным стаканом в пропахшую нашатырем комнату внучки, – первейшее средство. Я ведь во время войны раз пять этим спасался. Разок прочистит, и все, – хоть сразу в атаку сигай.

– Что это? – перестав постанывать, с ужасом взглянула внучка на налитый «с горкой» стакан, на дно которого Рождественским снегом еще опадали какие-то хлопья.

– Так вермут же, – радостно сообщил он и, когда Валентина, путаясь ногами в назойливом халате, ринулась в ванную, сложил трубочкой губы и с удовольствием втянул в себя целебную жидкость.

На кухне дед с хрустом откусил от пожухлой половинки луковицы и, приходя в хорошее расположение духа, с выражением прочитал надпись на чудом сохранившейся после событий под Прохоровкой бутылочной этикетке: «Вермут Розовый». Потом, чувствуя поднимавшуюся вместе с хлопьями теплую отрыжку, без всякой задней мысли от себя добавил: «Противозачаточный».

– Валька! – постучал он по водопроводной трубе, уходящей в ванную. – Ежели я грибов пожарю, есть будешь?

К концу отпуска, как и всякий в таких случаях ответственный человек, Валентина круто пошла на поправку. А уж когда опять прыгнула с головой в кипящую повседневность родного коллектива, то вышла в первый же день из проходной обновленной, похорошевшей.

И не видела она в ту ночь сказочного сна про невидимку, а напротив, приснился ей свой взаправдашний «Ватник». Да как хорошо приснился!..

«Нет, – рассуждала она во сне, – коллектив – это вам не фунт изюма, коллектив – это, можно сказать, рабочая семья». Подумала так и побежала, побежала по проходу между стрекочущих швейных машин, повязывая на бегу головную косынку на подкрученные с вечера волосы.

– Валюха! – закричали ей разом работницы. – Какой же ты у нас пригожей стала. В Сочи, небось, в отпуск ездила?

– В Гагру, – засмеялась Валентина. – В Сочи нынешний год комаров много.

А лучшая подруга Анька даже руки прижала к груди:

– Ой, Валя, ты прям, как Народная артистка, етит твою мать. Вылитая.

– Будет тебе – вроде как не поверила она, и в ответ сама приласкала Аньку: – Как там Егорка твой? Вот уж кто писаный ангел.

– Да ничего, вроде, – засветилась та. – Мать пишет, очки ему от косоглазия выписали.

Хорошо Валентине среди своих фабричных подруг. Хорошо.

– С выходом тебя, дочка, – остановил ее парторг цеховой ячейки с белыми, как у киношного большевика, усами, – с первым трудовым днем.

– Спасибо, Демьян Гордеич, – так, кажется, сказала она и улыбнулась.

А может быть, и не Демьян Гордеич это был, а другой сменный мастер, Фрол Акимыч, – поди, во сне-то разбери, да и в цехе страсть как от работы шумно.

А тот: – Брагину Степан Терентичу поклон от меня нижайший.

– А как у нас с планом? – это опять Валентина, да серьезно так, заинтересованно.

– С планом-то? – хитро улыбнулся в усы Фрол Акимыч. – Сто одиннадцать прòцентов уже дали.

И опять хорошо ей. Шутка ли – сто одиннадцать процентов!

В этом месте Валентина уронила на подушку радостную слюнку и с легкостью, присущей только снам, стала рассуждать дальше:

«Нет, правда, хорошо жить в дружной рабочей семье. Если заслужил, – непременно похвалят, а уж провинился – не обессудь, – по головке гладить не будут. Сядут вот так, рядком Демьян Гордеич и Фрол Акимыч у себя в закутке, да для демократии еще уборщицу Петровну позовут, у которой в связи с «партейностью» и хроническим одиночеством до всего есть дело; взглянут премудро на провинившегося: «Ну-ка, сказывай, такой-сякой – предположим – Чуркин Василий, почему ты в пьяном виде дружиннице стыдное предлагал? А?.. Неужто в общежитии девок мало?» Или еще что похуже спросят. И потупится Чуркин, осознавая свою вину, опустит глаза. А уж когда Фрол Акимыч вспомнит, что с Васькиным отцом еще на Третьем Белорусском воевал, то и прослезится, бывало, охальник. Тут и Петровна встрянет – зря, что ли, в закуток позвали, – мать Васькину покойницу помянет: «И-и-и, какая объметчица была! Чтобы домой даже полнитки взять – ни-ни. Не то, что нынешние». Тут Васька загуляет желваками на своем необъятном лице, – застыдится. Перед матерью покойницей, перед Третьим Белорусским фронтом застыдится. «Простите, – выдавит из себя. – Со следующего вторника непременно завяжу». – А как же?! С коллективом не очень-то забалуешь».

И уже перед тем как разбудил Валентину будильник, встретила она около автомата с газированной водой самого Чуркина.

– Ну, – подмигнул он ей, одним глотком осушая двенадцатый по счету стакан, – как там дед? Не помер еще?

– Чего ж ему будет? – удивилась Валентина. – Целыми днями грибы трескает.

– Во-во, ты ему грибов-то побольше давай, – посоветовал Васька. – После вермута – первейшее средство для ботулизма.

Смешной этот Чуркин: шлепнул Валентину пониже спины и пошел себе швейные машины ремонтировать. Никакого уважения к профсоюзу.

Не сдержавшись, со стыдливым облегчением зазвенел на пять минут раньше положенного старенький будильник, и Валентина, снимая на ходу бигуди, пошла ставить чайник.

– Дедуль, – стукнула она в дверь дедовой комнаты, – тебе яичницу сделать?

Дед неожиданно не ответил, и Валентина, шагнувшая уже было в сторону кухни, замерла.

– Деда, – опять, но уже громче позвала она и робко толкнула дверь.

Старик лежал с открытыми глазами и жалобно смотрел на вошедшую внучку.

– Ты что? – заволновалась та.

– Все, Валька, кончаюсь я, – сказал он, наконец, дрожащим голоском. – Видать, от тебя давеча заразился.

«Ботулизм! – мелькнуло в голове у Валентины. – Вот они, грибы-то!» Путая сон и реальность, успела подумать: «Чуркин, гад, как в воду глядел».

Подойдя, она испуганно склонилась над дедом:

– Чего у тебя, живот болит? Тошнота?

– Нет, внученька, – дед заморгал глазами, – слабость у меня... по мужской части. Два раза в коридоре упал. Кранты, в общем.

– Что?! – не поняла она, и на всякий случай поискала глазами бутылку.

– Нога у меня, кажись, отнялась, – вдруг заплакал дед, – та, что туркмен суродовал. – И, испугавшись побледневшей Валентины, уже спокойней добавил: – Теперь-то отошла вроде, только голова кружится. Может, Гибели позвонить?

Вызвав врача и сообщив на фабрику о случившемся, Валентина торопливо вернулась к деду. Тот ждал ее.

– Валюшка... – начал он проникновенно.

– Что, дедуль? – задрожала она в ответ губами.

– Дело-то, вишь какое... – перешел он почему-то на шепот. – Симптом у меня каверзный открылся.

– Ну?.. – подалась Валентина к нему.

– Да погоди ты, не обмирай, – замялся он под одеялом. – Когда ночью-то приспичило в уборную, маленько нездоровилось мне, а тут возьми, да еще с ногой такое случись... Ну и... в общем, не поспел я.

Слезы неудержимо покатились по Валентининым щекам, а смущенный дед окончательно добил ее:

– Ты уж не серчай на меня, – сказал он виновато, – я больше не буду.

Пришедшая вскоре Роза Яковлевна Гимпель сразу осматривать больного не стала. Она только заглянула в его комнату и, подмигнув сквозь толстые очки, спросила:

– Чаю-то мне можно попить?

– Пей, подожду я, – сказал с достоинством дед. – На фронте и не такое бывало.

– До чего ж богата героями земля русская, – покачала головой доктор и ушла на кухню, где, отходя от пятиэтажного восхождения, шумно пила чай с карамелью «Раковая шейка» и разговаривала с Валентиной о чем-то мучительно интересном, но, увы, недоступном для прижатого к стене дедова уха.

Еще в студенческие годы, в какой-то кратковременный момент безответной влюбленности Розочка Гимпель трезво, как будущий медик, взглянула на себя со стороны и, не найдя в своей внешности не только маломальского намека на красоту, но и даже заменяющей ее иногда «изюминки», она мокро плюнула в зеркало, и стала разнузданно полнеть, избрав себе на всю

жизнь роль компанейского «своего парня» и хранителя стыдливых, а порой и бесстыдных девичьих тайн.

На момент этого доверительного чаепития она представляла собой неохватную женщину в возрасте от сорока до пятидесяти пяти лет с отчетливой сединой в волосах, но с черными юношескими усиками между неумело нарисованным помадой ртом и печальным ворсистым носом, напоминающим, если смотреть сбоку, уснувшего библейского ослика. Близость с этим животным ее носу придавали и следы отчетливой потертости от плохо пригнанной упряжи очков.

В свою очередь глаза Розы Яковлевны, хотя и оставались лишь узкими смотровыми щелками, светились острым умом и этаким бесшабашным озорством, граничащим с мелким хулиганством.

Вопреки ее сходству с наспех запихнутым в белый халат полусдутым аэростатом – а это поэтическое сравнение принадлежало не лишенному, как известно, литературного дара деду Брагину, – была она, по его же словам, «до ужасти юркой».

И то правда, энергии доктору Гимпель было не занимать. Едва зайдя на кухню, она плюхнулась на сдавленно охнувшую под ней табуретку, тут же вскочила опять, одной рукой сняла с плиты закипевший уже чайник, другой дважды успела потрогать новые Валентинины сережки, умудрившись в первом случае сказать: «А ничего, симпатичные», а во втором: «Выброси-ка ты их в помойное ведро»; потом она рванулась подкручивать капающий кран, свернула барашек, и, с удивлением произнеся: «Ишь, ты как!», предложила Валентине поменять местами кухонный стол и холодильник, предварительно покрасив последний в салатовый цвет.

Нужной краски в доме не нашлось, и холодильник красить не стали, отложив это на следующий раз.

Но и к чаепитию Роза Яковлевна отнеслась, как к последнему бою, с присущей ей одержимостью и, не замолкая ни на минуту, стала лузгать «Раковую шейку» с такой изумительной проворностью, что пустые конфетные фантики вдруг закружились с печальным шорохом по всей кухне, почему-то напомнив Валентине о необходимости забрать из химчистки свое старое коверкотовое пальто.

– У-ф-ф! – наконец сказала доктор Гимпель после третьей выпитой кружки и с интересом взглянула сквозь подернутые потной дымкой очки на качнувшееся при этом «уф» пламя конфорки. – Где там наш герой-то?

Она встала, привычно одернула собравшийся на спине халат и, выронив из-под себя окончательно сомлевшую табуретку, направилась в комнату деда.

Старик встретил вошедших, как и положено старому солдату, лежа по стойке смирно, и, притом, что лицо его выказывало невыносимое страдание, было совершенно ясно, что возникни сейчас потребность совершить какой-нибудь подвиг, он бы первым откинул конвертик одеяла и сделал два шага вперед. «Умру, но флот не опозорю!», читалось в его героических глазах. При чем здесь флот, бывший командир полевой кухни толком не знал.

– Ты чего разлегся, симулянт? – спросила Роза Яковлевна, близоруко вглядываясь в деда. – Ой, ой, а морду лица-то сделал... как будто у него посуду не приняли.

Обиженно изобразив губами гузку, дед смолчал и покорно отдался для исследования.

Доктор Гимпель, получившая первые навыки греко-римской борьбы еще в институтском анатомическом театре, минут десять мяла, щипала и с куриным хрустом выворачивала дедову многострадальную ногу, не забывая, впрочем, при особенно удачно проведенном приеме с парикмахерской учтивостью спросить: «Не беспокоит, Степан Терентьевич?», на что бедный старик, будто действительно отстаивая честь чуждого ему флота, лишь отрицательно елозил головой по подушке и скрипел зубными протезами.

– Резать? – с покорным пониманием спросил он, когда Роза Яковлевна оставила ногу в покое.

– Зачем? – искренне удивилась та, протискивая тугие щеки в дужки фонендоскопа. – Сама отвалится.

– Во-о-на-а, – протянул дед.

Потом она еще минут пятнадцать тыкала его под ребра жесткой воронкой своего прибора, отдавая при этом противоречивые приказания: «Дыши... Вот так... Да не сопи, тебе говорят... Ну, чего ты затаился?.. А вот теперь не дыши... Нет, ты посмотри, я ему говорю, не дыши, а он мне за пазуху дует».

Померив деду давление, Роза Яковлевна завосторгалась:

– Гагарин, да и только! Пару запасных штанов, и хоть сейчас в космос, – сказала она, подмигивая Валентине.

– Какие, стало быть, рекомендации? – сразу приободрился будущий космонавт.

– В общем, так... – доктор Гимпель подняла вверх белую сардельку указательного пальца. – Про курение забыть. Это первое... С постели без нужды не вставать. – Помолчав, она вдруг легко опрокинула деда навзничь и, подоткнув со всех сторон одеяло, положила тяжелую руку на его канареечную грудь. – А про водку даже и не думай, Степан Терентьевич. Нельзя, дорогой. Да, да, и не смотри на меня так. Хочешь – крест поцелую, но пить я тебе не разрешу, хоть тресни.

– Не богохульствуй, – сердито сделал он ей замечание и, пожевав губами, обреченно спросил: – Коли все так плохо, может, застрелиться мне?

При этих словах все время молчавшая Валентина гулко бухнула себя кулаком в грудь.

– Чего удумал! – со страхом произнесла она, словно зная о припрятанном где-то с войны дедовом нагане.

– Стыдись, Брагин, – с укором взглянула на него и Роза Яковлевна; потом, подойдя к окну, рванула присохшую на краске форточку. – Слыхали? – спросила она кого-то на шумевшей внизу улице и, видимо получив поддержку возмущенных прохожих, опять повернулась к старику: – Ты еще правнуков своих нянчить будешь. Так, что ли, Вальк?

– Ой, я сейчас, – вспомнила о чем-то неотложном Валентина и выскочила за дверь.

– Куды ей! – колупнул дед ногтем стенку. – Кабы спрос был...

– Ну-ну... – только и сказала Роза Яковлевна.

– Ты мне вот что ответь... – дернул он ее за полу халата. – Тут давеча один наш фабричный обещался мне мумие принести... на спирту настоянное... Это как, можно?

– Вот тебе на спирту! – коротко сунула она ему под нос сложенную из пальцев халу. – Чтоб завтра же Валентина принесла в поликлинику утреннюю мочу!

– Мою? – на всякий случай решил уточнить дед, но дверь за доктором уже закрылась.

Как-то в декабре, готовясь к торжествам по случаю успешного выполнения фабрикой годового плана – шутка ли, сто одиннадцать процентов выдали, – Валентина померила свой выходной костюм и с удивлением обнаружила, что он ей мал. Она даже выточки на жакете распорола – не помогло, – грудь все равно рвалась наружу, бесстыдно целясь в нее из трюмо стонущими от напряжения пуговицами.

Когда же она повернулась к отражению спиной и, слегка наклонившись, скосила глаза назад, то, к вящему изумлению, вместо легких плиссированных волн своей синей юбки ее взору предстала тугая, пустынная гладь мирового океана, где пытливый исследователь мог бы обнаружить лишь единственный клочок суши, одновременно похожий и на один из островов Кука, и на раздавленную ягодку земляники, в тот год, к слову сказать, обильно зревшую даже в парке «Лосиный остров», что в районе Мытищ.

Делать нечего, достав купленный еще бабкой розовый отрез поплина, она встала перед зеркалом и принялась думать.

«Значит так, – думала она, – буду шить платье. Его нужно делать отрезным с полудлинными рукавами, вот, как раз до локтевых ямочек. – "Господи, и когда они только успели появиться?" – Рукавчики, конечно, фонариками, а по низу – двойная оборка с сутажной тесьмой. Красная тесьма есть. Теперь воротник... Пусть он будет стоечкой и чтоб с переходом в бант. А что же пустить на бант?»

Валентина полезла в комод и – вот удача! – нашла красный шифоновый шарф. Растянула его

– «Э, да тут и на пояс хватит, и на платочек, чтобы в кармашек вставить. Хорошо, поехали дальше. Лиф надо сделать с кокеткой и оборочками. Кармашек – накладной. Три пуговки. Лучше было бы четыре, но самых красивых нашлось только три – ну и фиг с ним. Как с юбкой?.. Да чего тут думать, конечно же, со сборками и расширенная книзу. По подолу – опять же тесьма. Красота!»

В два дня платье было готово. Вытачки на спине она сделала неразрезные, с большими растворами, так, на всякий случай.

Живописным кренделем завязала на животе пояс. Посмотрелась в зеркало – нет, очень уж выпирает – развернула крендель назад и пошла хвастаться перед дедом.

В ту минуту Брагин, пристроив на лоб восьмикратную лупу и моргая под ее тяжестью циклопическим глазом, увлеченно читал пожелтевший от времени журнал «Здоровье», вызывая своим видом смутные ассоциации с первыми шагами отечественного телевидения.

– Вот... – сказал он на звук скрипнувшей двери, сдвигая с глаза линзу. – Это что ж такое значит «контра...». Но слово сразу не далось и, опять с трудом настроив фокус, дед по слогам прочитал: – «Контра-цеп-тив». А, Вальк?

– Откуда мне знать, – отмахнулась та, ловя свое отражение в глубине серванта. – Ты лучше глянь, какую я обнову сшила. – И, не дождавшись от внезапно онемевшего старика похвальных слов, кокетливо спросила: – Ага, нравится?

– Да ты, девка, никак беременная, – со зловещей уверенностью вдруг вымолвил дед.

Валентина оторопело оглянулась назад, но, не найдя там ничего, что хотя бы отдаленно напоминало беременную девку, стала на выдохе втягивать живот.

– Это почему же? – с испугу поинтересовалась она.

Дед сглотнул какое-то слово, но отвечать на ее дурацкий вопрос не отважился, справедливо рассудив, что уж сама-то беременная должна бы, кажется, знать причину своей беременности; и только когда Валентина не нашла ничего лучшего, как на голубом глазу опять нахально спросить его: «Почему?», он весомо объяснил:

– А по кочану!

– Ой, я сейчас, – благодарно вскрикнула она тогда и, будто вспомнив об оставленном на плите чайнике, побежала на кухню, где и загремела облегченно посудой.

Дед же, оставшись один, с восхищением подумал о Ваське Чуркине: «Ну не шельмец ли?.. И когда только успел? – Потом, вспомнив свои довоенные годы, последний вопрос снял, а на первый ответил утвердительно, – шельмец!»

С того дня Валентина стала ходить на фабрику, не иначе как туго стянув под платьем живот красным шифоновым поясом.

Прошло два месяца. Дед все еще хворал. Без надобности он с постели не поднимался, а когда вставал «по надобности» и, широко раскидывая большие, не по росту костыли и приволакивая ногу, штурмовал невысокий порог уборной, то лишь застилавшая воображение Валентины жалость не давала ей прыснуть смехом от его поразительного в тот момент сходства с худым, битым веником пауком.

– Ну что, герой, – говорила часто заходившая к Брагиным Роза Яковлевна, – может, в больницу тебя положить? Что-то мне последняя кардиограмма не нравится.

– В больницу?.. Как же... – отмахивался тот. – За Валькой глаз да глаз нужен. Того и гляди, еще чего-нибудь учудит.

Чего уж еще могла учудить Валентина без его глаза, дед не знал, но все равно побаивался.

К вопросу о причине своей беременности Валентина больше не возвращалась, да и дед эту тему старался не затрагивать, если не считать передаваемых им через внучку сердечных приветов Чуркину с настойчивыми приглашениями зайти вечерком, потолковать.

Но Васька, хотя приветы и принимал, зайти почему-то отказывался.

– Работы сейчас много, – сказал он однажды, с настороженным интересом косясь на расположившую Валентину, – да и не пью я... с прошлого вторника.

«Врет, – узнав об этих словах Васьки, уверенно подумал дед, – точно, врет. И работу зачем-то приплел».

Всю ночь он промаялся, выискивая возможные причины такого Васькиного поведения. «Неужто стесняется Чуркин», – устало предположил дед под утро, но тут же отверг эту мысль, представив, какое веселье она вызвала бы на фабрике.

– Да ты его про меня-то уведомляла? – спросил он за утренней яичницей. – Сказывала, что я... того... угасаю?

– А ему это надо? – удивилась Валентина, сосредотачивая домиком подсурьмленные брови.

– И-и-и, деревня! – скривился дед на никогда не выезжавшую дальше подмосковных Мытищ внучку. – На-ка вот, покажи ему, – протянул он свернутую, как портняжный метр, ленту кардиограммы.

Подозревая неведомо что, Валентина кардиограмму передала. И после того как Васька, отойдя к мутному свету цехового окна и сосредоточенно зашевелив губами, стал вдумчиво изучать колючий рисунок отчаянных потуг стариковского сердца, она с профкомовской гордостью удивленно подумала: «Надо же... а ведь наш, фабричный!»

– Ни хрена себе!.. – сказал наконец Чуркин, возвращая ей ленту со своими дактилоскопическими отпечатками. И с беззаботным любопытством шалопая, не знавшего в жизни иного недуга, кроме похмельного синдрома, спросил: – Это что ж за бумажка такая?

– А я почем знаю? – сразу озлилась Валентина. – Может, вы в Штирлица играете.

– Чуднò, – сказал Васька, уходя ремонтировать швейные машины.

По заду на этот раз не шлепнул.

Валентина

В первых числах марта, в канун Международного женского дня, когда в профкоме лихорадочно печатались Почетные грамоты, а в местном универмаге закупались жостовские подносы для особо отличившихся работниц, после смены Валентина зашла в огороженный закуток Демьяна Гордеича.

Парторг взахлеб читал материалы проходившего в эти дни съезда, и настроение у него было преотличное.

– Брагина! – как родной обрадовался ей мастер, вставая. – Проходи, проходи. С чем пожаловала? – И, не давая ей ответить, отечески подмигнул: – Вижу я, какие перемены в тебе происходят, ой, вижу.

– Правда? – облегченно покраснела Валентина.

– А как же? – улыбнулся тот. – От старого большевика ничего не скроешь. – Он насладился ее смущением, и разрешающе кивнул: – Говори, дочка.

– Так я, как раз, это... – обретая уверенность, потянула она из кармана пальто хрустящий больничный лист. – Вроде бы, пора мне уже.

– Ну, вот же, вот... – еще больше расплываясь в улыбке, взял бумагу Демьян Гордеич. – Все-таки решилась?

Он суетливо поискал у себя на лбу лежавшие на столе очки, и, не найдя их, скульптурно протянул руку вперед, приглашая Валентину сесть.

– Пора! Очень даже пора, Брагина, – с воспаленной радостью заговорил мастер, начиная от волнения прикартавливать и узнаваемо при этом щуря глаза. – Архиважное решение ты приняла для себя, дорогой товарищ.

– Ага, – заражаясь его ликованьем, кивнула товарищ Брагина.

– Значит, прониклась?! – сразу чуть ли не вскрикнул он. – Значит, услышала дружную поступь миллионов?!

И хотя она не очень поняла про дружную поступь, но, на всякий случай, восторженно зажмурилась и игриво боднула головой воздух.

– Как это там у нашего поэта?.. – парторг вдруг начал притоптывать войлочными ботинками по дощатому полу и, все больше изумляя Валентину, в такт замахал зажатым в кулаке больничным листом: – Левой!.. Левой!..

При виде этого странного марша у Валентины на мгновенье даже мелькнула мысль попроситься в туалет да и сбежать от греха домой, но Демьян Гордеич замер и раскатисто, как старший по параду, выкрикнул:

– Кто там шагает правой?!!

«...авой... ...авой...», почудились Валентине усиленные динамиками отголоски его вопроса.

– Кто? – с профсоюзной готовностью нахмурилась и она. Но из-за шелеста знамен старый мастер не услышал ее.

– На большую дорогу выходишь, дочка, – сказал он уже без микрофона, но с соответствующей выходу на большую дорогу молодецкой удалью и, садясь, наконец, на свое место, улыбчиво поинтересовался: – Понимаешь ли ты это?

– Понимаю, – отчаянно ответила Валентина, стараясь унять в животе заразительный ритм парадного шага. – Очень даже понимаю.

Тогда парторг поменял развеселое выражение лица на мудрое и постучал ладонью по лежавшему перед ним больничному листу:

– А ведь я давно чуял, – сказал он доверительно, – чуял, что к этому идет.

– Откуда? – не поверила она его партийному чутью.

– Что же ты думаешь, – спрятал он лукавую усмешку под «путиловскими» усами, – зря я что ли с сорок седьмого года на этой должности состою? Сколь вот таких девчат, как ты, через мои руки-то прошло... А?.. Сочтешь ли, Брагина?

– Нет, – стушевалась она, – не сочту. – И затомилась от щекотливости темы.

– То-то, – блудливо, как показалось Валентине, хмыкнул Демьян Гордеич. – Имя им – легион!

Тогда для поддержания разговора она решила гаденько, с пониманием хихикнуть и даже, может быть, махнуть рукой или шутливо погрозить пальцем, мол: «Ох, какой вы эдакий, Демьян Гордеич... Про что это вы речь ведете?», но тот блаженно смежил веки и, видимо, стал подсчитать прошедших через его руки девчат.

Валентина поерзала глазами по настенным портретам и, наткнувшись на многодумный, державный взгляд, высматривавший из-под валежника бровей светлое будущее, неожиданно для себя спросила:

– Теперь вон каждый день по телевизору съезд показывают... Чего хоть про Африку говорят? Задружимся мы с ними и дальше?

– Что? – сбился с подсчета Демьян Гордеич. – Африка?.. Ну, что тебе сказать... Кипит черный континент, кипит.

– Кипит, – не стала спорить она.

– В общем, так, – парторг взял со стола Валентинин листок, – заявление твое мы в ближайшие дни рассмотрим. Одну рекомендацию я напишу сам. – Он вдруг опять по-отечески улыбнулся и потянул к носу наконец-то найденные очки. – Нужны нам такие люди в партии, очень нужны!

– О-ой! – заполошно вспомнила о чем-то Валентина. – Я сейчас...

Она выскочила в дверь, сбежала по лестнице, торопливо прошла через двор, миновала проходную, проехала три остановки на удачно подвернувшемся троллейбусе, с трудом поднялась на пятый этаж, сбросила свое коверкотовое пальто, заглянула в комнату деда и, вбежав на кухню, облегченно загремела посудой.

Уход Валентины в предродовой отпуск, конечно, взволновал ее фабричных подруг, но взволновал, надо сказать, не столько самим фактом ее беременности и даже не собственной непростительной халатностью, позволившей члену их коллектива забеременеть так стремительно и, что главное, тайно, а в большей степени ничем не оправданной скрытностью парторга, чуявшего, как оказалось, все с самого начала или, как он сказал, – почина.

Обида на Демьяна Гордеича породила сомнения в неоспоримости тезиса о единстве партии и народа и не вылилась в стихийный митинг лишь потому, что всех женщин в ту минуту охватило одно неуемное, свербящее желание, если уж не вычислить наверняка, то хотя бы попробовать угадать, а уж в самом крайнем случае, крепко заподозрить кого-нибудь в том, что это именно он являлся тем вторым непременным участником известного действа или, если хотите, деяния, поставившего члена профкома Брагину в положение, назвать которое интересным мог бы только человек легкомысленный.

Несмотря на то, что после некоторых колебаний круг подозреваемых лиц был благоразумно ограничен фабричными стенами, он, тем не менее, все еще охватывал довольно большую группу мужских особей, поскольку отбирался единственно по половому признаку, без каких либо скидок на инвалидность или партийный стаж.

А потому для скорейшего определения виновного к рассмотрению охотно принимались любые хоть мало-мальски связанные с Валентиной свидетельства, но при обязательном условии содержания в них чего-то такого, что при тщательном анализе становилось или совсем не таким, как было, или, пусть, таким, но уже совсем не тем, и даже не похожим на то, но о чем потом можно было бы сказать, что это уже нечто и в нем что-то есть. Так справедливое замечание раскройщицы Дуси об участившихся за последний год подозрительных шушуканьях профкома при закрытых дверях вроде бы сначала и насторожило работниц, но по трезвому размышлению в дальнейшем было отброшено как несущественное.

К концу обеденного перерыва, когда после мучительных сомнений все-таки сняли подозрение с пэтэушника Петьки Сапрыкина, пойманного однажды в женской душевой затаившимся в шкафчике Брагиной, имя единственного оставшегося кандидата в отцовство доверили произнести Аньке как ближайшей подруге потерпевшей.

– Чуркин, падла! – воскликнула она точь-в-точь как Архимед, только что открывший основной закон гидростатики.

Все облегченно вздохнули, и лишь Дуся растерянно открыла рот.

– А чего это сразу Чуркин? – жалобно пискнула она.

– Так вместе же решили, – недоуменно обняла ее за талию многодетная Кузина, – коллективом.

Дуся тяжело вздохнула и, достав из кармана наманикюренную фигу, зачем-то показала ее окружающим.

– Вот он придет у меня в следующий раз за утюгом, – пообещала она. И, уже поднявшись в цех, окончательно добила не имевшего своего утюга Ваську: – Кобель он шелудивый, – вздохнула она прощально. – Вот, что я скажу вам, девочки.

С этим, молча, согласились многие.

В то же время Васька все еще находился в полном неведении как относительно самой беременности Валентины, так и своей, уже очевидной, причастности к этому.

– Ну что, Чуркин, – спросил его Фрол Акимыч, встретив у автомата с газированной водой, – что теперь делать-то думаешь?

– Ничего, – честно ответил Чуркин. – Я, Фрол Акимыч, с прошлого вторника окончательно завязал.

– Да-а-а, – неопределенно протянул мастер. – Кобель ты, однако, парень!

– Есть немного, – устало согласился Васька, и в его ответе прозвучало то спокойное достоинство, с каким обычно говорят о своих наградах настоящие, не показные герои.

С получки женщины привычно скинулись на коляску и на время потеряли интерес к этому не особенно в общем-то примечательному событию, потому как среди незамужних девчат, занятых в легкой промышленности, подобные случаи происходили, увы, далеко не редко, а уж в швейном производстве, в силу каких-то обстоятельств, связанных скорее всего со спецификой этой профессии, беременели вне брака почему-то особенно часто.

А дед, несмотря на постоянные визиты Розы Яковлевны, все никак не шел на поправку. Он стал молчалив, напрочь забросил чтение научно-популярного журнала «Здоровье», совсем не включал и прежде-то нелюбимый им телевизор, и теперь Валентина изводила себя придумками, как бы отвлечь его от многочасовых разглядываний потолочных потеков и бессмысленного колупания стенки.

Она пыталась играть с ним в подкидного дурачка и даже стала приглашать для компании ветхую Анну Ильиничну, жившую за стенкой, но дед, будучи уже не в ладах со своей памятью, после первой же взятки начинал в угоду себе путать козырную масть и, легко выигрывая, быстро терял к картам интерес.

Как-то раз, когда он, устав от участливой говорливости соседки, многозначительно зевнул, и женщины торопливо перебрались на кухню, Анна Ильинична предложила Валентине погадать.

– Ну, какой он, предмет твоей страсти, – спросила она, выкладывая на стол четырех валетов, – блондинистый или чернявый?

– Предмет? – не сразу поняла Валентина. – Ах, это... Чернявый, вроде. – И, испугавшись возможных неточностей в предсказании, торопливо уточнила: – Даже очень чернявый.

Старуха собрала колоду, дала ей подснять «от сердца» и стала тасовать разбухшие оладьи карт, напевно заклиная:

– Тридцать пять картей четырех мастей, да валет трефовый, теперь ваше слово. Коли слово крепко, то и самим лепко.

И посыпались, посыпались из нее присказки и приговорки, перемежаемые липким шлепаньем карт.

Валентина зачарованно затаилась, из последних сил стараясь понять смысл происходящего, но, кроме отдельных слов, чаще всего совершенно противоположных по значению, до ее сознания ничего не доходило.

– Это что же значит, – попыталась разобраться она, – бубновая масть – хорошо или, наоборот, плохо?

– А это ты уж сама гляди, – недовольно отвлеклась Анна Ильинична от своих нескладушек. – Если твой роковой шаг через трефовый туз идет, а тут еще три короля хлопочут, то каково? Вот и задумайся, когда бубны красным крестом легли.

– Ага, – кивнула головой Валентина, но, что означает этот красный крест, спросить не решилась.

Так продолжалось довольно долго. Наконец, что-то озадачило и гадалку.

– Не пойму я, – сказала она, ткнув пальцем в пиковую шестерку. – Третий раз тебе дальняя дорога выпадает. – Она перевернула еще одну карту, оказавшуюся трефовым тузом, и с подозрением спросила: – Ты часом на поезде никуда следовать не собираешься?

– Да куда ж мне следовать? – удивилась Валентина. – В роддом если только.

– Ну, до нашего роддома и босиком добежать можно, – сказала старуха, смешивая колоду. – Только карты, скажу я тебе, никогда не врут.

После ее ухода Валентина долго не могла заснуть.

А часов в двенадцать она вдруг вскочила, быстро собрала чемодан и ринулась на Ярославский вокзал.

– Мне один билет, – просунула она голову в кассу, – до Африки.

– Ишь ты, какая быстрая, – взглянула на нее вредная кассирша. – Да у нас после Олимпиады все билеты на два года вперед раскуплены.

– Как же так? – возмутилась Валентина. – Разве вы не знаете, что обо мне три короля хлопочут, и бубны красным крестом легли?

– Вот и идите в Красный крест, – сказала вредина и худым пальцем показала куда идти.

В комнате, где под вывеской «Медпункт» располагался Красный крест, Валентина увидела Розу Яковлевну Гимпель.

– Что, Валя, в Африку собралась? – спросила доктор, переставляя на столе пятилитровую банку, где билось чье-то плоское, похожее на червовую масть сердце. Она посмотрела, ловко ли

пристроила свою посудину, и, уже потом, плотнее затянув крышку, со вздохом добавила: – Кипит черный континент, кипит.

– Так билетов же нету, – пожаловалась Валентина, едва сдерживая слезы.

– Ну, это дело поправимо, – подмигнула ей Роза Яковлевна, ища на груди воронку фонендоскопа. – Раз, два, три, – постучала она по ней пальцем. – Четвертое управление? Это Гибель говорит. Срочно выделите один билет на литерную электричку для Брагиной. Да чтобы у окошка! – Она дунула в воронку и, сказав «отбой», ткнула облезлым ногтем в банку. – За дедом твоим мы с Анной Ильиничной приглядим. Так что, поезжай, Валюха.

И Валюха поехала.

За Мытищами, когда за окном уже замелькала знойная африканская саванна с растущими у насыпи баобабами, и по вагонам стали ходить чернокожие дети, предлагая пассажирам капли от пота и сделанные в Китае африканские маски, она, сморенная жарой, задремала...

«Следующая станция Нгоронгоро, – разбудил ее голос из репродуктора. – Момбасу электропоезд проследует без остановки».

На вокзале Валентина первым делом зашла в буфет и с жадностью съела два сваренных вкрутую страусиных яйца. Давно ей хотелось попробовать, да и не пожалела – оказалось вкусно.

Найдя на привокзальной площади деревянную будку с надписью «Нгоронгорсправка», постучалась в окошко.

– Черви пик Лимпопо Мбаху? – спросила она на местном диалекте, и вскоре, заплатив рубль шестьдесят, получила точно такую же, как висела у нее над кроватью рядом с «Последним днем Помпеи» карту, где крестиком было помечено, куда ей идти.

Отломив от баобаба ветку на случай комаров или мух цеце, Валентина с трудом поставила чемодан на голову и резво пошла по убитой слоновьими ногами дороге.

«Вот ведь удивится, – думала она о своем трефовом валете. – Только бы дома застать. А то ведь уйдет, не ровен час, на охоту или там... в зоопарк...»

Но время шло, а помеченного крестиком места все не было. Какой-то старик в рваной телогрейке, пасший возле дороги жирафов, на ее вопрос насчет крестика, долго и задумчиво хлопал кнутовищем по валеночным опоркам.

– Так тебе, милка, к Лимпопе надо было валить, язви ее, – сказал он, наконец, на своем языке. – А тебя куда занесло?.. Вон уж аккурат за Лумумбиным огородом и Гвардафуй откроется. Гиблое место, скажу я тебе, иначе как по зимнику там и не ходют. Так что, и не думай даже.

– Не может быть, – испугалась Валентина, шумно стаскивая с головы чемодан. – А вы, папаша, случайно, не выпивши?

– Поднесешь, так выпью, – без всякой надежды ответил пастух, и вдруг шлепнул по морде зажевавшего телогрейку жирафа: – Не балуй, холера!

– А как же карта? – все еще не теряла она надежду.

– Так нешто им верить можно? – хмыкнул старик и, доставая из кармана кисет, убежденно добавил: – Врут ить все карты.

От резкой боли в животе Валентина села на чемодан: «Господи! Вот тебе и страусиные яйца. Как бы ботулизма не было. – И, тоскливо оглядываясь, еще подумала, – а уборные у них здесь бывают?»

Валентина открыла глаза и, выждав пока боль, затихая, не ушла в поясницу, стала быстро одеваться.

– Слышь, дедуль, – войдя в комнату деда, потрясла она его за плечо, – пора мне.

Тот долго таращил на свет глаза, потом, узнав внучку, радостно удивился, – Валька?! Ты, что ли?

– Я, деда, я. Пора мне.

– Эва! – догадался он, но почему-то спросил: – Куда это ты, на ночь глядя?

Валентина охнула и присела на кровать.

– Ты только не волнуйся, – сказала она, – за тобой Роза Яковлевна с Анной Ильиничной присмотрят.

И тогда дед, вдруг сморщившись как залежалое яблоко, жалобно всхлипнул:

– Как же я без тебя-то?!

– Ой, замолчи! – взвизгнула она в ответ и замахала руками, – Замолчи, а то я вообще рожать раздумаю!

– Иди уж, коли решила, – устало обмяк он. – Я ведь думал, до Дня Победы дотерпишь. – И когда Валентина, надев пальто, опять зашла в его комнату, дал ей последние указания: – Особо там не разлеживайся. Случится без очереди, так не зевай, понахальней будь. Если что, врачам благодарность какую посули с фабрики. Тебе не откажут. – Потом, целуя ее, плачущую, в лоб, тихо добавил: – Тут дело такое, Валюшка, могу ить и не дождаться.

Но он дождался.

Дед дождался, когда Валентина принесла из роддома без умолку орущую, с синими от голодной жадности губами вишнеглазую Нинку, и к вечеру, вконец утомленный полученным впечатлением, смиренно почил. Но, прежде чем предстать перед Богом, он еще раз с трудом скосил глаза на поднесенную к нему загорелую сочинским загаром правнучку, скользнул остылым взглядом по ржавым разрозненным кустикам ее волос и, обращаясь явно к Создателю, с паузами произнес:

– Вот ведь... стало быть... как.

Хлопоты по организации похорон взяла на себя фабрика.

Хоронили деда с музыкой. День был субботний, и Демьян Гордеич, радея о достойном старого солдата погребении, еще накануне пообещал каждому пришедшему на похороны музыканту по оплаченному отгулу, и это обстоятельство неожиданно привлекло на кладбище Чуркина, никогда прежде не державшего в руках даже пионерского горна. Очарованный скорбной торжественностью ритуала, Васька истово дул в загодя заткнутую винной пробкой трубу, чем не только вызывал обильные и в общем-то понятные в данной ситуации слезы у коллег по музыкальному цеху, но и вносил тем самым некоторое досадное неблагозвучие в траурную мелодию Шопена.

Из своих также пришли несколько человек сочувствующих и примерно столько же – любопытных. По очереди подходили к убитой горем Валентине, обнимая, заглядывали через ее плечо в коляску, где спала Нинка, и, переглянувшись с теми, кто уже подходил и заглядывал, проникались еще более глубоким сочувствием и, конечно, охватывались еще большим любопытством. Петровна, так и не смогшая простить деду случай с метанием в нее яблок, на кладбище не появилась принципиально.

Призвав фабричный народ свой, Демьян Гордеич взошел на земляную гору у отверзлой могилы и, когда подступили к нему жаждущие слушать его, сказал речь.

Начав с напоминания о том, что покойный, блюдя завоевания Революции, много лет простоял у ворот их родной фабрики, парторг затем яркими мазками нарисовал правдивую картину участия деда в сражениях против Колчака и, вдохновляясь сказанным, жадно обратился к событиям под Прохоровкой...

Слушали его внимательно, с каждым словом парторга все больше проникаясь невосполнимостью утраты, и поглядывая на часы.

После рассказа о ранении в ногу на ступенях Рейхстага, не позволившего Брагину водрузить на нем полковое знамя, Валентина и еще кто-то – кажется, это была проснувшаяся Нинка, заплакали. А уж когда Демьян Гордеич, заканчивая речь, дважды назвал деда русским богатырем, с ним с удовольствием согласились как в первый, так и во второй раз.

А сам богатырь в это время скромно лежал в украшенном кумачовыми рюшами гробу, и пальцы его сухоньких рук по-сиротски выглядывали из рукавов свободного, купленного на вырост, богатырского костюма.

Неряшливо защемив крышкой полу дедова пиджака, гроб забили гвоздями, но, прежде чем вошедший во вкус Чуркин командно взмахнул рукой для исполнения Гимна Советского Союза,

из коляски, будто давая настрой уже набравшему воздуха оркестру – и на это обратили внимание многие, – камертоном подала голос Нинка.

Уже потом, когда все закончилось и бряцающий трубами оркестр расположился под полосатым, как казенный матрас, тентом пивной, один из музыкантов, ловя вилкой увертливую попку огурца, побожился Ваське, что Нинка в тот момент спела чистую ноту «ля» первой октавы. Чуркин не имел ни малейшего представления о нотном стане, но, как человек в музыке уже не случайный, встретил это сообщение с должным недоверием.

Семнадцать лет прошло с тех пор. Долгих семнадцать лет.

Валентина по-прежнему работала на фабрике, где на «Доске почета» все еще висела ее блеклая фотография, а с парадной стены главного корпуса, собрав в кучку честные глаза и прижав ко рту ладошку, аукал корявые стишки плакатный комсомолец: «Ждет рабочая семья твою продукцию, швея-а-а!»

Чуть ниже был в рифму нацарапан матерный вопрос, в том смысле, что «а на фига-а-а?», звучавший теперь весьма злободневно, поскольку шили на фабрике уже не привычные рабочие спецовки с кармашками для карандашей, а все больше пятнистую униформу да куртки с пристроченной для острастки надписью «Охрана», а то и вовсе – «Секьюрити», что в рабочей семье не пользовалось ни спросом, ни уважением.

Удивительно, но Валентина почти не изменилась. И хотя волосы она уже не завивала как раньше, а просто скручивала их по утрам малоаппетитной лепешкой на затылке, лицо ее, несмотря на частично выщипанные брови, так и не утратило того привлекательного, простодушно-наивного выражения, которое человек малознакомый, не подозревающий о ее многолетней работе в профкоме, мог бы даже принять за некоторую недалекость, с чем люди, знавшие Брагину давно, не согласились бы с негодованием.

Как она подняла на ноги Нинку? – Бог ее знает. Сама Валентина не любила вспоминать об этом. Да и то правда: одна она, что ли, такая?

Первое время, встречая во дворе Анну Ильиничну, бабки еще, бывало, спрашивали: «Как там Брагина-то, ничего? Управляется со своей черномазенькой?» На что старуха даже сердилась: «А чего с ней станется? Советская власть, небось, всегда подмогнет. Чай, не война нынче». – «Ну да, ну да, – соглашались с ней. – Поди не в Америке живем. – А насчет войны торопливо крестились: – Господи, сохрани!»

Но потом спрашивать о Валентине перестали и говорили больше о рыночных ценах, бодрили себя анекдотами про Брежнева и особенно охотно рассуждали о разных таинственных явлениях. Все та же Анна Ильинична однажды поведала:

– Всю нынешнюю ночь заснуть боялась. Валькина арапчонка за стеной нудит, нудит... Так все бы ничего, а тут откуда ни возьмись – собака. Да как зачла с ней выть подголоском... будто над покойником. Хрипло так... и взлаивает, взлаивает. Не приведи Господь! И ведь отродясь у Брагиных собаки-то не было.

Бабки качали головами и советовали старухе пить на ночь отвар ромашки пополам с пижмой.

С фабрики тоже не часто приходили, разве что Анька забежит после смены Нинку потискать, да Дуся отрезков байковых принесет на пеленки, а так – нет, не баловали.

Помнится еще, столкнулась однажды Валентина со старой уборщицей Петровной.

Все как-то не случалось им повидаться с тех пор, когда появившаяся на свет Нинка, между делом обелив своей смуглой мордашкой репутацию Васьки Чуркина, поставила перед коллективом фабрики уже столь заковыристый вопрос, что в поисках его решения иные следопыты порой надолго терялись в дебрях безнадежных расследований, подвергая тем самым реальной угрозе выполнение квартального плана. Так, видимо от безысходности, в перекрестье их пытливых взглядов попал даже фабричный дворник Кельдыбаев, по прозвищу Кильманда, который хоть и был подозрительно черен своим татарским лицом, но единственно по причине беспробудного пьянства. На всякий случай решили расспросить его супругу, благо работала она тут же, при столовой.

Жена Кильманды по-русски понимала совсем плохо, но, как только ей вопрос объяснили жестами, так ударилась от смеха об пол, что порвала на коленке чулок. Однако ж окончательно поверили в отсутствие татарского следа лишь после того, как она, пошептав что-то на ухо одной из женщин, плаксиво поджала губы и, когда та недоверчиво отстранилась: «Будет врать-то! Неужто, с тех пор?», размашисто осенила себя крестом: «Самый день, Гагарин космос пошла. Аллахом клянусь!»

Следствие в очередной раз зашло в тупик.

Нужно признаться, что были и другие интересные предположения на эту тему, свидетельствующие о незаурядности и остроте ума дознавателей. Чего, например, стоило напоминание о ходивших по Москве слухах, будто Америка, не захотевшая приехать к нам на Олимпиаду, засылала по своей «злобѣ ѧгентов» – делать бабам уколы в троллейбусах, чтобы снизить рождаемость.

– А? – попросила оценить свою памятливость старая Лукьяниха.

– Точно, – поддержали ее многие, – было такое.

– Ну, а Валентина-то здесь причем? – развела руками рассудительная Кузина.

– Вот я и говорю, – полезла в середину круга Лукьяниха, – а ну, как и Вальку исхитрились ширнуть? Только пузырек не с тем снадобьем взяли.

Все испуганно задумались.

– Да нет, – наконец уверенно сказала Клавдия, – так ширнуть, чтоб Валька забрюхатела, в троллейбусе не исхитришься.

А тут шел как раз по цеху куда-то посланный Петька Сапрыкин. И что вдруг взбрело ему в голову?..

– Кузина! – остановился он. – Ты знаешь, за что борются негры в Африке?

Кузина почесала голову под косынкой и мягко отмахнулась:

– Иди ты, Петенька, в задницу.

– Чтобы разрешили им без штанов ходить, – пояснил Сапрыкин и пошел туда, куда его послали еще до Кузиной.

И вот тогда-то изменилась в лице Дуська. Она вдруг заквохтала настигнутой курицей, потом трепыхнулась было, но тут же обмерла и, когда кто-то, зная о ее «интересном» положении, озаботился: «Ты чего, Дусь?», коротко выдохнула:

– Африка.

– Может, огурца дать? – спросили ее.

– Нет, – ответила Дуська, и, сбиваясь на таинственный шепот, стала торопливо рассказывать о висевшей в квартире Брагиной карте с пестрыми, кое-как нарезанными огородами слаборазвитых африканских стран...

– Может, пригодится? – с надеждой спросила она, закончив рассказ.

Эт-то было уже кое-что!

– А я что говорила? – в наступившей общей растерянности подала голос Анька, досадуя, что не она первой вспомнила про карту.

– Помалкивай, – махнула на нее рукой Кузина. – Ты только и знала, что орать: цыгана, цыгана ищите.

Целый день Дуська проходила в героях. Вечером, стоя в очереди за пивом для Чуркина, она с удовольствием вспоминала: «Ловко же я... Хорошо, Петька со своей Африкой подвернулся. Дурак, дурак, а вот поди ж ты...» Потом она представила себе далекую, жаркую страну, где на одном из разноцветных участков, огороженном старым кровельным железом и ржавыми спинками кроватей, опасливо ходит без штанов отец маленькой Нинки и, расчувствовавшись, купила Ваське еще и бутылку портвейна.

Петровна же, сберегшая, как известно, честь смолоду, и будучи человеком безнадежно партийным, что, казалось бы, должно предполагать атеистическое мышление, тем не менее скорее была готова поверить в непорочное зачатие активистки Брагиной, чем в ее преступную связь с чужеземцем. «Сегодня иностранцу дашь, а завтра родину продашь!» – говаривала она в наставительных беседах с молодыми работницами. И те, испуганно глядя в глаза растрепанной, вечно

нечесаной уборщицы и благоговея от ее поразительного сходства с верной соратницей Вождя революции, торжественно, как один, обещали: «Бог с вами, теть Марусь, да ни за какие коврижки! И вообще, лично нам это в жизни не пригодится».

Стоит ли говорить, что ей ох как хотелось пообщаться с Валентиной.

Петровна увидела ее на другой стороне улицы и, размахивая длинным, как милицейский жезл, огурцом, стала торопливо пробираться сквозь плотный поток автомобилей.

– Стой, Валька, стой! – кричала она, грозя своей «дубинкой» нетерпеливым водителям. – Погоди, чего скажу-то!

Тяжело, вперевалку взобравшись на тротуар, она с ходу оттеснила опешившую Валентину в сторону и голодной уткой сунулась в корытце Нинкиной коляски.

– Е-о-о! – громко вспомнилось ей из алфавита.

Валентина не знала, как реагировать на эту букву, и потому молча рдела в сторонке.

Но вот, даже не показав Нинке загодя сложенную из пальцев «козу», Петровна тяжело распрямилась и смерила счастливую мать взглядом.

– Ты что, дура или как? – начала она издалека.

– Это почему же? – привычно удивилась Валентина.

– А потому, что дура и есть, – быстро нашлась Петровна. – Нынче вон, за каждым углом аборты делают, – показала она «козой» за ближайший угол и, кивнув на коляску, по-товарищески спросила: – На кой ляд тебе эта дружба народов сдалась?

– Пойду я, теть Марусь? – устало попросилась Валентина.

– Иди, чего уж теперь... – разрешила Петровна, чувствуя облегчение – будто окно к Ноябрьскому празднику вымыла.

Два дня спустя, пеленая на обеденном столе Нинку, Валентина вдруг прижалась к ее маленькой ручке губами и, умиленно заплакав, отчетливо произнесла:

– Сама ты, теть Марусь, дура!

С тех пор эта фраза часто звучала из ее уст: «Д-у-ура ты, Петровна, ба-а-льшая дура», – тянула она, глядя с улыбкой на вцепившуюся в грудь беззубыми деснами Нинку. – Ох уж эта глупая Петро-овна». – И закусывала от сладостной боли губу.

Вот так и шло время.

Чужие дети быстро растут. Не успели старухи на лавочке оглянуться, а Нинка уже в десятый класс бегает. «Нинк, – бывало, окликнет ее нетленная Анна Ильинична, – давеча у меня мать веревку бельевую брала. Освободилась она или как?» – «Ой, баб Ань, – остановится та, – совсем забыла. Я вам вечером занесу». – «Ладно, ладно, она мне без надобности, – махнет рукой старуха. – Так вечером не забудь, принеси». Бабки только головами на Нинку качают: «Ишь, как по-нашему выговаривает, даром что лицом не русская».

И чем старше становилась Нинка, тем чаще Валентина, глядя на ловкую, рассудительную и домовитую дочь, недобрым словом поминала давно ушедшую на пенсию Петровну: «На-ка вот, выкуси!»

На родительских собраниях, правда, поругивали Нинку учителя: невнимательная, мол; все куда-то торопится; с мальчишками опять же дружит; но Валентина не прислушивалась к их замечаниям. Да и то сказать: у кого еще на стенке столько грамот за спортивные успехи висит? Ну-ка?.. А уж как она в Доме Культуры на трубе играет...

И еще: все никак не могла привыкнуть Валентина к ее сюрпризам.

– Почему бы, мам, тебе на танцы не сходить? – серьезно предложила однажды Нинка. – А то все дома, да дома...

Та даже глаза вытаращила:

– Сдурела? Какие еще танцы?.. Засмеют ведь.

– Ох, и отсталая же ты у меня, – фыркнула дочь. – Сейчас в клубе «Автодорожник» вечера проводятся для тех, кому за тридцать. Развеялась бы.

– Ну, будет, будет тебе ерунду-то городить, – отмахнулась Валентина.

Она без дела сходила на кухню и, постояв там минут десять у темного окна, опять вернулась в комнату.

– А ты знаешь, сколько мне лет? – спросила она с таким видом, как будто только что вышла из многолетней комы.

– Ну, вот что... – отбросила Нинка учебник, – иди-ка утюг включи, я твой синий костюм отпарю. – И, отодвинув мать в сторону, решительно полезла в комод.

Одна Валентина, конечно, ни на какие танцы не пошла бы. Она позвонила своей подруге Аньке и среди прочего поделилась:

– Вот ведь умора, чего моя Нинка удумала, – хихикала она в трубку. – Иди, говорит, мать, в субботу в «Автодорожник», там будто вечер проводят для тех, кто уже... ну, в возрасте. Ой, я так хохотала... Нет уж, думаю, не пристало мне в сорок-то лет хороводы водить...

Анька некоторое время размышляла или дожевывала что-то, а потом без обиняков согласилась:

– А чего? Обязательно пойдем. Хоть и собиралась я с девками в баню, но, раз такое дело... – Она вдруг хохотнула и, понизив голос, добавила: – Может, какого нетрезвого еще и потискаем на пару. А, Вальк?..

В ночь на субботу, от волнения, что ли, вскочил у Валентины на глазу ячмень. Она уж и так, и сяк его: и чай спитой прикладывала, и яйцо вареное, и плюнуть Нинку упрашивала в глаз, а то вдруг сунула к ячменю кукиш: «Ячмень, ячмень, вот тебе кукиш, что хочешь, то и купишь; купи себе топорок, секи себя поперек». Реакция была неожиданной: краснота аж на нос полезла.

– Да ты его бинтом завяжи, – всерьез посоветовала пришедшая к назначенному часу Анька.

– А вуаль сейчас не носят? – с робкой надеждой спросила Валентина у наблюдавшей за сборами Нинки. Но, увидев выражение лица дочери, ответа ждать не стала.

Благословясь, пошли.

А уже на ступеньках клуба опять заартачилась Валентина, закапризничала: и то ей не так, и это не эдак; туфли ей, видишь ли, Нинкины стали жать и колготки все время на бедрах скручиваются. Ячмень, опять же...

Да не психуй ты, Валька, – успокоила ее подруга, – мне и самой-то не по себе.

Внутри народу еще было не много. «Ах, здравствуй, аист...», – пела из динамиков Кристалинская. Несколько пар, прячась друг за друга, напряженно топтались в центре зала. Танцующие мужчины, близоруко глядя перед собой, мучительно выдумывали вопросы для своих дам, а те заранее перебирали в памяти ответы и, как по команде «равняйсь», косили глазами в сторону. В нужный момент они удивленно взмахивали ресницами: «Нет, что вы, это подруга меня сюда затащила» или: «Спасибо, спасибо, я совсем не пью пива».

У буфета гудела небольшая однополая толпа.

Женщины отдельной группой сидели на сдвинутых к стенам креслах, и все происходящее их ну абсолютно не касалось. Можно было поклясться, что вот только сейчас, после долгой разлуки они случайно встретили здесь своих самых-самых что ни на есть задушевных подруг и, получив, наконец, долгожданную возможность высказать и выслушать все наболевшее за эти годы, то и дело испуганно прижимали к щекам ладони, округляли глаза и красиво закидывали ногу на ногу.

– Етит твою мать! – оценила ситуацию Анька.

И тут же, будто услышав ее, к ней подскочил какой-то аккуратненький шустрый дедок с заложенным за ухо наушником и, расшаркавшись, пригласил на танец. Такое начало несколько приободрило.

Потом с неугомонным старичком танцевала и Валентина. Пряча под кокетливой челкой ячмень, она с готовностью, но выборочно рассказывала тугоухому кавалеру биографию, в то время как тот любезно держал у нее под носом свой слуховой аппарат, и со стороны казалось, что она дает ему интервью.

– Как это вы, любезная, все успеваете, – удивлялся он, – и в профкоме, и на доске почета?.. А дочь?.. Тоже ведь, поди, внимания требует.

– У-у, она у меня самостоятельная, – с гордостью отвечала Валентина.

– А у меня, вот, знаете ли, мать болеет, – стал печалиться старичок, – так приходится работу на дом брать. У вас медицинского образования нет, случайно?

Музыка закончилась, и Валентина пожалела, что не успела попенять легкомысленному любителю танцев за оставленную дома больную мать.

Те, кому за тридцать, прибывали. Из туалета густо потянуло сигаретным дымом и запахом спиртного. Танцевать стали активней.

Красавец военный с густым казацким чубом, насильно зачесанным с крепкого затылка, пригласил Валентину на вальс. Раскланиваясь со знакомыми, он лихо кружил ее по залу, выстреливая короткими, как газетные объявления, фразами: «Дом в Малаховке. Колонка, газ. А у вас?» – «А у нас водопровод», – ловко сострила Валентина. Правда, после этого «чубатый» извинился и куда-то исчез, но расстраиваться ей уже было некогда – объявили белый танец. Анька толкнула в бок: «Видишь, двое в углу? Ты бери того, гнутого», – и, широко раскидывая бедра, пошла первой.

Длинный, сутулый мужчина, на которого указала Анька, как выяснилось, танцевать не умел. «Я на вас так посмотрю, – сказал он, смущенно переминаясь с ноги на ногу, – если можно». – «Пожалуйста, – легко разрешила Валентина. – За показ денег не берут».

Кавалеров разбирали быстро, и зевать было нельзя. К несчастью, ей под руку попался какой-то очень нетрезвый бородатый дядька, и, танцуя с ним, Валентина постоянно была настороже, потому что он с необъяснимым упорством раз за разом порывался ухватить ее губами за мочку уха. Потом она пряталась от него за колонну, и бородач, заливаясь восторженным смехом и кукукая на весь зал, неутомимо ловил ее, пока Анька, от которой уже пахло пивом, не показала ему кулак.

А еще играли в почту. Валентине достался номер семнадцать. Она приколола бумажку с номером на самый кончик груди и, поворачиваясь во все стороны, трепетно ждала.

Но только в самом конце, когда уже несколько раз мигнул свет, и по микрофону объявили, что пиво больше отпускать не будут, она получила долгожданное письмо.

«Номеру семнадцать, – было написано в нем. – Мне очень знакомо Ваше лицо. Где мы могли встречаться? Может быть, Ваша работа тоже связана с космическими исследованиями?» Подписи не было. На обратной стороне вырванного из записной книжки листка она нашла приписку: «Надеюсь, что мы еще увидимся с Вами для более близкого знакомства».

Валентину бросило в жар. Ощущение свалившейся на голову увесистой удачи было настолько реальным, что единственная не потерявшаяся от удара мысль о случайно очарованном ею заезжем космонавте еще почти целую минуту не казалась ей ни фантастической, ни даже излишне дерзкой. И только потом, после недолгих препирательств с возвратившимся рассудком, она с не меньшим, к слову сказать, восторгом пришла к выводу, что автором письма является работающий на космос засекреченный инженер. То, что он засекреченный, подсказывало отсутствие в письме подписи и собственного номера.

«Где он мог меня видеть? – лихорадочно соображала Валентина. – Разве что на рынке или в зубной поликлинике?»

Она стала внимательно вглядываться в лица уже потянувшихся к выходу мужчин, пытаясь по каким-то одной ей известным признакам распознать этого, обратившего на нее внимание необыкновенного человека, чья деятельность – страшно подумать! – составляла государственную тайну и оплачивалась, конечно же, по двойным расценкам. Ей хотелось прямо сейчас, пока их отношения не зашли еще слишком далеко, честно признаться ему, что он обманулся, и что сама она ни с какого боку к космосу не относится, а даже наоборот – шьет на «Ватнике» спецодежду, хотя и следит вместе со взрослой, самостоятельной дочерью за нашими космическими успехами по радио и телевизору.

Зал пустел, но никто хоть мало-мальски похожий на засекреченного инженера ей на глаза не попадался.

Анька ждала ее внизу, держа в руках уже полученные в гардеробе пальто.

– Ты где шастаешь, подруга? – зашептала она, возбужденно тараща глаза. – Тобой тут один мужик интересовался. Я ему все про тебя рассказала. Ага. Перелякин его фамилия.

«Он! Инженер!» – опалила Валентину догадка.

Нет-нет, конечно она не спала в ту ночь.

Закинув за голову руку, Валентина лежала в своей узкой девичьей постельке и сквозь щель в оконных занавесках удивленно смотрела на далекие, потрескивающие на ночном морозе звезды.

«А хорошо бы купить телескоп, – думала она. – Вот бы кто-нибудь удивился!» – «Это что же у вас, – спросил бы кто-нибудь, – телескоп?» – «Да, – сказала бы она подчеркнуто спокойно, – я всегда любила, когда он здесь стоит». – «Надо же! – тогда покачал бы он головой. – А сразу и не подумаешь...».

Валентину так увлекла идея купить телескоп, что она едва не проглядела, как по небу, шурша космическим моторчиком, пролетел железный, похожий на дикобраза спутник.

– Это у него антенны похожи на иголки, – сказала она больше для себя, чем для кого-нибудь. – А с боку там еще надпись – СССР.

– Эту надпись я сам писал, – оторвался, наконец, от телескопа Перелякин и, накрыв его посудным полотенцем, вежливо спросил: – Вы любите ходить в театр?

Валентина ждала этого вопроса.

– Как же можно не любить театр? – снисходительно улыбнулась она. – Последний раз нам в профкоме давали билеты на Петросяна – обхохочешься.

– У меня есть две контрамарки в театр имени Станиславского, между прочим, – сказал Перелякин. – Разрешите вас пригласить?

– Станиславский – это основоположник, – пояснила Валентина, и пошла надевать специально хранимый именно для таких случаев синий костюм с отложным воротничком.

Все представление она просидела сосредоточенно и даже сделала замечание сморкнувшемуся в платок Перелякину:

– Вы же мешаете окружающим наслаждаться искусством, – сказала она шепотом и довольно посмотрела по сторонам.

После спектакля, когда он предложил зайти к нему в высотный дом на чашечку кофе, Валентина наконец-то с облегчением произнесла услышанную недавно по телевизору и взятую на вооружение фразу:

– Разве я давала вам повод так плохо обо мне думать? – обиженно взглянула она на засекреченного инженера, и от себя удачно добавила: – Если я работаю на фабрике, то это ровным счетом ничего не значит!

Зайти, тем не менее, согласилась.

Квартира ей очень понравилась своими высокими потолками и устроенным прямо в прихожей мусоропроводом.

– Это что же у вас, – ткнула она пальцем в висевшую над кухонным столом картину, – «Последний день Помпеи»?.. Я сразу догадалась, что это не подлинник, хотя... и очень похоже.

На столе стояли вазы с фруктами, а в тарелках лежала горячего копчения треска и французский сыр «Рокфор». В золоченом ведерке Валентина не сразу разглядела свое любимое вино «Улыбка».

– Вы меня просто удивляете, – опять сделала она замечание Перелякину. – Ну зачем вам нужно было так тратиться?

– Пустяки, – сказал он, разливая вино. – У нас сегодня на космодроме получку давали.

Они ели треску, пили вино «Улыбка» и в перерывах танцевали под пластинки Кристалинской. У высокого Перелякина были светлые, почти белые волосы и голубые глаза, что Валентине безумно нравилось, но она, тем не менее, старалась не давать никакого повода.

– А может быть, сегодня... – хотел спросить он без всякого повода, но она сразу же пресекла все домогательства:

– Оставьте ваши дерзкие разговоры, – сказала Валентина строго. – Как только мы допьем вино, я сразу же поеду домой. Мне еще две пересадки делать, и из профкома могут позвонить.

Он довез ее до дома на такси, и это может подтвердить старенький Соломон Аронович из первой квартиры, который всегда выгуливает своего кастрированного кота, когда кто-нибудь приезжает на такси.

– Вы поедете со мной завтра на космодром? – спросил ее Перелякин.

– На космодром?! – громко удивилась она, чтобы мог расслышать глуховатый Соломон Аронович.

– Там будет проходить запуск моей сверхлетательной ракеты, – пояснил Перелякин.

– Ну, если вы так настаиваете... – согласилась Валентина, и они сразу, без перерыва поехали на испытания, потому что уже наступило «завтра».

В специально вырытом погребе, где на полках стояло много телевизоров, а с потолка на цепочках свисали всякие таинственные ручки, уже все было готово к старту, но Перелякин, чтобы совсем очаровать Валентину, еще раз строго велел всем приготовиться.

– Слушаюсь! – ответили все, кто был в погребе, и приготовились еще больше.

– Веревки отвя-зать, – сказал тогда Перелякин в микрофон. – Три... четыре!!! – И дернул за самую главную ручку.

Вокруг все задрожало, сверху посыпался песок, по телевизорам побежали кривые полосы, а из ракеты крикнули:

– Посвящаем полет Индире Ганди, царство ей небесное! Будьте здоровы!

– И вам не хворать, – не удержалась Валентина.

Вокруг все захлопали, а они, счастливые, опять сели в такси и поехали на Красную площадь. Там из мавзолея вышел самый толстый генерал и, громко топоча сапогами, подошел к Перелякину.

– Вручаю вам большой космический орден, – сказал он и тут же вручил действительно огромный, размером с кепку орден и Почетную грамоту, подписанную Иосифом Кобзоном.

Потом он и Валентину наградил красивой медалью. На ней по кругу было написано: «Медаль имени Парка Победы. За содействие. Для Брагиной».

Они немного послушали как солдаты кричат «ура», и тогда Перелякин сказал:

– Предлагаю вам руку и сердце. А что касается Нинки, то она уже давно мне как родная, и вообще, если кто в темных очках, то даже и не удивится.

– Я подумаю, – опустила глаза Валентина, чтобы не показаться легкомысленной. – Давайте пока совершим круг почета.

Они пошли по Красной площади, и в этот момент из ГУМа выбежала Петровна.

– Валька! – закричала она из-за спин сдерживающих толпу милиционеров, размахивая огромным, как клык мамонта, огурцом. – Подожди, Валька, чего скажу-то!

– Некогда нам, – скосила на нее глаз Валентина. – У нас в Макдоналдсе банкет заказан.

– Прости меня, Валька, – не унималась та. – Прости меня, дуру старую, что я тебе про аборт намекала. Да здравствует дружба народов!

– Ты чего, мать, с ума сошла? – спросила над ухом Нинка. – Какие-то лозунги выкрикиваешь...

– Отвали, отвали, не мешай, – нетерпеливо отмахнулась Валентина, – некогда мне. – Но, как ни старалась, заснуть уже не смогла.

Нинка

В пику снисходительной иронии соседей, к семнадцати Нинкиным годам окончательно и бесповоротно выяснилось, что выросла она на удивление хорошенькой. При виде ее точеной фигурки в безнадежно отставшей от роста юбочке, глаза сверстников приобретали первобытный охотничий блеск, а губы соседских мужчин, еще не утративших интерес к своей внешности, при встрече вытягивались в клейкую улыбку: «Здра-а-вствуй, здра-а-вствуй...» – тянули они ей вслед

и, застыдившись вдруг возникшего желания взрыть каблуком плотную дворовую землю, пугливо бросали взгляды на окна своих квартир. Но Нинка, казалось, совершенно не замечала растущего к ней день ото дня внимания и равнодушно пробегала мимо одичалых взглядов и масленых улыбок, торопясь, как всегда, на какие-нибудь соревнования по волейболу или на репетицию духового оркестра.

Не в пример ее увлечению спортом, причина которого, можно сказать, лежала на поверхности, Нинкина страсть к музыке, проявившаяся еще на похоронах деда Брагина, вызывала легкое недоумение даже у матери, и когда к Валентине подходили с вопросом, в кого, мол, у ее дочери такие способности, и не была ли сама Валентина близко знакома с известным чернокожим певцом Полем Робсоном, она неопределенно махала рукой куда-то за Мытищи: «А кто их там... этих чертей разберет».

А способности у Нинки действительно были. Начиная с восьмого класса, она дважды в неделю с удовольствием ходила в фабричный Дом культуры, где легко и самозабвенно играла на трубе всевозможные вальсы и фокстроты или чисто выводила дивную мелодию «Неаполитанского танца», никак не связывая ее с «Лебединым озером», и находясь в совершенной уверенности, что написана она на известные всем слова: «Дорогая моя бап-ка, ты сыграй, сыграй на скрип-ке. Я за это тебе, бап-ка, дам кусочек дохлой рып-ки...»

На стене своей комнаты, под краснощеким, мордастым ликом убранного под стекло самодельной рамы Ворошилова, оставленного в семье в память деда, среди похвальных грамот за спортивные достижения она повесила вырезанный из журнала портрет Луи Армстронга, который, выкатив от напряжения луковицы белков, играл на трубе ту же самую, как ей казалось, мелодию про бабку.

Конечно, Нинка не раз пыталась расспрашивать мать о своем отце, но та или ловко уходила от вопроса, находя в этот момент для дочери какое-нибудь срочное дело, или, отвернув лицо, глубоко вздыхала, как бы говоря: «Бог с ним, доченька. Чего уж теперь...»

И лишь однажды, найдя в коробке для пуговиц значок с изображением победно вскинувшего руки атлета, она протянула его Нинке:

– Глянь-ка... отцовский. Он ведь, Нин, бегом на большие расстояния занимался.

– От алиментов, что ли? – съязвила та.

– Да будет тебе, – отбирая значок, обиделась мать и, помолчав, добавила фразу, значение которой для Нинки стало понятным только несколько позже:

– Плохо, когда в доме мужика нет, – сказала она, откусывая от шитья нитку.

– Как его хоть зовут-то? – спросила Нинка.

– Кого? – почему-то вздрогнула мать.

– Бегуна твоего. Кого же еще?

Та вдруг потупилась и, вставая, тихо выдохнула:

– Мбахѝ.

– Как?! – сморщила лицо Нинка.

– Мбахѝ, – повторила мать уже в дверях. – Имя такое в африканской нации.

Оставшись одна, Нинка с интересом примерила на себя далекое африканское отчество, но, получив что-то крайне непотребное, мысленно поблагодарила сообразительную мать, использовавшую при оформлении Нинкиных документов свое собственное имя, что по большому счету хоть и должно было теперь называться «матьчеством», но звучало куда более благозвучно.

А разговор о том, что плохо-де не иметь в доме мужика, неожиданно получил продолжение недели через две.

В тот день Валентина опять задержалась на работе не иначе как по своим профсоюзным делам, и когда уже затемно явилась домой, Нинка, выглянув из комнаты на звук входной двери, лишь молча дернула своим острым плечиком и направилась на кухню, чтобы, недовольно гремя сковородкой, разогреть для матери уже давно остывший ужин.

Валентина не без труда стянула с располневших ног резиновые сапожки и, на ощупь поелозив носовым платком по густо-бардовым губам, торопливо сунулась в дверь вслед за дочерью.

– Нинуль... – начала она с порога, но та бухнула на плиту налитый до краев чайник, отчего пламя конфорки пискнуло и метнулось в сторону, и с каменным лицом проследовала к себе в комнату, где, отгородившись от остального мира учебником физики, взялась, без всякой, впрочем, надежды на успех, постигать закон электромагнитной индукции.

Наскоро поев и вымыв посуду, Валентина осторожно постучалась к ней в дверь.

– Нин, ну будет тебе дуться-то. А?.. – сказала она входя. – Я вон заколку купила, что ты в прошлый раз спрашивала. Глянь-ка...

Но, видимо, что-то не заладилось у Нинки в тот момент с этой самой индукцией – то ли в учебнике опечатка, то ли еще что, а только когда зыркнула она в сторону матери своими вишневыми глазищами, осеклась Валентина прямо на полуслове от пыхнувшей в ее сторону молнии, а в голове вроде как электромагнитный аппарат застучал. «Разве ты не видишь, что я учу закон Фарадея тире Максвелла?!» – с трудом приняла она от дочери телеграмму. А дальше было и того обиднее: «Некогда мне разговаривать с некоторыми, которые гуляют неизвестно где до самой ночи».

Что было на это сказать Валентине?.. Она села за стол напротив дочери и, положив подбородок на скрещенные на столе ладони, тяжело, как запертая на ночь лошадь, вздохнула.

Нинка перевернула страницу; шевеля губами, снизу вверх дважды с глубоким интересом прочитала все формулы и только тогда, настороженная упавшей тишиной, взглянула на мать; взглянула, и задохнулась испугом:

– Ты чего это, мам?!

Выпятив нижнюю губу, Валентина лежала щекой на руках, и тяжелые бусинки слез, цепляясь за покрасневший нос, катились по ее лицу.

– За-амуж хочется, – сказала она тонким сдавленным голоском.

– Куда?.. – не сразу поняла Нинка. – Чего тебе хочется? – И даже приподнялась со стула, готовая, если нужно, тотчас помчаться за тем, чего ей вдруг так отчаянно захотелось.

Мать сразу испуганно вспрянула, сделала брови невинным домиком и, мазнув по лицу скомканным фартуком, удивилась, как будто со сна:

– Ты про что это, Нинуль?

Но Нинка уже все поняла.

– Мамочка! – бросилась она ей на шею. – Да кто же тебе замуж идти не велит?! – Она стала стирать с материнского лица катушки дешевой помады и, чередуя всхлипывания с невольным смехом, все пыталась заглянуть ей в лицо: – Разве ж я против?.. Вот ведь глупая... Может... может, ты мне еще и сестренку родишь. А что? – дело-то не хитрое.

Отбиваясь от ее взгляда, Валентина прятала лицо в ладонях:

– Бог с тобой, доченька, разве можно с матерью про такое говорить?..

Чуть позже, когда, раскрасневшиеся как после бани, они дружно сели на кухне пить чай, Нинка между делом поинтересовалась:

– А на примете-то у тебя есть кто-нибудь?

– Ага, – проказливо сморщилась мать. – Сговорились мы уже. Перелякин его фамилия.

– Ну да?! – крайне изумилась Нинка, и было непонятно, взволновала ли ее стремительность развивающихся событий, или фамилия материного избранника.

– Он тебе понравится, Нин. Такой затейник... – возвела Валентина счастливые глаза к кухонному потолку, – что и в театр ходить не надо.

– Ну, и когда... – робко начала дочь, но мать уже видно все для себя решила.

– А чего тянуть? Завтра же и явится, – сказала она твердо, но, тут же испугавшись своей решительности, просительно добавила: – Ведь уведут же, Нин.

Перелякин перебрался в их квартиру на следующий день. Его переезд не вызвал обычную в таких случаях суматоху, потому что все, что он нажил за свои сорок с небольшим лет, не считая обшарпанной гармошки, благополучно вмещалось в средних размеров посылочный ящик, самолично и торжественно внесенный им в комнату матери.

– Ой! – счастливо всплеснула руками Валентина. – Куда же это все девать-то?

Нинка, получившая накануне подробное описание жениха от влюбленной Валентины, и теперь наблюдавшая за его появлением в дверную щелку, была поначалу разочарована видом будущего члена их семьи. Со слов матери Перелякин должен был являть собой «мужчину росту хоть и невысокого, но зато уж страсть какого видного и образованного», в действительности же он оказался мелким, невзрачным мужичком, которых во всяком дворе пренебрежительно называют «метр с кепкой», и в чьем присутствии вопрос о том, кому в этот раз бежать в магазин, как правило, не возникает. Что же касается его столь восхваляемой матерью «видности и образованности», то эти качества Перелякина напрочь исключались старомодной стрижкой «под бокс» и размашисто торчащими из-под нее ушами. Нинка вспомнила жалобное материно «уведут же», и ей почему-то подумалось, что если кто-то и будет уводить этого шибздика, то не иначе как взяв его за оттопыренное ухо.

Сбросив для удобства рубашку и оставшись в синей, выцветшей майке, подмышечные вырезы которой уходили глубоко в брюки, Перелякин зашел к Нинке в комнату – знакомиться.

Оглядевшись, он ненадолго посерьезнел под взглядом настенного Ворошилова, поцокал языком на почетные грамоты и задержал свое внимание на портрете чернокожего трубача.

– Отец, что ли, твой? – спросил он, понимающе подмигнув.

– Армстронг! – фыркнула Нинка.

– Ой, ой, ой, какие мы умные, – сделал губы полумесяцем Перелякин и, доставая из брючного кармана бутылку, крикнул на кухню матери: – Ну, Валь, хрен ли мы ждем?

«Влипли!» – решила тогда Нинка.

Поначалу, имея свою отдельную комнату, Нинка старалась, насколько это было возможно, держаться независимо, и не вмешивалась в жизнь новоиспеченных супругов, но, постепенно, в силу своего деловитого характера, сама того не замечая, опять заняла в доме привычное для себя место лидера, чему без малейшего удивления и даже с готовностью подчинился и новый член семьи.

– Нинок, – советовался Перелякин с ней уже через месяц, – мне тут один барыга раковину в ванную за полцены предлагает. Как думаешь, брать?

– Новая? – спрашивала Нинка.

– Целина, – разводил он чахлые плечи. – Прямо со стройки.

– Не, не надо, – качала она головой. – Потом, если что, – по милициям затаскают.

– Грамотно мыслишь, – восхищался он без всякого, впрочем, заискивания.

Случалось, Нинка принимала участие и в их кухонных посиделках, когда Перелякин, размахивая синими от наколок запястьями, рассказывал о своем славном прошлом: «В Красноярске это было... ага, на пересылке...» На одной ступне у него для памяти было написано «правая нога», а на другой, чтобы все-таки не возникало путаницы – «левая нога».

Что первое время обескураживало в нем, а иногда даже ставило Нинку в тупик, так это насыщенная неожиданными образами и сравнениями его витиеватая речь. Однажды, занятый приготовлением борща, Перелякин зашел к ней в комнату и, дав отхлебнуть с дымящейся ложки, озабоченно поинтересовался:

– Как на твой вкус, Нинок? Может, щебенки добавить?

Поперхнувшись, Нинка вскинула глаза к потолку и только потом осторожно скосила их на Перелякина.

– Щебенки? – переспросила она, стараясь разделить его озабоченность. – Думаешь, надо?

– А хрен его маму знает, – честно признался он.

И тогда с хитрой сговорчивостью опытного санитара Нинка согласно махнула рукой:

– Добавь, если хочешь. Где наша не пропадала!

Хорошо, что из кухни подала голос мать:

– Да солила я уже, солила, – крикнула Валентина недовольно. – Совсем нюх потерял?

Выпивать Перелякин, конечно выпивал, но, что называется в меру. В получку? – да, обязательно, тут уж дело святое, а так... – случалось, конечно, но не то чтобы очень уж часто. Да и вы-

пив, даже крепко, он, не в пример многим, не шалел, не становился угрюмым или обидчивым, а неизменно впадал в игриво-благодушное настроение и с глупой несмываемой улыбкой бродил по квартире за хлопочущей по хозяйству Валентиной, всякий раз с готовностью соглашаясь с каждым ее ворчливым высказыванием в свой адрес, и даже помогал ей подыскивать для себя новые уничижительные слова, что заставляло ее подбирать губы от щекочущего желания прыснуть смехом.

Бывало, он брал в руки гармошку и, мучая хриплые меха, подолгу, до капелек пота на носу играл что-то похожее на «Полет шмеля». А то вдруг с отрешенной улыбкой запел:

А сукеле, а клейне
Мит брэйтелах гемейне,
Хоб их мир мит цорес гемахт...

– Вот ведь ушастый, – восхищенно сказала тогда Валентина, – он еще и по-немецки знает! – И по ее словам выходило, что знание Перелякиным французского и английского уже давно не вызывало у нее никаких сомнений.

– Да нет, – засмущался он, откладывая гармошку, – это меня еврей один ученый по-ихнему натаскал.

– Ученый? – заинтересовалась Нинка. – Это в какой же области?

– В Архангельской, – с готовностью пояснил Перелякин. – Мы с ним туда одним этапом пришли...

Как-то матери не было дома, и Нинка от нечего делать наблюдала, как отчим врезает новый дверной замок. Тогда-то Перелякин сам и завел разговор о своем знакомстве с Валентиной.

– Ну вот, зашел я перед ночной сменой в клуб разливного пива попить, – рассказывал он, ловко орудуя стамеской, – а там – мероприятие. Ну, стало быть, без квитка не пускают. Тут гляжу, наверху у выхода мать твоя с подружкой стоит... Ага... Все вроде при ней: и за пазухой, и тут, – показал он свободной рукой, – дай Бог каждому... Короче – центровая. Я сразу глаз на нее и положил. Честно тебе говорю... – Перелякин пошарил около себя ладонью: – Где-то здесь крепежный винт лежал, не видала?

– Этот? – показала Нинка.

– Во-во. А то, думаю, куда я его заныкал?

– Ну, так чего про мать-то? – напомнила она.

– Про мать?.. – переспросил Перелякин, заворачивая винт. – А что про мать?.. Я, Нинок, на смену тогда торопился, поэтому качать права мне как-то не с руки было. Хорошо, подружка эта, Анькой вроде зовут, за обначкой спустилась. Ну, я ее к прилавку и прижал. Все шары про Валентину раскатал: и что брошенка она, и что с квартирой, и про тебя... – Он протянул назад руку: – Дай-ка...

– Чего? – не поняла она.

– Ключи, говорю, дай, – пояснил Перелякин и, получив ключи, стал рассказывать дальше: – А в пятницу, аккурат, и прищучил ее у проходной. Валька-то вся на понтах оказалась... У-у, что ты... Вы, говорит, случайно не космический инженер будете? Мне даже смешно стало. Ну, объяснил я, что на асфальтоукладчике работаю – маленько оклемалась. А дальше ты уж сама знаешь – влюбилась в меня, как Буратино.

– Значит, ты, Перелякин, на ней из-за квартиры женился? – настороженно спросила Нинка.

– Не, Нинок, ты меня за пассажира не держи, – тут же серьезно ответил он, пробуя, как работает замок. – Я теперь за вас с матерью голову на рукомойник положу. Смекаешь? – И пошел за веником, чтобы убрать стружку...

Ко дню окончания школы Перелякин преподнес Нинке подарки. Духи «Манон» были им куплены, конечно, по материной подсказке, а вот подарить ей теплые панталоны могло придти в голову только ему. Это вызвало у Нинки такую веселую истерику, что она долго не могла выговорить ни слова.

– Мам, уведи его, – наконец справилась она с собой, вытирая выступившие слезы, – уведи, а то я за себя не ручаюсь.

– Да ты чего, Нинок, – растерянно теребил в руках панталоны Перелякин, – это ж не на сейчас, это ж когда дубняк, на зиму. Потом таких и не купишь... Ну?.. Ты погляди, – с начесом.

Валентина стояла позади Перелякина, подавая дочери какие-то знаки, и на лице ее было столько мольбы, что Нинка, закусив губу, обнову взяла.

– А может, и правда, зимой пригодятся, – все еще вздрагивая от бившего ее внутри смеха, сказала она, и даже чмокнула отчима в щеку: – Спасибо.

– То-то, – окончательно смешался он и, с робкой надеждой взглянув на мать, спросил: – Надо бы это... как положено. Сходить, что ли?

– Да есть у меня, есть, – отворачиваясь, пискнула мать.

На вступительных экзаменах в Текстильный институт Нинка провалилась с треском. Валентина приняла это сообщение на удивление равнодушно, зато на Перелякина было жалко смотреть.

– Как же ты грамоты с собой не взяла? – бушевал отчим на тесной кухне. – Дурканула? Да с такими бумагами... – Он в отчаянье махал рукой, пытался отхлебывать горячий чай, обжигался и грозил кому-то в окно: – Я им устрою козью морду!

Материну мысль о продолжении фабричной династии Перелякин пресек на корню. Он постучал ложкой по сахарнице, и, поднявшись как из-за стола президиума, провозгласил:

– Слушай все сюда! Решение, значит, будет такое: пусть готовится к экзаменам на следующий год. Книжки, какие надо, я сам куплю. И чтоб ни спорт, ни музыку не бросать! – Потом, взглянув на задумавшуюся мать, застеснялся, и робко спросил ее на ухо: – Так что ли, Валь?

– Ты главный добытчик, тебе и решать, – как-то неуверенно ответила она, собирая со стола посуду. Было что-то странное в таком поведении матери, но Нинка тогда не обратила на это внимания.

А в канун ноябрьских праздников случилось событие, заставившее ее надолго забыть и об институте, и о занятиях спортом, и о репетициях в Доме культуры.

В один из тех холодных дней, прибежавший раньше времени с работы Перелякин огорошил ее сообщением:

– Вальку-то, мать твою... в больницу свезли! – выпалил он, сделав после «мать твою» эмоциональную паузу.

– Какую больницу? – вытаращила глаза Нинка.

– В родильную... вроде, – вдруг засомневался он. – В какую же еще?

– Да ты что, Перелякин? – ахнула она, заглядывая в глаза отчиму, так и не получившему в их семье имени, – Что ж я, слепая, что ли?

– То-то, слепая... – завлажнел вдруг глазами тот, – Я и сам думал, галоши льет она, ан глядь: семь месяцев уже.

– Ну, вы даете! – только и смогла выговорить Нинка.

– Вон она, любовь-то, – смущенно вздохнул будущий отец. – Выпить-то у нас есть чего?

Родившийся семимесячным Славик произвел на Нинку совершенно удручающее впечатление. Маленькое худое тельце с тонкими ножками при непомерно больших ступнях и крохотные узловатые пальчики рук, больше похожие на птичьи лапки, вызывали у нее поначалу состояние брезгливости, и только спустя какое-то время, все чаще и чаще склоняясь над этим молчаливым созданием с большими грустными глазами, она с удивление стала понимать, что готова ради него пойти на любые жертвы.

Молока у матери не было, и Нинка каждое утро бегала в пункт детского питания, где, стоя в очереди, всегда находила в лице мам и бабушек заинтересованных собеседников, охотно вступавших в обсуждение тех или иных детских проблем.

А проблем у Славика было много. О серьезной болезни ребенка врачи заговорили сразу же после его рождения, и к тому времени, когда ему исполнился восемь месяцев, от них все-таки прозвучало пугающее слово «операция».

Перелякин посерьезнел, почти перестал пить, а однажды, застав задремавшую у детской кроватки Нинку, неожиданно ткнулся губами в ее кудрявый затылок, что совершенно было на него не похоже.

– Ты чего? – встрепенулась та. – Иди там... котлеты погрей. Мать в аптеку ушла.

Но Перелякин не отошел, а, засопев вдруг носом, плаксиво спросил: – Что же мы теперь делать-то будем, Нин?

– Ты про что это? – насторожилась она.

– Где ж мы Славику такие деньжищи на операцию возьмем? Ведь его в Германию везти надо.

И когда Нинка, ойкнув, в испуге прижала к груди руки, он быстро и бессвязно забормотал:

– Врачей вон сколько у нас... Или я подоходный налог не плачу?.. Где ж мне другую зарплату взять?.. Мать твоя с шестнадцати лет на фабрике упирается... Что ж мне – опять в фармазоны?.. Я ведь только три года как откинулся. Э-эх, – уже не сдерживая слез, махнул Перелякин рукой, – помрет наш Славка-то, помрет!

– Замолчи! – истерично закричала Нинка, – Замолчи, Перелякин, – убью!

От крика проснулся Славик, но не заплакал, а потянулся глазами к Нинке, и она прижала его к себе, целуя в большую, покрытую лишь белесым пушком головку с синими выпуклыми венами на висках.

Сходив на прием к директору фабрики со смутной надеждой на помощь и, конечно, не получив ее, Валентина, несмотря на свое профсоюзное прошлое, первой разуверилась в справедливом устройстве мира, и после смены теперь часами сидела на кухне в забытьи, полностью отдаваясь свалившемуся на нее горю. «Валь, – жался к ней потерявший голову Перелякин, – чегой-то ты снова в распятие впала?»

Не сдавалась только Нинка. На том же пункте детского питания или в поликлинике она раздобывала нужные адреса, телефоны больниц; узнавала фамилии врачей и названия трудно выговариваемых новейших лекарств, и все ездила, ездила...

Посадив молчаливого Славика в рюкзачок у себя на груди, она металась по пахучим медицинским кабинетам, стучалась в двери старух-ворожей или часами высиживала в приемных всевозможных чиновников, чтобы в очередной раз услышать: «А мы-то что можем сделать?.. Ну, не проводят у нас еще таких операций. Попробуйте-ка обратиться...»

И она опять ездила, обращалась, умоляла, плакала, и лишь однажды, когда одна высокопоставленная дама от медицины, глядя ей в глаза, с удовольствием выговорила: «Ну, и что вы хотите? У ребенка плохая наследственность. Не надо было, милочка, рожать от кого попало», Нинка, вдруг побледнев, с какой-то решительностью протянула чиновнице руку, и, когда та недоуменно пожала ее, спокойно произнесла: «Тебя, сучка, забыли спросить!»

Как-то раз, в заглохшем садике очередной лечебницы, пока Нинка, сидя на скамейке, привычно меняла Славику пеленки, мать разговорилась с хорошо одетой моложавой женщиной. Сочувственно кивая, та задавала вопросы, вздыхала; в ответ на слезы матери прикладывала к глазам платок, и, расставаясь, записала их телефон.

– Попробую вам помочь, – сказала она, кивнув на прощанье и Нинке. – Надо бороться за мальчика.

Дня через два она позвонила и в тот же вечер приехала в гости. Анна Леопольдовна (так звали женщину) привезла с собой коробку пирожных, и мать с облегчением стала угощать ее чаем. Предупрежденный Нинкой Перелякин рта не открывал и сидел в новой рубашке с каменным лицом, пряча под столом руки. Заговорили о Славике и мать, заплакав, назвала отпущенный ему врачами срок – два года. «Ну, ну, успокойтесь, – погладила ее по плечу Анна Леопольдовна, – мы что-нибудь придумаем».

Перед уходом, зайдя в Нинкину комнату и с интересом разглядывая ее спортивные награды, гостья сказала: – «Ну что ж, на следующей неделе милости прошу вас с мамой ко мне. Мы с мужем заедем за вами на машине».

Галантный Перелякин захлопнул за ней дверь и, снимая душившую его рубашку, уверенно сказал: – Понты все это. Порожняк она гонит!

– Чего? – растерялась Нинка.

– Восьмерки кружит Леопольдовна ваша, – пояснил он. – С чего бы ей вдруг помогать нам?

– Дурак! – взвилась обнадеженная мать. – Что ж ты думаешь, на земле и хороших людей уже нет?!

– Будет, будет тебе, не бухти, – примирительно забормотал тот. – Пирожное-то можно попробовать?

В назначенный день Перелякин с обеда отпросился с работы, чтобы посидеть с сыном. Нинка долго растолковывала ему, во сколько и какие лекарства он должен дать Славику, но потом, все-таки не надеясь на его память, написала подробную записку, начинавшуюся словами: «Богом прошу тебя, Перелякин, не забудь...», и даже подчеркнула красным фломастером самые важные места.

В машине Анна Леопольдовна познакомила их со своим мужем. «Михаил Борисыч», – кивнул им в зеркало седоватый, пахнущий хорошим одеколоном мужчина. На его руке, уверенно управлявшей дорогой иномаркой, Нинка заметила большие золотые часы с усыпанным камнями браслетом. За всю дорогу он больше не проронил ни слова, и только иногда Нинка ловила на себе в зеркальце его любопытные, изучающие взгляды.

Квартира, куда они поднялись, миновав привставшего при их появлении охранника, поразила своей роскошью. Тяжелые, свисающие с высоких потолков люстры, цветная мозаика паркета, инкрустированная мебель и развешанные по стенам картины напомнили Нинке о давней школьной экскурсии в один из подмосковных музеев. Потрясенная всем этим великолепием мать испуганно жалась к дочери, упорно не замечая занимавшую полстены картину с обнаженной грудастой теткой, и повторяя одну и ту же дурацкую фразу: «Уютно, очень уютно у вас».

В большой овальной гостиной с мраморным камином был накрыт стол. Какой-то крепкий парень в строгом черном костюме выставлял на белоснежную скатерть диковинной формы бутылки. Он поклонился вошедшим, и мать, сложив лодочкой ладошку, направилась уже было к нему, когда Михаил Борисович, позвал из прихожей: «Володя, съезди, заправь машину». Тот опять поклонился и вышел.

– Сын? – заранее восхищаясь, спросила Анну Леопольдовну мать.

– Кто? Володя? – чуть заметно усмехнулась хозяйка. – Нет, это наш шофер, ну и... помощник, что ли, Михал Борисыча. Боря!.. Сынок! – тут же крикнула она куда-то в глубину огромной квартиры. – У нас гости!

Послышалось вкрадчивое шлепанье тапочек, и в гостиную сперва неуверенно заглянул, а потом боком вошел удивительно знакомый парень с чуть раскосыми, как тыквенные семечки, глазами. На вид он был едва ли старше Нинки. «Мы где-то виделись» – легко подумала она, и тут же с невольным испугом угадала на его полном, сонливом лице ту самую несмываемую печать болезни, что делает отмеченных ею столь похожими друг на друга.

Он вытянул вперед шею и с некоторым усилием произнес, растягивая гласные, малопонятную фразу.

– Как это ты не знал, Борис? – нарочито сердясь, сказала Анна Леопольдовна и быстро смахнула платком с его подбородка капельку слюны. – Я же предупреждала тебя, что сегодня к нам приедет Ниночка с мамой.

– Вы уж его не ругайте, – с растерянной улыбкой зачем-то вмешалась Валентина, – хлопчик-то, по всему, хороший.

– Ну, поздоровайся же с гостями, – напомнила ему Анна Леопольдовна, и он с готовностью сунул им по очереди свою безвольную руку, дважды заученно произнеся в нос: «Очень приятно».

В этот момент Нинка опять случайно поймала на себе испытывающий взгляд Михаила Борисовича.

За столом Анна Леопольдовна сидела рядом с сыном, подкладывая ему на тарелку еду и поминутно напоминая о салфетке. Валентина, напуганная обилием разложенных перед ней ножей и вилок, почти ничего не ела, оправдываясь тем, что она, дескать, успела пообедать дома, и, чтобы скрыть неловкость, без умолку рассказывала о тонкостях швейного производства, иногда обращаясь непосредственно к сыну Анны Леопольдовны, дабы – упаси Бог – не выказать своим невниманием какого-то особого к нему отношения.

После обеда Михаил Борисович и Боря показывали им свою квартиру. В огромной библиотеке Нинка вежливо потыкала пальчиком в тисненые корешки книг и неожиданно для себя спросила:

– А Библия у вас есть?

– Ой, – удивилась мать, – ты разве верующая?

Библия была тут же найдена и, завернутая в золотистую, оберточную бумагу, преподнесена в подарок смущенной Нинке.

Потом мать пошла с хозяйкой на кухню, а Нинка сидела в комнате, которую Михаил Борисович называл «детской», и Боря демонстрировал ей свой компьютер, осторожно нажимая одним пальцем на клавиши и бурно радуясь, когда на экране что-то происходило.

Вскоре он уже утратил всякую робость, и, чтобы привлечь к себе внимание, мог, например, погладить Нинку по волосам или, заинтересованно засопев, качнуть в ее ухе сережку, на что сидевший тут же Михаил Борисович всякий раз реагировал какой-нибудь шуткой и улыбчиво заглядывал Нинке в глаза, как бы приглашая посмеяться вместе с ним над такой бесцеремонностью. Но, стоило ему на секунду выйти, как произошло то, чего она никак не ожидала: вставший на колени Боря вдруг крепко обхватил Нинкину ногу и прижался к ней щекой у самого обреза ее короткой юбки. Она в ужасе вскинула руки, и все пыталась ползти спиной вверх по креслу, пока вбежавший в комнату Михаил Борисович цепко не схватил сына за локоть и не оттащил его в сторону.

– Оп-паа, – коротко прокомментировал он происшедшее, с трудом переводя дыхание.

– Ага, – еще короче согласилась с ним испуганная Нинка и осторожно посмотрела на Борю. Тот сидел на полу раскрасневшийся, с виноватым, как ей показалось, видом.

– Ну что, посмотрим, что там наши женщины делают? – предложил тогда Михаил Борисович, как ни в чем не бывало. Он открыл дверь и, пропуская вперед Нинку, незаметно погрозил Боре кулаком: – Пойдем, сынок, пойдем.

В гостиной мать рассматривала семейные фотографии. Она с подчеркнутым интересом листала альбом, подробно расспрашивая о каждом новом лице, и больно толкала при этом локтем подсевшую к ней дочь.

– Ты глянь, глянь, – в очередной раз радостно воскликнула она, – это Борина тетя со стороны Михал Борисыча. – И, узнав, что дореволюционного вида тетя в вязаном капоре скончалась еще до войны, засокрушалась так горестно, что Анна Леопольдовна надела очки и тоже с любопытством заглянула в альбом.

Среди фотографий живых и умерших теть, двоюродных дедушек–академиков, каких-то, похожих на мышей, выпускниц Смольного института, стриженого пуделя, бьющегося в истерике, и – надо же – Михаила Борисовича, пожимающего руку президенту, Нинка неожиданно наткнулась на снимок огромной обезьяны. Угольно-черная, она сидела на стволе поваленного дерева и, блестя потертым животом, жадно, по-шахтерски курила обжигающий заскорузлые пальцы чинарик. Нинка недоуменно взглянула на мать, а наблюдавшая за ними Анна Леопольдовна довольно улыбнулась:

– Да, да, – сказала она, кивая головой, – это я. А вы что подумали, Ниночка?

Нинка смутилась, но и вновь внимательно посмотрев на обезьяну, явного сходства опять не нашла.

– Меня никто на этой фотографии не узнает, – вздохнула хозяйка. – Ну, еще бы... – Она повернулась к мужу: – Сколько уже лет, как мы приехали из Африки?

– Откуда? – дернулась Валентина.

– Из Йоханнесбурга, – пояснила Анна Леопольдовна. – Лет двадцать уже прошло?

– Восемнадцать, – поправил Михаил Борисович. – Боре как раз год исполнился.

– Ну вот и подсчитайте, – с кокетливой грустью предложила она что-то подсчитать.

И только теперь Нинка разглядела на снимке осторожно выглядывающую из кустов Анну Леопольдовну.

– Ну надо же, – сказала она, имея в виду все-таки курящую обезьяну.

В конце альбома лежало несколько фотографий большого, еще недостроенного дома с белоснежными колоннами у входа.

– Дача, – пояснил Михаил Борисович. – На Кипре строим.

– На Кипре? – удивилась Нинка. – А разве можно?

– А почему же нельзя? – снисходительно улыбнулся он. – Сейчас все можно.

Когда каминные часы пробили семь, стали собираться.

– Нет, нет, – отвечала мать на уговоры хозяев остаться пить чай, – нам еще две пересадки делать.

– Помилуйте, – всплеснула руками Анна Леопольдовна, – какие пересадки? Володя мигом доставит вас домой.

И действительно, молчаливый Володя довез их до самого дома и даже, выскочив из машины первым, услужливо распахнул перед матерью дверцу.

– Может, денег ему надо было дать? – спросила она, когда машина отъехала.

– Ох, и дремучая же ты, мам, – покачала головой Нинка.

Перелякин спал на диване, положив огромную ручищу на неумело спеленатого Славика, и не проснулся даже на включенный свет.

– Ирод, – бросилась к нему Валентина, – ребенка задавишь!

– А?.. Что? – испуганно вскочил он. – Приехали?.. А я тут... Славка это... ну... Я там, в ванной положил.

– Ладно, ладно, я потом застираю, – сказала Нинка, беря на руки забеспокоившегося Славика. Она с нежностью прижала его к груди, жадно целуя в теплый, пушистый затылок.

– Ну, что, – напролом спросил Перелякин, когда сели ужинать, – денег для Славки дали?

– Щас, на тарелке тебе принесут, – рассердилась Нинка. Рассердилась потому, что сама в течение всего дня ждала какого-то чуда. Именно чуда, а не денег. Ей казалось, что всемогущему Михаилу Борисовичу, живущему в этой огромной, похожей на музей квартире и строящему себе на Кипре дачу, достаточно только позвонить по телефону, и из далекой Германии или из еще более далекой Америки приедут опытные, все умеющие врачи с нужной аппаратурой и не дадут, не позволят остановиться маленькому Славкиному сердечку.

– Да ты слышишь меня, иль нет? – толкнула ее мать. – Я ведь что говорю: Аня и тебе предлагает поехать отдохнуть.

– Какая Аня? Ты про что это? – очнулась Нинка.

Мать сначала выскребла в тарелку Перелякина оставшиеся в кастрюле макароны, а потом, как о деле обычном, сказала:

– За границу тебя приглашают... с Борей ихним поехать.

– Уж не на Кипр ли? – сузила глаза Нинка. – Боре этому сопли подтирать?! Они что, сватают меня, что ли?

– Бог с тобой, доченька. Как ты могла такое подумать? – загремела мать в раковине посудой.

– А что, я бы поехал, – неожиданно вмешался Перелякин. – На Кипре сам Максим Горький под зайца косил.

– На Капри он косил, дурень, – вставая, поправила его Нинка и, уже закрыв дверь в свою комнату, услышала, как пришедший в себя Перелякин завозмущался:

– Ты как это... с матерью разговариваешь?.. А? – прокричал он фистулой. Но, тут же получил и от Валентины:

– А ты, баламут, не встревай, когда тебя не спрашивают.

Ровно через неделю позвонила Анна Леопольдовна и, видимо уже переговорив с матерью, сказала как о деле решенном:

– Вы, Ниночка, не беспокойтесь, Боря не будет доставлять вам много хлопот на Кипре. С вами ведь еще и Володя полетит. Загранпаспорт Михаил Борисович сделает быстро, а уж о деньгах не беспокойтесь. – И в конце долгого Нинкиного молчания добавила: – Я бы сама полетела, но мне нужно похлопотать насчет вашего мальчика. Слышите?.. Боря будет так рад...

Уже согласившись, и повесив трубку, Нинка еще долго уговаривала себя: «Ну и что? Это же все для Славика». А поехать ей, честно говоря, хотелось очень.

Аэропорт «Ларнака» встретил их теплым, дымящимся на раскаленном асфальте дождем и разноязычным говором. Нинка вела за руку еще не пришедшего в себя после перелета Борю и непрерывно вертела во все стороны головой, стараясь не отставать от шагавшего впереди Володи. Дурманно пахло какими-то цветами. «Господи, – подумала Нинка, – неужели я за границей?»

Из-за работающего кондиционера в машине было прохладно. Мерседес уверенно несся по непривычной левой стороне дороги, и Нинка, сидя на переднем сиденье, с любопытством вглядывалась в чужой, загадочный мир. Боря устало затих сзади, и однажды, обернувшись с каким-то вопросом, она заметила, как по его лицу пробежала долгая, мучительная судорога.

Слева между холмами мелькало море, прятавшееся под облаками все время полета, и Нинка только сейчас осознала, что видит его впервые в жизни.

Появилось солнце, и в мареве высыхающей земли на высокой, возникшей впереди горе, на самой вершине, ее зоркие глаза разглядели какие-то постройки.

– Что это? – спросила она, указывая туда пальцем.

Коротко взглянув, Володя равнодушно объяснил:

– Мужской монастырь.

Весь остаток дня Нинка провела как во сне. Все приводило ее в восторг: и отдельный, обставленный дорогой мебелью номер, под балконом которого за голубыми блюдцами бассейнов накатывалось и накатывалось на песчаный берег бесконечное море, и тихие горничные, с улыбкой уступавшие ей дорогу в бесшумных, покрытых толстыми коврами коридорах, и хохлатые пальмы с похожими на пирамидки шаурмы стволами, и сам воздух – сытный, обжигающий.

К ужину договорились встретиться в ресторане. Нинка надела сшитое матерью для этой поездки платье и, удовлетворенно посмотрев на себя в зеркало, направилась вниз.

Стоило ей переступить порог ресторана, как навстречу шагнул молодой, красивый парень в черном щегольском костюме с галстуком-бабочкой.

– Добрый вечер, – уверенно обратился он к Нинке по-русски, ничуть не смутившись ее африканских корней. – Вы одна?

«А тебе-то что за дело?!» – хотела спросить его Нинка, но, взглянув в открытое, доброжелательное лицо парня, передумала.

– А вы... собственно, кто?

– Андреас, – поклонился он. – Я метрдотель.

И то, и другое прозвучало для нее одинаково красиво и загадочно.

Из-за дальнего столика ей уже махал руками Боря.

– Пойдемте, я вас провожу, – сказал парень, и только теперь Нинка догадалась, что Андреас – это его имя.

Он подвел ее к столу и помог задвинуть за Нинкой стул:

– Приятного аппетита.

Чуть позже Нинка наклонилась к Володе:

– Метрдотель – это что?

– Старший официант, – пожал тот плечами и, передавая ей кожаную обложку меню, спросил: – Вы когда-нибудь пробовали устрицы?

Во все время ужина Нинка еще не раз отыскивала взглядом мелькавшую по залу стройную фигуру Андреаса. Однажды их глаза встретились, и он тотчас направился к ней.

– Все в порядке?

– Да-да, спасибо, – смутилась она.

После ужина, когда Володя повел усталого Борю спать, Нинка поднялась к себе в номер, закрыла дверь и, подперев ее на всякий случай стулом, вышла на балкон. Внизу, между изумрудных островков света, образованных спрятанными в зелени светильниками, безумолчно стрекотали цикады. Далеко-далеко справа, вдоль замеченного ей еще днем холмистого мыса тянулась праздничная гирлянда огней, а в той стороне, где она ожидала увидеть море, была разлита чернильная темнота, и прямо по ней полз большой, ярко освещенный пароход. «Неужели, это все происходит со мной?» – в который раз подумала Нинка. Она стала заново нанизывать на нитку памяти все самые яркие впечатления минувшего дня, и наряду с самолетом, облаками, запахами цветов, морем, сказочными пальмами, вот этим, уже уползшим за мыс пароходом и даже противным вкусом устрицы, которую она едва смогла проглотить, в самом конце неожиданно всплыло лицо Андреаса. «А он здесь зачем?» – удивилась Нинка, но, как ни старалась, вразумительного ответа дать себе не смогла.

На следующий день на арендованном джипе ездили осматривать достопримечательности острова. Нинка заглядывала в прохладу старинных церквей и базилик, любовалась мозаичными полами давно исчезнувших домов, без особого благоговения прыгала по каменным ступеням древнего амфитеатра и фотографировалась на фоне торчащего из воды камня, возле которого, по преданию, вышла из пены Афродита.

Ее спутников, как оказалось, в отеле хорошо знали, и за неизменной предупредительностью служащих всегда чувствовалось еще и их особое к ним, дружеское расположение. Володя же помнил всех по именам: «Костас! – щелкал он пальцами, подзывая кого-нибудь, или: – Петрос!», и они тотчас, довольные, подходили, вежливо поправляя его: «Никос, сэр», или «Дионисис», в зависимости от того, кого он в тот момент окликал.

К Боре также относились с большим уважением и, отвечая по нескольку раз на дню на его простодушные рукопожатия, не только не выказывали при этом ни малейшего неудовольствия, но и, напротив, всякий раз приветствовали его так, как, наверное, встречали бы и принца Чарльза, то есть с почтительным поклоном сдержанно осведомлялись: «Хау ар ю, сэр?» И лишь однажды Нинка заметила, как пожилая горничная, которой Боря вздумал помочь везти тележку с бельем, сунула ему в руку апельсин и, подтолкнув легонько в спину, шепнула: «Гуд, гуд бой», чего с тем же принцем, возьмись он развозить ей белье, она бы, скорее всего, так поступить не решилась.

Прошла неделя их пребывания на Кипре, и как-то вечером, забыв о разнице во времени, она позвонила домой. К телефону подошел Перелякин.

– Нинка! Неужто ты, зараза? – узнав ее голос, обрадовался он. – Ну, как ты там? Фестивалишь?

– Все нормально. Мать где? – спросила она, и тут же услышала сердитый голос матери, вырывавшей у Перелякина трубку: «Дай сюда, говорю тебе...» – и потом:

– Нина, как там погода? Не холодно? У нас вчера целый день дождь лил, а сегодня с утра вроде солнышко выглянуло, да тут же опять небо затянуло. Я давеча за хлебом собралась, думаю, ничего, под зонтиком добегу – глядь, а две спицы-то сломаны. Сколько раз уж этому ироду говорила, чтоб починил, так ему, видишь ты, все некогда, а с мужиками по столу доминошинами грохать, это он всегда время найдет...

– Да подожди, мам... – попыталась сказать что-то Нинка, но связь на несколько секунд прервалась, и потом, ставший более отчетливым, материн голос продолжал: – ... я говорю, Лида из первой квартиры... да знаешь ты, Соломона Ароныча жена, которая мусорокамеру убирала... Ну, кот у них еще... Вспомнила? Так я говорю, кот-то ихний... помер нынче.

– Господи, о чем ты, мама? – чуть не расплакалась Нинка, – Славик... Славочка как?

Мать тяжело вздохнула: – Скучает по тебе. Состояние стабильное. Улучшений пока нет.

– Эй, – неожиданно в самое ухо прокричал Перелякин, – ты там для матери дачку, какую-никакую привези, гайку простенькую на палец или еще что...

«Не ори, ирод, ребенка разбудишь», – зло прошептала ему мать, и вдруг спросила:

– Ну, что там Боря? Как вы?..

– Боря? – удивилась Нинка. – А что, Боря? Нормально.

– Ну-ну, – как-то потускнела мать, – ты уж смотри там... сама.

Положив трубку, Нинка ощутила в душе какой-то тягостный осадок...

Несмотря на то, что круг ее обязанностей в этой поездке так никем определен и не был, добросовестная Нинка, не привыкшая есть дармовой хлеб, потеснив Володю, сама взяла на себя роль Бориной няньки и принялась исполнять ее с такой отчаянной самоотверженностью, что первое время даже досадовала на отсутствие насмешек в свой адрес, поскольку желание презрительно не замечать их болезненно бурлило в ней и постоянно искало выхода.

На пляж она чаще всего ходила одна – к ее удивлению, Боря панически боялся моря. Но, когда Володя уезжал по делам, связанным со строительством дома, ей приходилось брать Борю с собой, и он издалека со страхом наблюдал, как не умевшая плавать Нинка, выставив перед собой сложенные утюжком ладошки, раз за разом с восторженным гиканьем шлепалась животом об упругую воду...

– Набрось что-нибудь, а то обгоришь, – обычно говорила она, выбираясь, наконец, на берег, и в изнеможении падала на раскаленный лежак. Боря послушно натягивал футболку и сосредоточенно склонялся над Нинкой, пальцем размазывая по ее спине выбегавшие из-под волос капли воды.

– Ты хорошая, Нина, – сообщал он ей доверительно.

– Понятное дело, – соглашалась она и поводила под его рукой матово-черными лопатками: – Ну, хватит, хватит. Оставь лифчик в покое.

Вскоре она закрывала глаза и, казалось, ненадолго засыпала, не забывая, тем не менее, через равные промежутки времени спрашивать сквозь сон: «Ты здесь, горе мое?» или, не нарушая ровного дыхания, с ленивой угрозой обещала: «Ох, кто-то сейчас получит у меня по рукам!» И в этом случае вопрос о том, где сейчас ее горе, уже не поднимался.

Но долго вот так лежать на солнце, когда в нескольких шагах от тебя дышит ласковое волшебство, по имени море, Нинка не могла. Она опять вскакивала, ворча разворачивала на Боре надетую задом наперед футболку и, прежде чем убежать, обязательно совала ему под нос свой крепкий кулачок: «Вот, только попробуй куда-нибудь деться. Понял?» Дурашливо улыбаясь, тот успевал чмокнуть ее руку, и потом, так и не пригладив взъерошенные Нинкой вихры, опять неотступно следил за мелькавшим у берега знакомым купальником, напоминая своей тревожной преданностью привязанную у магазина собаку...

– Пойдем, – как-то позвала она его с собой. – Ну хоть один раз окунешься.

– Нет-нет! – забормотал он испуганно. – Я боюсь.

– Чего, чего ты боишься? – упорствовала Нинка. Она еще сильнее потянула его за руку: – Ну же, Боря!

– Не надо, – стал оседать он на песок. – Мне страшно.

– Ах, так? – фыркнула она, делая вид, что сердится. – Тогда... тогда я больше не дам тебе причесывать меня. – И пошла, не оборачиваясь, к воде.

Боря сглотнул слюну и, не отрывая от ее разгневанной спины потерянного взгляда, коротко позвал:

– Нина... – Подождал, и крикнул опять, чуть громче: – Нина-а!

– Ну? – как бы нехотя обернулась она, уже наступив на пенную оборку моря. – Чего тебе?

Боря встал и медленно поплелся к Нинке; подойдя, присел в ее тени на корточки.

– Давай, я лучше потерплю, а ты будешь на меня брызгать? – предложил он, раскладывая ей на пальцы комочки мокрого песка.

– Нет! – решительно отрезала Нинка. – Считаю до трех: или ты сейчас идешь со мной, или... – Она сделала зловещую паузу и, удивляясь тому, какая же она, все-таки, стерва, закончила: – или я больше тебя не люблю.

О, это был расчетливый удар. Боря втянул голову в плечи и замер, а она, будто рефери на ринге, уже выбрасывала перед его лицом растопыренные пальцы: Раз... Два...

– Я упаду и утону, – обреченно сказал он на счете два с половиной.

– Не утонешь, – сузила глаза Нинка, – я тебя спасу. Она простерла руку над морем в сторону оказавшейся в том направлении древней Галилеи и с чуждым ей прежде пафосом произнесла: – Если веришь мне, встань и иди!

И он встал и пошел по воде.

Боря шел, держась за острое Нинкино плечо, и спиной чувствовал, как удаляется, превращаясь в точку, кипрский берег...

Упал он, когда вода дошла ему до пупка. Ямка ли попалась Боре под ногу, или камешек, но он вдруг споткнулся, надломился в коленях и, прощально боднув Нинку в спину, по самые плечи погрузился в воду. И сразу только того и ждавшая волна со злорадным хлюпом шлепнула его по лицу, набивая открытый в ужасе рот соленой горечью. Ахнув, Нинка больно цапнула его за волосы и что было силы потянула вверх:

– Боря!

Тот с трудом поднялся на ноги, отпустил, наконец, резинку ее трусов и его стошнило внушительной частью Средиземного моря.

– Вот! – сказал он по поводу случившегося, и при этом у него так лихо получилось взмахнуть рукой, что понять это иначе как цирковое «ап!» или «вуаля!» было совершенно невозможно.

– Ты что, дурак? – спросила на это испуганная Нинка.

Выведя Борю на берег и усадив на лежак, она заботливо накрыла его вздрагивающие плечи полотенцем и сама тесно села рядом. «Хорошо, что Володя не видел» – подумалось ей.

С усталым безразличием глядя себе под ноги, Боря молчал. Нинка ерзала, то и дело заглядывала ему в лицо, но, чувствуя свою вину, начать разговор долго не решалась.

Наконец она легонько толкнула его в бок:

– Борь, а Борь, знаешь, что у меня есть?

– Что?

Воровато оглянувшись по сторонам, она слегка оттянула чашечку лифчика и на открывшейся розовой полоске груди показала маленькую родинку:

– Видишь?.. Кроме тебя, никто не знает.

– Красивая, – прерывисто вздохнув, оценил он.

И тогда, обняв его за плечи, она предложила:

– Давай, мы Володе ничего не скажем.

– Про родинку? – с пониманием спросил Боря.

– Про то, что ты купался.

– Не скажем, – легко согласился он.

Нет, она, конечно, не боялась Володи – еще чего! – не в характере Нинки было кого-то бояться, но и дружеских отношений с ним у нее тоже не получалось. С некоторых пор она стала замечать, что в разговоре с ней у него нет-нет да и проскакивают какие-то странные снисходительные нотки. При этом один уголок его губ насмешливо вздергивался вверх, как если бы она совершила что-то стыдное, ну, например, тапочки, что ли, гостиничные решила увезти домой или еще что-нибудь, а он, зная об этом, многозначительно помалкивает. Так бывает, когда тебя вдруг потреплет кто-нибудь рукой по спине и, то ли с укором, то ли с одобрением скажет: «И ты, значит, туда же?..», и пойдет себе дальше, оставив тебя в недоумении: куда туда же? Совершенно дурацкое ощущение. И это было тем более обидно, что насчет тапочек Нинка знала точно: второй раз их все равно уже не используют, и, выбросила она их или положила в чемодан для матери, никому до этого нет никакого дела.

Внешне Володя был всегда безукоризненно вежлив, обращался к ней только на «вы» и, что в душе очень смешило ее – по имени-отчеству. И все же... «Кто он, – думала она, – родственник Бориса Михайловича?.. Что заставляет его, хорошо образованного, умного, быть... ладно бы если только секретарем, но и шофером, и прислугой, и даже, в отсутствие Нинки, – нянькой у взрослого больного парня?..»

И еще заметила Нинка, на пляже, когда она в новом, купленном перед отъездом купальнике задумчиво и красиво шла куда-нибудь по кромке берега, Володя ни разу, и в этом она была уверена, не посмотрел ей вслед.

Не зная, куда девать вливавшуюся в нее вместе с южным солнцем и пьянящим морским воздухом энергию, Нинка стала каждое утро до приятного изнеможения бегать по специально проложенной вдоль берега дорожке, привлекая своей высокой ладной фигуркой дружелюбное внимание других любителей утреннего моциона.

– Монинг! – синхронно вскидывали руки девочки-близняшки, пробегая мимо Нинки.

– Монинг! – улыбалась она в ответ, всякий раз удивляясь их схожести во всем, начиная от одинаково промокших от пота футболок, до одних и тех же созвездий прыщиков на лицах.

– Хэллоу! – отрывался от занятий китайской гимнастикой необъятных размеров мужчина в детской панамке.

– Монинг! – улыбалась Нинка и ему.

Молодые, симпатичные супруги, недавно побывавшие в России по культурному обмену, были особенно расположены к Нинке.

– Как дела, чмо? – приветствовали они ее на молодежном сленге. – Добавь на пиво.

Там же, на беговой дорожке познакомилась она однажды с очень пожилой леди, привлекшей ее внимание несколько не традиционным для чопорной Британии нарядом – кроме разношенных кроссовок на ней был только облегченный вариант бикини. Бабуля двигалась ей навстречу, неуверенно и копотливо переставляя ноги, в то время как руки ее, по-спортивному согнутые в локтях, работали с необычайной резвостью, как бы намного опережая в беге саму старушку.

– Хай! – призывно закивала она Нинке, выражая явное намерение о чем-то спросить, и, когда та остановилась, задала столь длинный и замысловатый вопрос, что к концу его Нинка твердо поняла лишь одно: английский язык – штука серьезная.

К тому времени она уже имела некоторый опыт общения с иностранцами, и, если разговор заходил дальше обычных приветствий, что не было предусмотрено ее средним образованием, Нинка устало взглядывала на собеседника и с гордостью, выпячивать которую старалась не очень, произносила все объясняющую фразу – «Ай эм рашен». «Оу!» – ахали по-английски иностранцы, теплели взглядом и шли дальше по своим иностранным делам, вспоминая, наверно, балет Большого театра или водку «Столичная».

Но реакция старушки была куда ярче. Узнав, что Нинка из России, она восторженно вскинула пленочки век, всплеснула руками и потом, пристроив возле плеча сложенные ладошки, положила на них сильно замятую годами щеку.

– Горбачофф, – томно вздохнула она, покачиваясь из стороны в сторону.

– Где? – не поверила Нинка.

– Май лав, – пояснила та доверительным шепотом и по-детски чмокнула воздух бескровными губками.

Ее сухонькое тело было столь густо посыпано похожими на чешуйки старческими пятнами, а коротко стриженая головка с выпуклыми, взболтанными глазками двигалась так неспешно, что сравнить ее с доброй черепашкой мешало Нинке только бабушкино бикини и стоптанные кроссовки.

В том же духе они поговорили еще минут десять, и, расставаясь, долго махали издалека друг другу, причем Нинка кричала:

– Передам, обязательно передам. Что мне, трудно ему позвонить?

Как-то Володя привез их на строительство дома. В гулкой пустоте трехэтажного здания рабочие уже заканчивали внутреннюю отделку. Руководил ими невысокий, средних лет итальянец, сразу показавшийся Нинке знакомым.

– Луиджи, – представился он, наклонив лысую, в капельках пота голову, и по его липкой улыбке Нинка с удивлением узнала своего соседа по этажу, не раз пытавшегося заговорить с ней в коридоре отеля.

Бестолково мешая английскую речь с итальянской, что, впрочем, совсем не мешало Нинке, он водил их по залам и комнатам, показывал рельефные стенные панели со сложной вязью виноградной листвы; крылатых коней, пьющих из чаш еще сухих фонтанчиков, заставлял гладить причудливую резьбу мраморных балясин лестницы, демонстрировал только что привезенные, но еще не расставленные в своих нишах скульптуры...

«Боже мой, – думала Нинка, – сколько же все это может стоить? Да кто он такой, этот Михаил Борисович, – госчиновник или бандит? Она вспомнила, как на тот же вопрос, заданный ее матерью, уверенно ответил Перелякин: «Конечно, – пожал он плечами. – А кто же еще?»

На третьем этаже, отстав от остальных, Нинка вышла на большую открытую веранду. Вдоль близкой излучины моря, сытно вздув паруса, скользили куда-то две белоснежные яхты; большая серая птица пыталась лететь им навстречу, но, уставая на сильном ветру, раскидывала надломленные крылья, и ее раз за разом сносило назад. Далеко-далеко, у самого неба Нинка заметила очертания крошечного кораблика, который, воспользовавшись тем, что она ненадолго отвела от него взгляд, торопливо перебрался через линию горизонта, оставив на ней едва заметную зазубринку...

Неслышно подошел Володя и облокотился на парапет рядом с Нинкой.

– Хорошо, – буднично отметил он, как будто поставил в журнал четверку с минусом. И вдруг спросил: – А что, Нина Валентиновна, хотели бы вы жить в этом доме?

– Я?! – засмеялась Нинка и даже махнула на Володю рукой. – А вы бы сами разве не хотели?

– Ну, речь сейчас не обо мне, – сказал он серьезно, но уголок его губ все-таки дернулся вверх.

После той поездки Нинку стал еще настойчивей преследовать Луиджи. Она уже перестала удивляться, встречая его в самых неожиданных местах, и, скрепя сердце, мирилась с однообразным набором его ежедневных дурацких шуток: то он зароет в песок сброшенные перед купаньем Нинкины шлепанцы, то подбросит на одежду маленького противного краба... Но однажды, когда он положил ей на спину специально прихваченный из бара кусочек льда, Нинка не выдержала.

– Детство у тебя в одном месте играет, – выпалила она, вскочив с лежака, и, видя его раскрасневшееся от смеха лицо, доступно пояснила жестами: – Детство, бамбино... вот тут. Понимаешь, придурок?

Понял ли тогда итальянец что-нибудь из ее объяснений или нет – неизвестно, но Нинка, увидев вечером ждущего ее в коридоре итальянца, почему-то смутилась.

– Ни-на! – распахнул он дверь своего номера. – Плиз, пожалуйста.

– Это еще зачем? – настороженно спросила Нинка.

– Плиз, – повторил он строго, и при этом лицо его было официальным, как перед вручением правительственной ноты.

Пожав плечами, она вошла.

Окна в номере были зашторены, из телевизора чуть слышно лилась спокойная греческая мелодия, а на столе, в окружении всевозможных фруктов, стояли бутылки с вином.

– Ну, и что? – опять спросила Нинка.

И тогда он вдруг всей пятерней больно шлепнул ее по упругой попке и тут же, посуровев еще больше, спрятал руку за спину, как бы предлагая отгадать, кто это сделал.

– Вон как?! – поразилась Нинка, и в свою очередь ткнула его пальцем в лысину: – Ты, видно, на солнце перегрелся, Челентано?

От тычка у Луиджи сразу подернулись студенистой мутью глаза, и он, тесня ее от двери и потрясая сложенными ладонями, что-то наставительно и сердито забормотал по-итальянски. «Феличита ун моменто чинзано пицца спагетти Джульетта Мазина» – легко поняла Нинка. И еще, кажется, «коза ностра Чипполино» добавил он, прежде чем, сильно толкнув ее на кровать, с решительностью родителя, доведенного строптивым чадом до отчаяния, стал расстегивать брючный ремень.

– Да ты что?! – зашипела она. – Меня и мать-то ни разу пальцем не тронула. – Но, уже через секунду пружиной взвилась с кровати: – Ах ты, поганец!

Тренированной рукой волейболистки, о крученых подачах которой по школам ходили легенды, Нинка влепила Луиджи такую мощную затрещину, что тот, изумленно крякнув, одним махом перелетел через кровать, и там, будто играя с ней в прятки, старательно затаился.

Она вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

На следующий день Нинка, как всегда, совершала свою утреннюю пробежку.

– Хай, дарлинг! – поприветствовала ее бабушка в бикини.

– Монинг, – улыбнулась в ответ Нинка.

Любитель китайской гимнастики, обтираясь полотенцем, послал ей воздушный поцелуй:

– Хау ар юу?

– Файн, мистер толстяк.

Из-за поворота выбежал Луиджи.

– Хелло, Нина, – робко обрадовался он.

– Иди ты в жопу, – махнула она рукой.

– Файн, сэнк юу, – благодарно заулыбался тот.

В тот день Борису нездоровилось, и намеченную накануне прогулку пришлось отменить. Володя предложил Нинке одной пройтись по магазинам.

– Вот, – сказал он, выкладывая на стол деньги, – купите для своих что-нибудь.

Нинка долго отказывалась, но потом деньги все-таки взяла.

– Я вам обязательно в Москве их верну, – сказала она уверенно.

– Да, да, конечно, – уходя, кивнул головой Володя.

Ах, какое это было новое, необыкновенное ощущение – впервые оказаться одной на многолюдных улочках чужого курортного городка. Какое наслаждение было бродить среди толп шумных, общительных, но, чаще всего, ни бельмеса не понимавших по-русски туристов, копаться в грудах выставленных на каждом шагу сувениров, заказывать себе в ресторанчике кофе, кивая на все вопросы официанта: «йес, йес», и потом пить принесенный им совсем не похожий на привычный кофе, холодный, пенистый напиток.

На площади возле какого-то монастыря она минут пятнадцать наблюдала за работой молодого парня художника, пока он, заметив ее наконец за своей спиной, через плечо не спросил по-русски: – «Ну что, чумазая, нравится?» – «Так себе», – ответила Нинка. Парень дернулся и, обернувшись, с виноватой улыбкой забормотал ей в след: – «Я это... Короче... извини, подруга».

Тут же, в одном из магазинов, тесно окружавших площадь и монастырь, она долго выбирала для матери бусы и, в конце концов, купила еще и золотую цепочку с кулоном в виде латинской буквы «V», которая, конечно же, золотой не являлась и, судя по цене, рядом с золотом даже не лежала, но, в чем не сомневалась Нинка, не могла не понравиться матери, потому что действительно была очень красивой и похожей на золотую.

Найти подарок для Перелякина труда не составило тем более: в том же магазине ему была куплена большая фигурная бутылка с темноватой жидкостью, привлекшая Нинкино внимание яркой упаковочной коробкой.

– Дринк? – на всякий случай спросила она продавца и для наглядности щелкнула себя пальцем по горлу.

– О-о-о! – закатил он под лоб глаза, характерным жестом скрещивая на груди сжатые кулаки. – Финиш!

«Годится!» – сразу решила Нинка.

Но больше всего покупок было сделано для Славика. Она покупала для него все, что попадалось на глаза: черепах, кувыркающихся мартышек, дельфинов, надувных слоников, пучеглазых шарообразных рыб и еще что-то, иногда трудно узнаваемое, но необычайно яркое и забавное. В отделе детской одежды она выбрала голубенький с белым костюмчик, который Славику был, конечно, велик, и Нинка, оплачивая его, зачем-то сказала оказавшейся рядом женщине: «Ничего, годика через три будет в самый раз». – «Вэри найс», – в ответ улыбнулась та, не понимая.

Потом, устав от суеты, она спустилась по горбатой улочке к небольшому заливу с дремавшими на длинных поводках бескрылыми яхтами и рыбацкими лодками, где на горячих досках причала сидел голый по пояс старик и безмятежно спал, уронив в воду конец длинного удилища. Здесь было тихо и спокойно, и только выше по берегу иногда плескался смехом и музыкой маленький ресторанчик.

Нинка устало опустилась на обитый клеенкой деревянный ящик, и только тогда к своему ужасу заметила стоявшего метрах в трех от нее грязно-белого пеликана. Тяжелый клюв его покоился на груди, и сначала ей показалось, что пеликан, так же, как и старик, мирно спит, но, с опаской разглядывая эту внушительных размеров птицу, она неожиданно наткнулась на внимательный буравчик его взгляда. С минуту они пялились друг на друга, пока Нинка, трусливо уступив сопернику в этой игре в «гляделки», от греха подальше не отвернулась.

Она с нарочитым вниманием стала изучать далекую череду гор, старательно размышляя: а что же там может быть, за этими вершинами, но, кроме того, что и там стоят те же горы, ей в голову ничего не приходило. Потом ее внимание привлек парящий вдоль берега параплан, но, провожая его взглядом, она, как назло, снова уткнулась в насупленный взгляд пеликана.

– Ну, что уставился, чудо в перьях? – не выдержав, спросила Нинка и тут же поняла, что делать ей этого не стоило: обидчивая птица, до предела разинув свой чудовищный клюв, вдруг издала утробный боевой клич и с откровенно пакостными намерениями направилась к ней.

Нинка ахнула, судорожно прижала к груди сумку с подарками и, мысленно уже карабкаясь по крутому берегу на другой стороне залива, с ужасом поняла, что ноги ее не слушаются. Тогда она крепко зажмурила глаза и, выставив вперед острый локоть, срывающимся голосом предупредила:

– Вот только попробуй, гад!..

То ли сама угроза смутила нападавшего, то ли его озадачило не отвечающее видовой классификации обращение «гад», произнесенное к тому же с мягким украинским выговором, придавшим слову еще более угрожающий оттенок, но, во всяком случае, пеликан, определенно передумал делать с ней то, чего она так убедительно не советовала ему даже пробовать. Она слышала, как он нерешительно покрутился на месте, потом из вредности все-таки стукнул ее по коленке своим костлявым крылом, и вдруг нахально потянул к себе сумку.

– И-и-и, – сдавленно пискнула Нинка, не выпуская из рук свое добро, и слепо пнула перед собой шлепанцем.

И хотя она промахнулась, пеликан не только отпустил сумку, но и, наступив ей лапой на ногу, отчетливо произнес: «Извините».

– Что?! – распахнула Нинка глаза.

– Извините, – повторил кто-то рядом, – вас ведь Ниной зовут?

– Ой! – по девчачьи ойкнула она, потому что как же ей иначе ойкать, и, обернувшись, удивилась так сильно и непритворно, что окажись вместо стоявшего за ее спиной метрдотеля Андреаса совсем не Андреас, а, к примеру, заблудившийся нудист с соседнего пляжа, она бы удивилась значительно меньше, тем более что в данном случае это чувство дополнялось еще и такой безудержной радостью, обнаружить которую при встрече с нудистом возможно и могла какая-нибудь дама, но только не выросшая под портретом Ворошилова Нинка.

– Это вы?! – на всякий случай, все-таки спросила она, и когда он неуверенно пожал плечами, испугалась: – Ну, как же?.. Это же вы!

– А я вас еще во-о-н оттуда заметил, – показал Андреас вверх по откосу.

Нинка подняла глаза и увидела, как с открытой веранды ресторана ей приветливо машет сразу несколько рук.

– Кто это? – растерянно помахала она в ответ.

– Мои друзья, – опять улыбнулся он и тут же виновато спросил: – Вам, наверно, хотелось побыть одной?

– Нет! – вскрикнула она, напугав все еще стоявшего рядом пеликана; подумала, и указала на него пальцем: – Вот, этот вот... привязывается ко мне.

Пеликан склонил голову на бок, краем клюва с шумом втянул в себя воздух и, кажется, сплюнул.

– Савва, что за манеры? – Подошел Андреас к сразу насторожившейся птице и гулко шлепнул ее по носу. – Ты опять пристаешь к девушкам, старый ловелас?

Тот заворчал звуком проглоченной губной гармошки, но, решив скандала на этот раз не поднимать, отошел в сторону и принял форму парковой урны.

– Ну вот... – развел тогда руками Андреас и беспомощно оглянулся в поисках еще какого-нибудь Нинкиного обидчика.

– А-а-а... – стала собирать мысли Нинка.

– Да-да? – с готовностью придвинулся он к ней.

– А... этот Савва... он тоже ваш друг?

– Конечно, – обрадовался Андреас. – Вы не смотрите, что Савва попрошайка, ему благородства не занимать... – Он хотел еще что-то сказать о своем пернатом товарище, но, взглянул на Нинку и замер: – Что это с вами?

– Ничего, – сказала она, с усилием закрывая рот.

После этого они долго, не моргая, смотрели друг на друга, пока Нинка опять не спросила:

– Так вы говорите, там тоже горы?

– Где?

– Там, – показала она пальцем, не отрывая от него взгляда, – за теми горами.

– За теми горами еще горы, – повторил за ней Андреас, а от себя добавил: – разные.

И вот тут она опять удивилась:

– Правда?! – радостно ахнула Нинка, и была в тот момент очень похожа на глупенькую.

– Честное слово, – серьезно поклялся он и вдруг так искренне и по-доброму засмеялся, что она закрыла глаза и сама вслед за ним взвизгнула рассыпчатым, бездумным смехом.

И ведь надо же, не успели еще и ресницы ее вспорхнуть после этого смеха, а Нинке опять захотелось задать ему какой-нибудь очень глупый вопрос, и у нее сразу получилось:

– А если идти туда пешком, – спросила она, – это сколько же времени займет?

– Зачем же пешком? – даже растерялся Андреас. – У меня наверху машина. Хотите, поедем прямо сейчас?

– Хочу, – вскочила она на ноги.

Когда они поднялись на площадку перед рестораном, Нинка, прежде чем сесть в его открытую машину, тронула Андреаса за рукав.

– Скажите... – начала она неуверенно. – Я вас еще плохо знаю... – И, видя его недоуменный взгляд, торопливо и скомкано спросила: – Мне ведь совсем не нужно чего-нибудь бояться?

Андреас, силясь понять ее, опустил глаза себе под ноги, и, наконец, с трудом догадался:

– Нина, – прижал он руку к груди, – клянусь, что с вами ничего не случится. – Когда же она, уже жалея о своем вопросе, поспешно кивнула, он добавил: – Я очень осторожно вожу машину.

Теребя тяжелые локоны ветра, они мчались и мчались по раскаленному асфальту, и Нинка уже в четвертый раз подумала о том, что чудо как хорошо ехать в машине с этим замечательным парнем, чьи друзья умеют так приветливо махать издалека руками, а если и попадаются среди них такие вредные, как этот пеликан Савва, то Андреас, не задумываясь, шлепает их по страшным носам, чтобы впредь им к ней, то есть к Нинке, приставать было неповадно.

– Андреас, – повернулась она к нему, – а Савва больше никогда не будет пугать меня?

– Пусть только попробует, – серьезно ответил он. – Я с ним завтра еще поговорю по-мужски.

– А может, не надо? – попросила вдруг Нинка. – Он же не знал, что мы с вами знакомы.

– Посмотрим, – пообещал Андреас, и лицо его в тот момент было суровым-суровым.

А машина все глотала и глотала белые полосы дорожной разметки и кружила вокруг возникавших то слева, то справа гор, пока одна из них мягко не приняла их на свое покатое плечо.

Когда Нинка потеряла счет головокружительным поворотам, Андреас затормозил возле бьющего из скалы источника. Здесь уже стоял автобус с туристами, и обвешанные фотоаппаратами японцы благоговейно и сосредоточенно пили маленькими глотками воду, как будто эта церемония и была их конечной целью долгого паломничества сюда едва ли не с другой стороны земного шара.

Почтенный старик, одетый, несмотря на жару, в строгий серый костюм, с вежливым поклоном протянул Нинке чистый стаканчик, и, понаблюдав, как они по очереди прикладываются губами к стылой, прозрачной влаге, неожиданно подмигнул им своим прицелившимся японским глазом и даже хихикнул сквозь желтые зубы, довольный, что разгадал в этой парочке то, о чем сами они еще только начинали подозревать.

А потом Андреас опять цепко ловил колесами увертливую горную дорогу, и каждый поворот, заставлявший Нинку тесно прижиматься к его плечу, все больше и больше кружил ей голову, в которой и без того была такая сумятица, что спроси ее сейчас кто-нибудь: «Эй, Брагина, ты на каком сейчас свете?», она бы только недовольно прищурилась: «Чего тебе?», а то и локотком толкнулась бы: отстань, мол, не до того мне сейчас. И действительно, не до того ей в тот момент было, потому что еще никогда, никогда не увозили Нинку на такую бездонную, пьянящую высоту, и горы не имели к этому ни малейшего отношения. Да и помнила ли она, почему оказалась здесь?

– Нам еще долго ехать? – осторожно поинтересовалась Нинка.

– Так это... смотря куда, – начал притормаживать машину Андреас.

– А разве не к морю? – задала она наводящий вопрос.

– К морю? Примерно столько же, – ничуть не удивился он, легко разворачиваясь на узкой дороге. – Или немного меньше.

И через час или полтора, а может быть, как и обещал Андреас, немного меньше, они сидели среди известковых скал на ослепительно белом, зализанном штормами берегу и наслаждались тем обнаженным в своей невинности разговором, присущим разве что детям, да еще тем, кого в азарте совершенствования мира свел вместе своими неисповедимыми путями то ли величайший провидец, то ли самый большой путаник на свете – Господь Бог.

Между собой, да и с Богом тоже они давно уже были на «ты», и очень удивились бы, узнав, что когда-то было иначе.

Нинка сидела лицом к морю, опираясь на откинутые назад руки, а он лежал на животе возле ее коленей и, глядя, как путается солнце в кружеве Нинкиных волос, все говорил, говорил...

– Нина, – говорил он, – ты похожа на Суламиту.

– Правда?! – перехватило у нее от радости дыхание. Она наклонилась к нему и, намотав на палец два колечка его кудрей, поинтересовалась: – А кто это?

– Она была возлюбленной царя Соломона. Ты помнишь эту Библейскую историю?

– Она была красивой?

– Как ты, – уверенно ответил Андреас.

– А я красивая? – не могла уже не спросить Нинка.

– Ты прекрасна, – медленно покачал он головой. – Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; как лента алая губы твои. Ты – лилия между тернами...

Так или примерно так говорил Андреас – не суть важно; главное, что она в тот момент услышала именно эти безумно взволновавшие ее слова, и заерзала, заерзала на своем месте, а уж когда он, отгоняя от лица назойливую мошку, вдруг потерся щекой об острую Нинкину коленку, она решительно взяла в руки его лицо и сказала:

– Андреас, ты знаешь... я так хочу...

– Что? – перебрался он губами в ее ладошку.

Нинка еще ближе склонилась к нему и щекотно выдохнула в ухо то, что она так некстати захотела.

– Я быстро, – пообещала она, вставая.

– Можно, я с тобой? – почти искренне попросился Андреас.

– Господи, какой же он у меня глупый, – со счастливой улыбкой пожаловалась Нинка Богу.

А он умиленно посмотрел ей вслед и лег на спину.

– Она похожа на Суламиту, – прошептал он в небо, и по его лицу можно было подумать, что только что ему признались в любви.

А может, так оно и было?..

Они подъехали к отелю, когда пальмы уже лениво нагоняли своими опахалами легкую предвечернюю прохладу. Нинка ступила на асфальт и, спустившись наконец-то на землю, запоздало встревожилась:

– А ты сегодня работаешь, Андреас?

– Если меня еще не уволили, – засмеялся он, но, увидев ее испуганные глаза, поспешил успокоить: – Увидимся в ресторане. Жаль, что я не смогу быть все время возле тебя.

Он стал задом подавать машину на стоянку, и тут же затормозил, потому что она застучала рукой по капоту.

– Что, Нина?

– А как же завтра, Андреас?

– Завтра? – на секунду задумался он. – Если в одиннадцать у Саввы?.. Не очень рано?

– Нет, нормально, – кивнула она. – Давай лучше в десять.

– В девять я уже буду там, – сказал он, и долго смотрел ей вслед, пока какой-то автобус не стал сердито сигналить, требуя освободить дорогу.

А Нинка прибежала к себе, повизгивая, постояла под холодным душем, торопливо переоделась, и, нацепив купленные для матери бусы, поднялась в номер, где жили Володя с Борей. Как оказалось, они уже поужинали, и то обстоятельство, что ей теперь придется идти в ресторан одной, чрезвычайно обрадовало Нинку.

Володя вышел на балкон покурить, а она откинулась на спинку дивана и минут пять просидела с закрытыми глазами, время от времени перехватывая на себе Борины руки, и лениво грозя ему пальцем: «Смотри Борька, по шее получишь».

– Пойду, съем чего-нибудь, – поднялась Нинка, когда Володя вернулся. – Я сегодня пораньше лягу.

– Нина... Нина, сядь, – заканючил Боря. – Не ходи.

– Нет-нет, пойду, – потянула она из его руки подол своего платья и подставила для поцелуя щеку: – На вот... И хватит с тебя.

В ресторане она нашла свободный столик у самой эстрады и попросила подошедшего официанта принести ей воды.

Вскоре Нинкино одиночество привлекло к себе пьяное внимание галдевшей неподалеку компании немцев, и, после короткого совещания, к ней был делегирован уже не вязавший своего немецкого лыка парень, который, подойдя, не рухнул к ее ногам только потому, что на том месте, куда ему вздумалось сесть, по совершенно невероятному совпадению оказался свободный стул. Чтобы поддержать свои безвольные веки, он вздернул к середине лба короткие полоски бровей, и безжизненно посмотрел на Нинку.

– Ну, и какого тебе... здесь надо? – с негодованием поинтересовалась она, намеренно пропустив слово «рожна», как не способное в полной мере передать ее отношение к такой бесцеремонности.

На это немец очень похоже зашипел гусем, и, уже исходя остатками воздуха, задавленно выговорил:

– Ш-ш-шпрехен зи дойч?

– Отвали, – отмахнулась Нинка и стала жадно оглядывать зал, ища Андреаса.

Наконец, она увидела его. Андреас стоял, почтительно склонившись к маленькой, лет трех девочке, восседавшей во главе большого банкетного стола, и увлеченно ей что-то рассказывал, отчего она захлебывалась безудержным восторженным смехом и, закидывая назад голову, в веселом изнеможенье все била и била его ладошкой по рукаву. Судя по огромному банту, венчавшему ее кудрявую головку, и пышному платьицу с крохотными крылышками за спиной, она-то и являлась причиной этого праздничного застолья.

К Нинкиной досаде, их вскоре надолго загородили танцующие, а когда музыка кончилась, и площадка перед эстрадой опустела, Андреаса на том месте уже не было, как не было и маленькой хохотушки, которую несли между столами к выходу, и она горько плакала, вытирая глаза кулачком с зажатой в нем кистью винограда.

Нинка встала, подошла к музыкантам и поманила пальцем пожилого, добродушного на вид трубача:

– Мистер, вы говорите по-русски?

Тот только расстроено покачал головой. Неожиданно к ним крутнулся на своем стульчике пианист:

– Я чех, – почему-то решил похвастаться он.

– Ну да? – вяло отреагировала Нинка.

– Да, – подтвердил чех. Он наклонился к Нинке и пояснил: – Я могу делать перевод.

– Слушай, друг, – обрадовалась она, и потянула его за атласный лацкан, – можно мне сыграть на трубе?

Тот выпрямился, опять посмотрел на Нинку и только потом перевел ее просьбу остальным. Наступила неловкая пауза.

– Ладно, – махнула она рукой, – не надо. – И уже повернулась, чтобы уйти, когда трубач окликнул ее:

– Леди, момент! – Он быстро протер мундштук выдернутым из нагрудного кармана шелковым платком и с поклоном протянул трубу Нинке: – Плиз. – И еще добавил что-то непонятное, должное, по всей видимости, означать: «Не терять же нам из-за этой железяки дружбу».

– Сделайте нам счастье, – перевел чех.

Ей помогли подняться на невысокую эстраду и с любопытством отступили назад. Нинка глубоко вздохнула, привычно пожамкала свои пухлые губы и, пробуя пальцами упругость клапанов, вскинула к напряженному рту сияющую медь трубы. В сумраке ее чуть прикрытых глаз вдруг возник знакомый ослепительный берег, и тотчас, в такт вспорхнувшей мелодии, между скал, изломанных настойчивой лаской моря, один за другим стали выпрыгивать на камни неугомонные дельфины волн: «Дорогая моя бап-ка, ты сыграй, сыграй на скрип-ке...» – рвались к зеркальному потолку полноголосые звуки «Неаполитанского танца», заглушая вязкий гул ресторана. Дельфины ударяли пенными хвостами и неохотно соскальзывали обратно в густое, тяжелое море, чтобы, вороша гальку, нырнуть под уже набегавшую в этой бесконечной забаве череду своих товарищей. «Я за это тебе, бап-ка, дам кусочек дохлой рып-ки» – только на мгновение мелькнул перед Нинкой образ проголодавшейся бабки, и сразу она увидела себя. Нет, это была не совсем Нинка – прекрасная Суламита сидела на кипенном берегу, поджав под себя сильные, стройные ноги в резиновых вьетнамских шлепанцах, а рядом с ней на животе лежал царь. Был ли это Соломон, она точно определить не могла, потому что из всех Соломонов знала только Соломона Ароновича из первой квартиры, но то, что царь удивительно похож на Андреаса, волновало ее до щекотки в носу и возникшей не ко времени тяжести внизу живота. А уж когда он вдруг потерся щекой о белесый шрамчик на ее коленке, тут и совсем зашлась Суламита в одном бесконечном вдохе, и в побежавших перед глазами радужных кругах увидела ту самую маленькую девочку, которую только что со скандалом унесли с собственных именин. Малышка прямо с кисти ела мятые виноградины, и, сплевывая под ноги косточки, всякий раз занудно повторяла: «А я все видела... А мне про вас все известно...» И от горячего дыхания ветра подрагивали за ее спиной легкие крылышки...

Нинка оторвала от губ кисловатый вкус трубы и, вспугнутая аплодисментами, распахнула глаза. Прямо перед ней стоял Андреас. «Я люблю тебя, мое смуглое солнце», – отчетливо произнес он, не размыкая губ, и она совсем не удивилась, что слышит его. «Я играла только для тебя», – мысленно сказала она в ответ, и Андреас благодарно кивнул. «Они любят друг друга», – на правах переводчика, так же молча объяснил остальным чех. «Чтобы понять это, не обязательно знать Русский», – промолчал пожилой трубач, целуя ей руку. Андреас помог Нинке спуститься с эстрады, и они пошли к выходу. «Шпрехен зи дойч?» – подумал ей вслед проснувшийся немец, и она успела услышать и его.

В гулком, полупустом холле отеля свет был приглушен. Подрагивая от волнения, Андреас втиснул Нинку в узкое пространство между пальмой и огромным аквариумом и в первый раз терпко и влажно поцеловал ее в губы. Внутри у нее сразу что-то полуночно ухнуло, забилось пойманным зайчонком, и ей очень захотелось сесть на пол, но места для этого было слишком мало; а когда сознание к ней все-таки вернулось, она, мысленно махнув рукой: «А, чего уж теперь...», торопливо сделала губы «уточкой» и уже сама потянулась лицом к Андреасу.

Уродливая рыба-телескоп вынырнула из глубины аквариума, уперлась потертым носом в стекло и, пуская слюнявые пузыри, наблюдала...

Только потом, с трудом найдя свой номер, и вымыв зачем-то голову, Нинка, загибая пальцы, смогла подсчитать, что поцеловались они ровно четыре с половиной раза. И хотя пятый палец она загнула тоже, признать последний поцелуй полноценным все же не решилась, потому что во время него вдруг пугающе хлопнула ресторанная дверь, раздались шаги, и Андреас, будто стирая с ее губ остатки лакомства, широко лизнул Нинку от подбородка до ноздрей и, прежде чем исчезнуть, придушено шепнул:

– До завтра, родная моя.

– До завтра, родная моя, – слово в слово повторила за ним Нинка, и лишь оставшись наедине с лупоглазой рыбой, подумала о себе: «Ну, не дура ли?»

Крепко зажмурившись, она еще чмокнула перед собой воздух и осторожно полезла из своего укрытия.

И вот теперь, сидя посреди кровати с накинутым на голову полотенцем, и раскачиваясь как иудей на утренней молитве, она раз за разом подводила итог прошедшего дня: «Ой, что же мне теперь де-э-лать... Ой, мамочки-и-и... Ой, как же мне хорошо-о-о...»

И было утро, и был тринадцатый день пребывания Нинки на Кипре, пятница.

Стук в дверь, раздавшийся в такую рань, не мог предвещать ничего хорошего. На пороге стоял Володя.

– Нина Валентиновна, только что звонили из Москвы, – сказал он встревожено. – Вашего Славика положили в больницу.

– Что с ним? – качнулась Нинка.

– Подробностей я не знаю но...

– А время, время сейчас сколько? – перебила она, стаскивая с головы полотенце.

Он посмотрел на часы:

– Без трех минут шесть.

Нинка на секунду отвернулась к окну, а когда опять взглянула на Володю, глаза ее были полны слез.

– Ну, – сказала она, мелко дрожа губами, – и что же мне теперь делать?.. А? – И это ее «а?» прозвучало так жалобно, так безысходно, что Володя испугался.

– Да вы не волнуйтесь, – заторопился он. – Я уже звонил в аэропорт. Через двадцать минут за нами приедет машина.

Нинка села на кровать, вложила ладони между колен и, уже с сухими глазами, задумчиво покачала головой:

– Да... конечно... надо ехать.

Из гостиницы она вышла тихая, с усталым, потухшим лицом. Когда садились в машину, Боря взял ее за руку:

– Не плачь, Нина, не плачь. Я тебя люблю.

– Да, Боренька, – погладила она его в ответ по плечу. – Ты хороший.

Всю дорогу до самого аэропорта Нинка просидела молча, тупо глядя перед собой и непрерывно теребя на груди так и не снятые с вечера бусы.

В самолете ей досталось место у окна, впереди Володи и Бори, и она, предупредив, чтобы ее не будили, сбилась комочком в углу и, видимо, в самом деле задремала, потому что даже не пошевелилась, когда Володя накрыл ее взятым у бортпроводницы одеялом.

Ее разбудила соседка:

– Пристегнитесь, девушка. Слава Богу, подлетаем. – Потом, запихивая в сумку пудреницу, зачем-то добавила: – Век бы этих кипров не видеть.

Уже получив вещи, и пробираясь по тесному, огороженному проходу в зал, где толпились встречающие, она увидела Перелякина.

– Нинка! – замахал тот руками как с тонущего корабля. – Здесь я, здесь! – И тут же ринулся к ним, с трудом выгребая против течения, захлебываясь и выкрикивая: – А загорела-то, загорела... А?! Чистый негр! – Он дружелюбно ударил по плечу какого-то парня: – Скажи, да?

Несколько человек обернулось на Нинку, но спорить с Перелякиным на этот счет никто не стал.

Пожав локоть занятому вещами Володе, он больно толкнулся губами в лоб Нинке и тут же крепко шлепнул по спине державшегося за ее руку Борю: «Бориска, значит?!» – «Очень приятно», – покосился на него тот, прячась за Нинку. А Перелякин уже отбирал у Володи тележку с вещами. «Поберегись!» – крикнул он, заглушая объявление о только что приземлившемся самолете.

Чуть в стороне их ждал Михаил Борисович. Пока он о чем-то тихо расспрашивал сына, Нинка развернула к себе отчима.

– Ты мне скажешь, наконец, что со Славиком? – спросила она, чувствуя поднимавшееся в ней раздражение. – Долго еще будешь дурака валять?

Перелякин сник, мелко забегал глазами и, заполняя возникшую паузу, несколько раз сухо кашлянул.

– Ну?! – ткнула она его кулаком в бок.

– Видишь, какое дело... – наконец, жалко замямлил он. – Я, Нинок... колеса возле Славика оставил, ну, и...

– Какие еще колеса? – похолодела она, напуганная его виноватым тоном.

– Материны, – понизил он голос. – Доктор прописал. – И, загородившись ладонью от стоявшего рядом Володи, еще тише прогундосил: – Матери-то из-за Славки уже приветы от Бельмондо приходить стали.

Наморщив лоб, Нинка долго с тревогой смотрела на отчима, но ни его многозначительные гримасы, ни таинственные подмигивания ничего для нее не прояснили.

– Вы что-нибудь понимаете? – обессилено повернулась она к Володе.

Тот пожал плечами:

– По всей видимости, мальчик проглотил какие-то таблетки.

– Ну, а я что говорю? – удивился Перелякин. – И я говорю, что проглотил. Теперь-то обошлось... вроде. – И, не выдержав Нинкиного взгляда, участливо засуетился: – Ты в туалет не хочешь сходить с дороги?

– В туалет?.. – гневно переспросила она. Пожевала губу и, уже сникая, грустно покачала головой: – Господи, ну прям фашист какой-то. Убить тебя, Перелякин, мало.

– Да мать уж грозилась, – сознался тот, опять берясь за тележку.

Нинка тяжело вздохнула, и они вышли из здания аэропорта под низкое осеннее небо.

Боря с отцом отправились домой на такси, а их на машине Михаила Борисовича Володя повез в больницу.

Нужное здание нашли не сразу. Только покружив по узким, без названий переулкам, подъехали, наконец, к забранному в строительные леса трехэтажному больничному корпусу.

– Здесь, – уверенно сказал Перелякин. – Я же говорил, что правильно едем. – И повернулся к Нинке: – Ты уж сама иди. Я тут позавчера поскандалил маленько.

Она с трудом открыла тугую дверь и, миновав пахнущий краской тамбур, оказалась в довольно просторном помещении без окон, освещенном блеклым светом заляпанной побелкой люстры. В вестибюле не было ни души. «У кого бы спросить?» – подумала Нинка. Она заглянула за невысокую перегородку, где между пустых металлических вешалок лежали мешки с цементом, и вздрогнула от неожиданности, увидев в полутемном углу мать. Валентина сидела на детском деревянном стульчике за крохотным, раскрашенным под хохлому столом и, отрешенно глядя в стенку перед собой, пила из блюдечка чай. Рядом, на батарее стоял их старый пластмассовый термос и запотевшая стеклянная банка с какой-то едой.

– Мама, – тихо позвала Нинка.

Та равнодушно взглянула на дочь, отвернулась, подержала около рта блюдце и вдруг дернулась, забила по низкой столешнице коленками; выбираясь, заахала:

– Доченька!.. Приехала... – Раскинув руки, потянулась к Нинке через перегородку: – Слава Богу! – Она прижалась к ней лицом и уже хотела заплакать, но, внезапно насторожилась: – А отец, отец-то где? – И, узнав, что Перелякин остался в машине, воспаленно задышала в ухо: – Ты уж особо не ругай его, доченька, не надо, он ведь давеча чуть не повесился, ирод.

– О, Господи! – только и смогла сказать на это Нинка. Заметив у матери перевязанный разлохмаченным бинтом палец, тоскливо вздохнула: – Ты что, порезалась?

– Пустяки, – подтянула та зубами грязный узел. – Я ведь тут полы попросилась мыть, чтобы это... ну... за Славиком приглядывать.

– Как он?

– Ничего, обошлось вроде, – ответила мать словами Перелякина и, выйдя из-за перегородки, поманила Нинку к лестнице: – Пойдем, покажу его. Только сон у них по расписанию.

У дверей второго этажа им взглядом преградил путь пожилой охранник.

– Дочка, – кивнула на Нинку мать. Тот разрешающе кашлянул и опять уткнулся в газету.

В коридоре было пустынно и тихо, но, стоило им сделать несколько шагов, как где-то призывно захныкал ребенок; замолк, видимо прислушиваясь, и, отгоняя от себя чужую, равнодушную тишину, устало затянул на одной ноте: «Ми-и-и...» «Действительно, ми », – удивилась музыкальная Нинка, а тот со всхлипом втянул в себя воздух и перешел на чистую кварту выше: «Ля-а-а... – и опять: – Ми-и-и – и вверх на три тона: – Ля-а-а...»

– Яша из первой палаты, – уверенно пояснила мать. – Артисткин сын.

Они подошли к одному из внутренних, выходящих в коридор окон с густо закрашенными до уровня человеческого роста квадратами обрешетки, и Нинка, привстав на цыпочки, заглянула внутрь. Ее взору открылась маленькая комнатушка с тремя детскими кроватками, погруженная в сумрак плотно задернутого шторами дня.

– Не вижу, – вздохнула она. – Темно там.

– Ты налево, налево смотри, – зашептала мать, – за умывальником.

И действительно, в углу Нинка заметила какое-то движение. Ей даже показалось, что она узнала детскую ручку, теребящую кроватную сетку.

– Не спит. Почему он не спит?

– Тебя ждет, – вздохнула мать.

И в это время за их спинами кто-то тихо, но устрашающе спросил:

– Какого черта здесь происходит?!

Они разом обернулись, и Нинка увидела огромного, почти квадратного человека в белом халате, который сурово смотрел на них чуть проклюнувшимися семенами глаз на широком азиатском лице. В руке он держал тонкий, наполовину сточенный кухонный нож. «Повар», – первое, что пришло в голову Нинке.

– Я тут полы у вас мою, – торопливо и умоляюще заговорила мать, по большой дуге оттесняя дочь к выходу. – Перелякина моя фамилия.

– Перелякина? – переспросил он, с трудом сводя глазки к переносице. – Ну-ну. – И, сразу забыв о них, толкнулся в какую-то дверь, застучал по ней рукояткой ножа: – Опять курите? Всех поубиваю к чертовой бабушке!

«Сумасшедший!» – наконец-то поняла Нинка.

– Главврач, – разъяснила мать, когда он отошел. – Доктор Ли зовут. Страсть, какой толковый.

Толстяк, бубня под нос угрозы, скрылся за стеклянной перегородкой в конце коридора, а из двери, куда он только что пытался войти, выскочили две молоденькие сестрички. Торопливо разделив пластинку жвачки, они сунули по половинке в рот и разлетелись в разные стороны.

– Знаешь что, – вдруг сказала Нинка, – подожди-ка меня здесь. – И, прежде чем мать успела ответить, пошла за доктором, громко стуча от своей решительности каблуками.

В приемной главврача на полу были сложены рулоны линолеума, связки паркета, плитка, а на месте секретаря прямо на его кресле, бесстыдно раскинув лапы, на спине спал кот. Нинка энергично зашлепала ладонью по тугой кожаной двери, одновременно читая приколотую тут же записку: «Не входить!!! Идет операция!», и сразу услышала, как в кабинете что-то звонко упало на пол. «Нож, – догадалась она, и еще раз взглянула на записку: – Бред какой-то». Послышались раздраженные щелчки ключа, дверь до предела распахнулась, и, заполнив собой весь проем так, что не осталось даже щелки, чтобы заглянуть внутрь, доктор Ли без интереса спросил:

– Кого еще черт принес?

– Меня, – ответила Нинка, сглотнув слюну.

– Тогда проходите, – рыкнул он и повернулся к ней своей широченной спиной, расчерченной крахмальными складками на детские классики.

Кабинет оказался совсем небольшим, и массивный, заваленный всякой всячиной стол занимал едва ли не половину его тесного пространства. В простенке между окнами стоял старенький шкаф, все полки которого были заставлены игрушками, а на стене за спиной главврача висел его огромный портрет, где доктор Ли был изображен сидящим в маленьком пластмассовом кресле, с притаившимся под ним детским эмалированным горшком.

– Ну? – угрожающе сказал доктор Ли, когда Нинка по его жесту села на один из стоявших вдоль стены стульев.

– Я к вам насчет Славика... – начала она.

– Славика?.. – с усилием свел он и опять разбросал крохотные глазки.

– Ну да, Перелякина... Вячеслава.

Нетерпеливо постукивая пальцами по ручке кресла, тот набрал на телефоне несколько цифр и сразу закричал в трубку:

– Зина?! Где вас там черти носят? Найдите мне историю болезни Перелякина. Живо, я сказал! – Положил трубку и пробурчал: – Понаберут пенсионеров...

Только сейчас Нинка заметила на его столе прикрытые газетой ломтики вареной колбасы и ощутила щекочущий запах свежих огурцов. Рядом с массивным пресс-папье лежал уже знакомый ей нож.

Послышались торопливые шаги, и в кабинет ворвалась, по-видимому, та самая Зина, которую неизвестно где носили черти. На вид ей было не больше двадцати. Она молча подскочила к столу и, порывшись в бесчисленных папках, разложенных на столе главврача, сунула одну из них ему под нос.

– А это что? – язвительно поинтересовалась она. – Вы же сами велели все истории сложить на время ремонта у вас.

– Да? – недоверчиво спросил доктор Ли, открывая тонкую картонку, и отмахнулся от Зины, как от мухи: – Иди, иди, я тебя потом в кино, что ли, свожу или еще куда.

– Как же, дождешься от вас, – довольно проворчала она, прикрывая за собой дверь.

– Так... – сказал доктор, вчитываясь в жидкие листочки. – Ребенок поступил к нам с медикаментозным отравлением. Угу... Угу... В настоящее время состояние больного удовлетворительное.

Да... Но, спешить пока с выпиской не будем. Кто его ведет-то у нас? – взглянул он на обложку. – Ираида Сергеевна. Ну, что ж, опытный врач... Или у вас есть какие-нибудь претензии?

– Нет, – покачала она головой, широко бегая взглядом от одного его глаза к другому.

– Угу, – опять сказал доктор и перевернул листок. Минуты две он читал молча, потом, не поднимая головы, спросил: – Вы ему кем приходитесь?

– Сестрой, – ответила Нинка глухо.

Он еще раз пролистал историю болезни, закрыл папку и, тяжело поднявшись со своего места, подошел к ней.

– Что я могу сказать?.. Вы же все и так знаете... – произнес он тихо, и вдруг крикнул на скрип приоткрывшейся двери: – Какого черта?! – В кабинет заглянул кот. – Потом, потом, – сказал ему доктор Ли и прикрыл дверь. Сел рядом с Нинкой: – Тебя как зовут?

– Нина.

– О, – обрадовался он, – мою жену тоже Ниной зовут, и совсем другим тоном добавил: – Она у меня сильно в Бога верит.

Нинка задумалась, а доктор Ли опять встал и отошел к окну.

– А вы? – наконец спросила она его в спину.

– Что?

– Верите в Бога?

Он нехотя повернулся и взмахнул раскрытыми ладонями:

– Я просто знаю, что операция необходима.

– Ну, так делайте, – зло сморщилась Нинка.

Доктор стоял у окна и молчал. Она поднялась со стула, и в это время зазвонил телефон.

– Говорите, пожалуйста, – сказал он в трубку. – Да, это я... А что с голосом?.. Нет, нет, ничего не случилось...

В коридоре уже ощущалась суета – пришло время посещения больных: по лестнице, шурша надетыми на ноги пакетами, торопливо поднимались родители; нянечка везла на тележке большую кастрюлю с яблоками и пачки печенья; куда-то прошла Зина, неся в коробке маленькие, заткнутые комочками ваты белые бутылочки.

В одной из палат Нинка увидела крупного, головастого мальчишку, который стоял в углу закрытой боковинками кровати и, неотрывно глядя в проем распахнутой двери, знакомо из последних сил тянул: «Ми-и-и – ля-а-а...» – «Яша» – вспомнила она. И в этот момент высокая, рыжеволосая женщина, едва не сбив Нинку с ног, кинулась к нему из коридора, задыхаясь и возбужденно повторяя: «Здесь твоя Мила. Пришла твоя Мила. – Тот радостно завизжал, нетерпеливо запрыгал по подушке, а она, перегнувшись через сетку и слегка подогнув колени, уже совала ему вынутую набегу грудь: – Вот я, вот». Яша промахнулся, громко чмокнул губами впустую, но тут же нащупал теплую струйку и довольно заурчал, успокаиваясь.

Мать издалека махала Нинке рукой:

– Иди, иди, я уже покормила его. – Сама же подхватила ведро с водой и поспешила куда-то вниз по лестнице.

В палате, как оказалось, были заняты только две кроватки. Возле одной сидела похожая на бабу-Ягу старуха с большой бородавкой на носу и кормила чем-то домашним сидящую у нее на коленях толстую девочку.

– Здравствуйте, – сказала Нинка, и сразу увидела, как на дальней кроватке заворочался, забил ладошкой по сетке Славик.

Она подхватила его на руки, но почувствовала, что голова начинает кружиться и осторожно села на стоявший тут же стул. Нинке хотелось взглянуть на Славика, но тот залез лицом к ней за воротник и, слюняво уткнувшись в шею, затих. Так они сидели довольно долго. Заскочила на минуту, и опять ушла куда-то мать. Старуха закончила кормить внучку, и теперь наизусть читала ей сказку:

«...Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном...»

Читала она с большим чувством, устрашающе завывая и раскачиваясь в такт гробу с бедной царевной.

Нинке стало тоскливо. Она тихонько отняла от себя безвольное тельце Славика и только теперь поняла, что он крепко спит.

В ту же ночь Нинке приснился сон. И ведь начинался-то он как славно: только закрыла она глаза, кровать колыхнулась под ней детской люлькой, закачалась – шире, шире, и вот уже не кровать это, да и не люлька под сонной материнской рукой, а самые настоящие качели, размашистые, на длинных, тугих цепях. Стремительно летит на них Нинка, аж дух захватывает. Вперед летит – ноги в струнку вытянуты, прямая спина откинута – кажется, вот-вот коснется мысочками упругих облаков... Но нет, замерли качели на мгновенье, и вниз, вниз, и тогда – ноги под себя, голову вперед к коленям – ух! – сердце прямо у горла колотится. И зачем она решила тогда вниз посмотреть? Посмотрела и обмерла: вовсе не качели под ней оказались, а – представить себе страшно – гроб хрустальный на тех цепях качается. Так мало того, еще и разглядела Нинка в гробу себя: лицо белое, будто мукой обсыпано, вокруг головы – цветы из вощеной бумаги, а в руке – яйцо пасхальное. И страшно ей стало, и немного сладостно от печальной красоты своей. Тут заскрипели хрустальные петли несмазанные – кто-то гроб открыл, оживить Нинку хочет. Затаилась она пуще прежнего, дышать не дышит, но одним глазком все-таки подглядывает. А тот, кто крышку приподнял, уже наклонился к ней с поцелуем, и от его дыхания мучная бледность с Нинкиного лица разлетается. «Уйди, Борька! – не выдержала она. – Уйди! Кому говорю?! Не для тебя я тут умерла». – И даже ногой дернула, чтобы, значит, не цапал. Исчез Борис, а на его месте Перелякин появился. Глядит на Нинку виновато, а в руках два колеса автомобильных держит. «Ну, а ему-то чего здесь надо?» – недовольно думает Нинка. А тот взгромоздил свою ношу на гроб, и, даже не спросив, шпрехен ли Нинка дойч, шустро так по-немецки лопочет: «Ихь бин фашист, убить меня мало». Но вот и Перелякин исчез со своими колесами, а на его месте уже мать оказалась. Платье на ней голубое, с отложным воротничком, а сама по телефону с Бельмондо разговаривает. Прислушалась Нинка, и опять удивилась: «Это где же мать по-французски так навострилась?» А та глазки томно потупила и воркует в трубку: «Пардон, Жан Поль, какие могут быть лямуры, когда у меня посуда еще немытая, и из профкома могут позвонить? Так что, атанде, мон шер, как говорится». Бросила трубку и пошла на кухню посудой греметь. Тесно лежать Нинке в гробу: коленки в крышку упираются, к голове кровь приливает, да внизу живота еще что-то давит... Но вот, чу! опять идет кто-то. «Он! – забилось у нее сердечко. – Мил дружок мой ненаглядный пришел меня вызволять!» Глядь, и впрямь Андреас к ней подходит, открывает тяжелую крышку... «Поцелуй же меня скорей, – шепчет Нинка. – Я ведь от тоски по тебе умерла»... Но, стоило Андреасу наклониться, чтобы в уста ее сахарные поцеловать, услышала Нинка, как тревожно заплакал где-то Славик. И в тот же миг потемнело вокруг, злой ветер закачал верхушки деревьев, грянул гром, а из черной, низкой тучи упал камнем пеликан Савва. Свистнул он губной гармошкой, подхватил Андреаса клювом, как сачком, взмахнул крыльями, да и был таков. Только его и видели...

Нинка села на кровати и с трудом нащупала ногами тапочки. А в дверь уже заглядывала мать.

– Ты вроде как кричала. Приснилось что?

Нинка прошла мимо нее в коридор, включила в туалете свет и только тогда повернулась к матери:

– Нет, мам, ничего мне не приснилось.

Следующий день был субботним, и завтракать сели поздно. Перелякин попытался расспрашивать Нинку о Кипре, но, быстро поняв, что сегодня она разговаривать не расположена, уткнулся в недельной давности газету. Молчала и мать. Она первой встала из-за стола и стала заливать в термос кипяток, собираясь в больницу.

– Ну, что они насчет Славика говорят? – вдруг задала вопрос Нинка.

Мать сразу поняла, кого дочь имеет в виду, но с нарочитой рассеянностью все-таки спросила:

– Кто?

– Анна Леопольдовна.

Кипяток брызнул матери на пальцы, и она, морщась, замахала рукой:

– Ах, эти... Да ну их, Нин... Несут невесть что.

– Ты про кого это? – оторвался от газеты Перелякин.

Валентина зло зыркнула в его сторону:

– А ты читаешь, и читай!

– Успокойся, мам, – ровным голосом попросила Нинка.

Та заткнула термос пробкой и, не поднимая глаз, быстро вышла в прихожую за сумкой.

Перелякин толкнул Нинку в бок:

– Нинок, об чем базар-то?

Но в кухню уже с решительным лицом входила мать:

– В общем, они поставили условие... насчет Бори. – Ее щеки стали покрываться пятнами. – Пусть, говорят, Нина решает. Как она скажет, так и будет.

– А чего решать? – улыбнулась Нинка. – Я уже решила.

– Нина! – зажав ладонью рот, вскрикнула мать.

– Да-да, я выйду за него замуж.

– Та-ак! – недобро протянул прислушивавшийся к разговору Перелякин. – Вот вы, значит, о чем... – Он поднял глаза на Валентину: – А все ты, небось?!

– Конечно! А то кто же?! – истерично закричала та. – Она ведь не твоя дочь!.. Ты-то здесь и вовсе ни при чем!.. Здорового ребенка сделать не мог!.. Сидит тут... блатняшка чертов!

– Цыц! – стукнул по столу Перелякин. Мать сразу испуганно замолчала, а он повернулся к Нинке, и вид его, жалкий, растерянный, поразил ее. – Нинок, – проговорил Перелякин тихо, – чего она на меня басит? Разве ж я фраер какой? Ну, погляди хорошенько. Или мне Славка тебя роднее? У меня ж кроме вас... – Он вдруг захлюпал носом, заморгал. – Как же мы жить будем?

– А вот так и будем, – спокойно сказала Нинка и вдруг шутливо толкнула отчима в плечо: – Эй, Перелякин, ты хотел бы съездить на Кипр?

Мать, схватив полотенце, уткнулась в него лицом и тихо завыла.

Герман ВЛАСОВ

Букет

* * *

манежа окна слуховые
в нескучном брошенный букет
я не жил здесь в сороковые
как нумизмат гляжу на свет

хочу нащупать эту ноту
немое посмотреть кино
так гладят темную банкноту
изъятую уже давно

и если время гул случайный
грязь от армейских колесниц
пускай мне выпадет опальный
расплющенный между страниц

истории цветок сирени
и долгий завершая путь
всей тяжестью стихотворений
шагнет на грудь

* * *

эту в легких невесомость
зябкий этот пух в горсти
эту детскую веселость
словом не перевести

может музыка таиться
как забывчивый мотив
так охотника боится
иволга во власти ив

так материя не знает
царства ножниц и иглы

Герман ВЛАСОВ родился в Москве в 1966 году. Закончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает переводчиком. Публиковался как поэт в журналах «Дети Ра», «Знамя», «Крещатик», «Континент», «Новый Берег»; как переводчик – в журнале «Иностранная литература» и Антологии Современной узбекской поэзии «Анор». Автор поэтических сборников «1 1/2» (М.: Культурный фонд, 1998), «Второе утро» (М.: Эра, 2003), «Просто лирика» (М.: Из-во Руслана Элинина, 2006), с которой вошел в шорт-лист Бунинской премии. Дипломант Международного литературного Волошинского конкурса (2007).

и пространство огибает
пряча острые углы

мы одни нам вместе спится
снится баюшки-баю
ворожея мастерица
у природы на краю

белый сон укутал реку
царство высохших хвощей
сон простого человека
весь словарь его вещей

* * *

не нравится когда не протолкнуться
кругом бензина вонь воротнички
зачем они к баранке потной жмутся
на красный черно-белые бычки

кто их на воздух вынул из коробки
погнал из леса в город как в прогал
потом обратно где у речки робки
малиновки заслыша мадригал

мне с ними никогда не быть на пару
но я боюсь их встретить на пути
их голоса блатные и гитару
притворное в черемухе пусти

зачем они и я зачем о лишнем
и почему забывчив как адам
и этот снег нечаянно налипший
к чужому счастью будто к проводам

* * *

в какой-нибудь мариуполь
где туча глядит совой
луна освещает тополь
бессменный как часовой

под лампой забиться в угол
к стеклу прислониться лбом
о этот крахмал и уголь
в вагоне почти любом

ледышку в окне царапать
стоять за крутой водой
в какой-нибудь мценск сарапул
саратов на край худой

уехать почти не глядя
собраться в один присест
простой перемены ради
знакомых работы мест

* * *

ничего что ворчал на префекта
и на людях заметно хромал
просто не было в метрике метра
я был мал ты был мал мы был мал

а зато от брокгауза карта
скрипачей сквозняков этажи
и уколом прямого азарта
многолюдных испаний стрижи

вот и классно и сделай им больно
раззуди тайно флюгера жесть
все равно будет мрия довольна
и чудес от распятого шесть

и опять ждут тугие коробки
днепр замерзший без газа харон
да и незачем быть таким робким
я паром ты паром мы паром

* * *

оранжевый ангел сутулый
над городом горьким завис
его загорелые скулы
ранетом лесным налились

он поднят с кровати метелью
ученый морщинистый грек
но девочкой над акварелью
он крестит немыслимый снег

в кармане бечевка и ластик
простывшего времени гул
и смысла речной головастик
в его троеперстье скользнул

он водит метлой колонковой
и окна пускает в тираж
и ставит на крышах подковы
свинцовый его карандаш

* * *

в х/б ровесник угловатый
сергей какой-нибудь молчков
на кукиш рядовой зарплаты
уставь диоптрии очков

на стены розовой побелки
направь движение души
и почерком коряво-мелким
высказыванье напиши

затем изобрази барханы
колючку вышки вертолет
себя в панаме караваны
звезды оборванный полет

горниста хриплую волынку
и будто приговор судьбе
поспешно застегнув ширинку
две цифры после дмб

(букет)

хорошо бы какую посуду
на шкафу если встать на кровать
красоту принесли отовсюду
и не жалко ее обрывать

вот лохматое пламя сирени
одуванчики бронзой монет
незабудок теснят акварели
собирают на кухне букет

колокольчик герань луговая
лютик майника скошенный рот
и не страшно когда грозовая
на поселок армада плывет

хорошо что из разных названий
луговые растенья в воде
отменяют язык расстояний
значит места не будет беде

и наверное будет не страшно
если к ужину сослепу вдруг
с затаенной обидой вчерашней
в окна майский ударится жук

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

Углы обзора

Подспудно я всегда хотел сбежать. Вероятно, с самого детства. Размытые стекла, пыль в солнечном воздухе. Наверное, все же не с самого детства. Там какое-то подобие быта: еженедельная уборка в квартире, относительно молодая и бодрая мама, то злая, то добрая – волны наследственности постепенно подкатывали. Минимум мебели и вещей, среди которых порядок держался не последним раненым бойцом на передовой, а образцовым, бравым выкормышем царской суворовской школы. Были блины. Ребенок с повышенной кислотностью и болезнью печени, мамой, правда, всегда преувеличиваемой, мог съесть не больше трех-четырех, но радость от присутствия при процессе приготовления помню ярко. Блинный замес, жижица плавно течет на сковороду, обильно смазанную маслом, даже политую – именно так, иначе пригорит. Были воскресные гулянья. Был самокат. Были шашки и шахматы. Были «видики» по рублю, с высоко прыгающими мастерами единоборств. Была школа с парой друзей и парой-тройкой любимых учительниц. Было всегдашнее ощущение, что чего-то недостает. Идеальный быт я вижу в домашних запахах, теплом фартуке готовящего, гостевых традициях, улыбках и общей пригожести дома. У нас был грустный быт. Но немного был. Очень скоро его не стало. Мама помалу улеглась на диван и с невероятной ленцой вставала с него, чтобы сделать необходимейшие дела, без которых жизнь вовсе бы замерла. Грустный быт это не копящаяся пыль или недостаток еды, хотя это тоже было. Грустный быт это общее затемнение жизни. Это скрип половиц, в момент, когда ты и так уже загрустил. Это физически наблюдаемое замедление жизненных процессов. Потом время полетело, убыстряясь, и особенно ужасало то, что темный фон не сменяется хотя бы мельканьем.

Подспудно я всегда хотел сбежать. И сбегал – локально, местно. Моим набегам подвергались семьи друзей, где, слава богу, ко мне были милостивы, и я вволю засиживался в их мире, мире благоденствия, как мне тогда казалось. И вправду. Дома я ругался с мамой, в основном, по внешне незначительным поводам, которые, однако, мне были очень важны – я отчаянно не хотел, чтобы утлая ладья нашей квартиры сползала в пропасть отчаяния. В гостях были друзья, их улыбчивые и хлебосольные родители и их гости, там был необходимый отрочеству шум, какого дома я не имел. Позже сам приносил домой, к неудовольствию домашних, этот необходимый мне шум в виде странной, резкой и сложноорганизованной музыки. Домашние – это мама.

Еще я хотел сбежать к отцу. В моем сознании того времени Челябинск, отец, его окружение и местоположение представлялись неким объемным полусказочным королевством, внутри которого можно все, в котором тебе легко и свободно живется, и можно не думать о голодающих примерно в это же время африканских неграх. Внутри королевства было множество областей с сияющими навстречу тебе улыбкой родственниками. Было много загородных дач. Сейчас мне хочется их вспоминать, как, наверное, вспоминали свои дачи буниноподобные эмигранты первой волны – с беседками, верандами, купальными кабинами и барышнями, бродившими среди акаций, закрываясь от солнца зонтиком. Были интереснейшие книжки, взрослые и детские, взрослые – больше. Был букулёр, который делал папа – очень насыщенный бульон с огромным количеством вкусного мяса. Были почти ежедневные весело проводящие время компании дома. На даче обычно чаевничали допоздна, выпивая по шесть-восемь кружек вкуснейшего чая. Особенный вкус его достигался благодаря добавлению к заварке листочков с кустов смородины, за которыми я тихонько ходил на охоту в соседние заросли второй половины нашего дома, занимаемой председателем облисполкома, будущим губернатором Петром Суминым. Был маленький

Алексей ЧЕРЕПАНОВ родился в 1976 году в Перми. Учился на филологическом факультете Пермского государственного университета, окончил в 2001 году. Печатался в факультетском сборнике «Острова одиночества мысли» (2006), журналах «Университет» (2008), «Компаньон» (2008). Участвовал в заседаниях студии прозы «Подиум».

кинотеатр, сопряженный со столовой на втором и третьем этажах, развевающиеся портьеры у открытых балконов, дружелюбные буфетчицы, вкусные лимонады и мороженое, была наружная каменная лесенка, ведшая прямо на крышу, где можно было играть и загорать. Но туда никто не ходил, кроме меня, и еще долго казалось, что нагретый солнцем гудрон, которым была залита крыша, и в котором я оставлял маленькие свои следы – это только мое достояние, подчеркнутое моим единоличным присутствием на уровне четвертого этажа.

* * *

Текущий год начался как-то по-дурацки, впрочем, эта характеристика вполне в духе того, как промелькнул ушедший. Высвечено было немало деталей, до того намеренно мною задвинутых в угол для забытья. Свет на них упал, можно сказать, внезапно, – думалось, арлекины-представители этих прозрачных предметов уже смирились со своей участью остаться в прошлом. Но нет, сейчас они возвратились в настоящее, и стоят, нависая надо мной, от этих теней трудно дышать. И не только от них. Несмотря на всю, почти неподъемную силу эмоций весны прошлого года, я, тем не менее, знал – дышать не перестану, знал это на некоем неосязаемом информационном уровне, уровне из тех, какие называю «внечеловеческими». Сейчас я полон другим знанием – свобода выпрастывается из-под моих пальцев напряженным потоком, но я сдерживаю ее, загребаю обратно, обнимаю, прижимаю к себе, создаю вокруг себя поле, не дающее уйти. Всегда нуждаясь в свободе, принося на ее алтарь немало даров и заслуженно пользуясь результатами – я в последние пару лет ощутил вовсе не насыщенность, но все возрастающую потребность в ней. Сейчас она мыслится мною как свобода пилигрима – летящего куда хочет. Ключевое слово моего состояния – «неподвластность».

* * *

Так вот, к слову, после листочков смородины. Дача была не особо большая, но места в ней хватало даже многочисленным компаниям. Заросли каких-то колючих кустов, узкая тропка меж ними, усыпанная камушками, по ним больно ходить босиком – острые. Небольшое крыльцо с лесенкой, у двери хорошо стоять под навесом и смотреть в дождь. За дверью – что-то вроде прихожей, с диваном, креслом и телевизором. Окна во всю стену. Еще две комнаты, большая и малая. Где-то под полом есть сверчок, не дает спать, и дядя Толя греет воду и льет кипяток в щели у стенки. Сверчок живучий. Кухня маленькая, но туда набивается много народа, пьют кто чай, кто вино, курят в открытое в ночь окно. Папа не курит. Папа очень сильно курил в армии, потом бросил. Сейчас разгар перестройки. 1988. В моде значки с надписями про гласность и ускорение. Мне 11 лет, через год где-то на Земле родится Ася, но я пока ничего не знаю об этом, на мне шорты и цветастая широкая рубаха, я очень люблю отца, вижу его по моим меркам мало – только на летних и зимних каникулах. Поздний вечер, кухня, отцовские друзья, хмельной и счастливый папа обнимает меня своей огромной лапищей, и значок «перестройка», приколотый к рубахе, больно вонзается иглой в кожу. Но мне все равно. Я улыбаюсь и прижимаюсь к отцу. Фиксированный момент счастья, пришпиленный навсегда к памяти. Еще одна бабочка в энтомологическую коллекцию Мнемозины.

Вместе с этим значком в паре почему-то вспоминается еще такое. Когда я впервые приехал к отцу после его миграции из Перми в Челябинск, предстояло познакомиться с Галиной Лазаревной – его тамошней спутницей жизни, а затем и женой. То была противоречивая, любящая веселиться женщина, любительница попеть народные песни в кругу товарищей. У нее была какая-то природная неприязнь к «непростым» людям и подчеркнутое противопоставление их сложности – своей, якобы глубинной, деревенской простоте, которая сводилась к пересказам «а вот у меня мама...» и прочим народным мудростям. Если некая вещь была хотя бы чуть иррациональна, у Г.Л. сразу срабатывал эффект непонимания и неприятия. Еще она была невероятно, патологически экономна и запаслива, что на деле местами превращалось в скаредство, приводившее к порче многих «запасенных» продуктов. При всем том она была работяща, к старости несла бремя ухода

за моим немощным отцом и принимала деятельное участие в судьбе подруг детства, ломанных-переломанных жизнью. При первой встрече она подарила мне, ребенку, довольно забавный сувенир. Насколько помню, основу его составлял мультяшный тандем «волк-заяц», то ли это было нарисовано на дощечке, то ли звери были кукольными, не помню. К руке одного из них была приделана открывалка с круглой резиновой заглушкой, которой надо было закрывать открытое, чтобы не выдыхалось. Подарок заинтересовал, но оставил в недоумении, и я спросил, что же мне с этим делать, тетя Галя ответила – «ну, будешь минералку открывать, лимонад». Как ни странно, вещь эта не потерялась и по сей день, вот уже много лет я открываю ею пиво, если изредка пью его дома.

* * *

Амплитуда движения маятника, на который, так случилось, намотаны мои нервы, в последние два года была особенно широка. В местах потолще – натягивалось, расшатывалось, отдельные нити лопались, но иллюзорная целостность оставалась – для большинства окружающих я оставался тот же, что был. Натяг касался основ самого существования, присутствия на земле, и, хоть я и пробовал на прочность свое бытие в минуты особенно острого предощущения пустотности последующей жизни, изнуренные моим постоянным нахождением «в садах других возможностей» ангелы-хранители все же делали еще одно героическое усилие – и я оставался побыть немного еще. Остальные раздерганные места нервных узлов были более тонки, они рвались – и вслед им отказывали внешние приметы жизни. Рвалась социализация, логические связи между мыслями и поступками, связи внутри поступков и внутри мыслей, с прогрессией росли недоумения и неумения, не хотелось ни спать, ни есть, ни пить. Однажды весной мы были с Асей в гостях у общего друга, атмосфера была приглушенная, мы не бесились, не шумели и не орали песни, как это бывало в другие дни, когда наш круг был шире, тихонько сидели и смотрели фильм, пили вино. Фильм назывался «Русалка», нет особого смысла пересказывать его содержание, упоминаю для того, чтобы передать одну вещь из сюжета. Молодой человек, в которого, как водится, влюблена героиня, был очень состоятелен, шикарная квартира, деньги практически не считает, но абсолютно на них не зациклен, работает в некой медиа-группе, шоу-бизнес, совещания, модные костюмы, галстуки, вечерние тусовки в дорогих клубах. Днем все в порядке, он решает вопросы, встречается с людьми, вечером – проводит время в клубах, где обязательно почти каждый день немало выпивает. Так вот, когда градус достигает критической для него степени, начинается экзистенция – ему необходимо что-то решить с собой. На поверхность поднимается то, что в течение дня замалчивалось, утрамбовывалось внутрь, вся неспокойная душевная начинка, тотальное разочарование жизнью, все швы наружу. И он идет по ночному городу в поисках смерти – ступает в потоки машин, прыгает с моста, его пока хранит небо, машины разъезжаются, из воды его чудом спасает та девушка. На следующий день все начинается снова – утро, душ, сигареты, кофе, работа, блеск шикарных офисов, совещания, деловые обеды и вновь близится вечер. Я подробно рассказал эту ситуацию потому, что узнал себя в той самой, почти нескончаемой экзистенции.

* * *

Светлоголовый мальчик в светлом костюме, десятый класс. Серьезные глаза, очень озорной, худенький, симпатичный, чистый, начитанный. Обычный ход на выпускном письменном по литературе – выбор свободной темы, сочинение по любимой книге. Любимая книга – «Путешествие дилетантов». Длинное, от души, со всеми запятыми, сочинение, в котором со всех углов обзора рассмотрены все главные герои, оценка «отлично». Книгу прочитал в 15 лет, у отца, когда гостил у него на летних каникулах, проникся, потрясло, и выпросил, чтобы забрать с собой в Пермь. Книжка вся испещрена галочками на полях, огромное количество подчеркнутых строк и целых абзацев, многие мальчик помнит наизусть. Две детали. В конце книги, карандашом, его рукой написано: «вот это любовь!» В конце сочинения он написал – «я хочу, чтобы меня в жизни постигло такое же чувство». Ну и ясно ведь, господа, что это рассвет жизни, и ангелы с чертями

не могли остаться равнодушными к желанию, которое, к тому же, было не вполне определенным – раздолье для вариантов трактовки. И мальчику на всю жизнь выпал странный жребий – жребий и Мятлева и Ладимировского сразу.

* * *

Включить из маленьких колоночек – Рита отдала, спасибо, а то не на чем слушать на работе, – включить длинную эмбиентную композицию Моби, и вернуться на пять лет назад. Когда так же сидел на работе один, напротив Башни на Комсомольской площади, в музыкальном киоске «Гравицапа», тогда еще не поставили дверь, не сделали салон, и все внутреннее пространство было полностью моим. Было лето. К вечеру я покупал себе пару пива, садился у окошка, включал ту вещь Моби, очень объемно, расслабленно звучащую в улицу – это очень подходило к вечернему летнему городу, начинался легкий дождь. Блики, лужицы, ролики, улыбки, леденцы, парочки – над всем этим растекался удивительный и прекрасный атмосферный саунд – все это фиксировалось на камеру моего зрения, на кинокамеру в виде окошка, старомодный раструб, а иногда мне нравилось думать о себе как о режиссере и, одновременно, киномеханике, будто я транслирую эти картинки в мировой зал, и так было даже верней, поскольку творился не только монтаж аттракционов, но и наложение музыки, и, главное, лирического восприятия – как зрителей, то есть людей, шедших и смотрящих фильм, так и демиурга, то есть меня.

В то время длился период, когда я никого не любил, был в этом смысле спокоен и блаженен, меня мало что тревожило, только изредка призраки прошлого накатывали, но ненадолго. Я беззаботно жил, немного писал, ходил в кинотеатры, кафетерии, гости, проводил время на челябинских дачах, гулял на паре свадеб близких друзей и время от времени трахал ночами у себя в киоске молоденьких, летних и голоногих девиц под крутящуюся на пониженной громкости в телеке порнушку.

* * *

Лето. Летним утром на Нагорном, особенно когда идешь вдоль дома, который местные называют «китайская стена», возникает ощущение сонного курортного городка. Мне нужно идти до Ипподрома и сесть на дурацкий автобус №2 – иначе до Паркового не доехать, если хочешь сэкономить на пересадке. Сейчас он потащится до Стаханова, потом вернется на Гознак и только потом доберется до моей остановки «Пожарского». Но это ничего – у меня есть наушники и Lykke Li в плеере. Я улыбаюсь под Let it Fall, а во время Little Bit я позволяю себе вспомнить обстоятельства прошлого лета. Миловидная, строгая женщина-кондуктор светлеет лицом, когда в автобус входит девчушка-дочь. Усаживает на свое сиденье и о чем-то расспрашивает. Во взгляде – сложнейший концентрат чувств: забота и беспокойство, внимание, радость. Рядом со мной присела старушка в платочке. Она сидит так, будто ее вовсе нет, на краешке, очень собранно – вот это вот стариковское желание занимать как можно меньше пространства, «дорогу – молодым», готовность отступить. Спустя пару остановок она отсаживается подальше – видимо, испытав дискомфорт от музыки, громко играющей в моих наушниках. А я минутой раньше поймал ощущение, что мне хочется положить руки на поручень, уткнуться в них лицом, и думать о том, как это невыносимо – то, что люди стареют. Но ощущение проходит, в плеере продолжается жизнь, и Lykke Li своим очень нежным красивым голосом поет Dance. Dance. Dance. И я опять думаю про начало прошлого лета. Как сейчас помню. Если спошлить, то можно сказать избитую фразу «словно в замедленной съемке». Мне всегда было дело до романтики, ха. Ладно. Автобус №10. Лето. В моей жизни что-то многовато автобусов. Автобусов, лета, поездов и артефактов, относящихся к датам, как тема к реме. Остановка «Локомотивная». Я вхожу и встаю в центре, у окна. Это сейчас память намеренно замедляет действие, наделяет его значительностью; память знает все, что происходило и не происходило потом. А тогда – просто повернул голову и увидел летнюю ее. 7 июня. Асе очень идет быть летней, зимой она смешная, знает это и изо всех сил до самых холодов носит легкую одежду. Помню, на излете осени, шмыгая носом, отчаянно убеждала меня,

что совершенно не холодно и даже жарко, распахивала курточку и шейный платок, лицо при этом разгоралось румянцем простуды – она заболевала...

Она сняла наушники, встала с сиденья, подошла ко мне. Несколько слов, и ей выходить на «ДКЖ». Я смотрю вослед, улыбаюсь, и чувствую, что внутри, исподволь, робко и несмело, почти незаметно для общего состояния, начинают работать области, ответственные за сильное чувство, области, о существовании которых я забыл несколько лет назад. И я отчетливо знаю – мы совпали в пространстве не случайно, небу было нужно, чтобы было все, что происходило и не происходило потом.

* * *

Каждый раз, когда мне случается поставить, в наушниках или колонках, Aalien Pat Holman, альбом First Psychodelic Alims Action – те самые две композиции, которые крутились прошлым летом безостановочно, на repeat, пока я неделями лежал на кровати и смотрел в потолок, – сразу вновь возникает особенное ощущение в горле, что-то вроде чуть сдавленной сухости пополам с легкой анестезией. Такое ощущение – это привкус прошлого лета, когда я пил антидепрессанты, чего ранее не было никогда. Но даже тогда я еще не знал: будущий год порвет меня на куски, и те таблетки покажутся такой милой и невинной радостью.

* * *

Мы добрели до дома, было время прощаться. Последние полчаса я шел, не видя ничего и никого вокруг, максимально сконцентрировавшись на впитывании Асиной торопливой речи, ее забавных apartez, жестов, да и просто желая усвоить как можно больше из любимой огромной вселенной, плывущей рядом. Обняв ее, я несколько мгновений внимал запаху Асиных волос, потом мы улыбнулись друг другу, и она исчезла. Очнувшись, минут через пять я почему-то зашел в подъезд, поднялся наверх, посмотрел на дверь, за которой она жила, немного постоял и вновь спустился вниз. Следующее, что я увидел после выхода из подъезда – снег. Некоторые окна были освещены, и свет, как-то искоса, лениво падая оземь, высвечивал недвижимые квадраты снежной пыли. Еще он сочился из темноты над моей головой, сочился, ложился в квадраты, наполнял следы новым веществом. Следы мерцали под пучками света, и немногим позже исчезали, отмененные метелью. Я продумывал множество вариантов поведения и, памятуя о том, что всегда оступался, перебирал все ходы с особой тщательностью. У дома был вид разбомбленного сарая, он казался нежилым, снег вокруг в картину жизни не добавлял, и только мужик, неподалеку выгуливавший собаку, как-то очеловечивал все вокруг. Доставая непривычные для складок моей одежды сигареты и неумело закуривая, я думал об удивительном сочетании в Асе продуманной легкомысленности, что внутри семантики уже создавало внутренний диссонанс этого словосочетания, и той самой порывистости, импульсивности, которая, по логике, должна бы продуманность исключать. Еще мне вспомнился убийственно пронзительный рассказ Газданова «Вечер у Клэр», очень текучий, напоминающий одновременно уплывающую из рук серебряную нить и переливающийся лунный свет на мелких волнах у каменного берега набережной Камы. Та мучительная и прекрасная игра, более мучительная конечно, нежели прекрасная, каковой представлялись отношения героев, очень напоминала наш с Асей сюжет, не без поправки, правда, на время и неконтакт возраста. Итак, снег. Снег мне не нравился своей неубедительной обстоятельностью. Параллельно размышляя еще и об этом, я медленно шел в сторону проспекта Ленина, потом свернул вправо и, задумавшись, не заметил, как оказался уже на остановке Хохрякова, рядом с университетскими общагами и зашел в аптеку.

* * *

В моей жизни часто и во многих случаях происходило так, что я платил наивысшую цену за то, что другим доставалось даром. Сейчас думаю – это одна из особенностей моей натуры – я хо-

тел дорого платить за дорогое для меня. Я лил кровь, рассыпал мешки с рубинами, силой мысли изменял окружающие ландшафты, мне нужно было все здесь и сейчас и навсегда. Поэтому гармонии не было, сквозь пальцы утекал песок взаимоотношений. Мне искренне желалось как-то нивелировать это обостренное чутье жизни, искренне хотелось научиться обыгрывать мир изнутри него самого, но попытки выхода отчего-то были не менее болезненны, получалось как в одном из старых текстов – «давай-ка исподволь все разорвем, разнесем, да так, чтобы не осталось ничего, кроме слов любви». Мне была нужна предельная, искренняя честность, очищенная от плевел поверхностного. Действительность отвечала – «так не живут». Я делами доказывал, что простые радости мне тоже не чужды, и за сложностью достаточно хорошей, наивно-улыбчивой простоты и легкости, но при этом не желал расстаться с глубиной, в то время как любимые люди, однажды заглянувшие в мою бездну, не решались идти рядом, боясь не соответствовать. Мои любимые не могли понять главного – стоило им ответить – и бездна мгновенно схлопнулась бы до точки на горизонте, до той точки, которая была необходима для творчества, не больше, а сложность и глубина обернулись бы своими умиротворенными сторонами.

* * *

Не помню, быстро ли приехала «Скорая», вроде бы недолго была в пути. Я лежал в забытьи, временами чуть выныривая сознанием на поверхность. Поначалу были какие-то уколы, несколько, три или четыре. Несмотря, что доктор был опытный, после капельницы и уколов на сгибе правой руки у меня осталось темное месиво вместо кожи – синяк, скоро, впрочем, дней через десять, прошедший. Видимо, врач торопился и потому не попадал сразу в вену. Мучительная процедура промывания желудка. Забавно, что они связали мне руки за спиной, так принято, чтобы исключить невольное сопротивление, но это было лишним, двигаться я почти не мог, и только остервенело отплевывался от трубки, к явному неудовольствию молодого доктора, сидевшего рядом напротив, литрами лившего в меня воду. Интересное ощущение – страшнейшая слабость, тело будто не твое, безвольное, несильное, и голос не свой. «Лееша, у тебя голос стал как у девочки» – сказала Рита, когда они с Денисом приезжали ко мне в больницу. Не знаю, отчего – от трубок ли, или съеденных таблеток, или еще от чего. В приемном покое за полночи прокапали еще девять или двенадцать бутылок-капельниц, я пытался считать, но как-то то путался, то немножко спал. Поначалу, видимо, по какому-то недоразумению, меня положили в одноместную, чистую палату, до утра я пролежал там, в необходимом одиночестве, смежив веки и думая об Асе. Я пытался представить себе ее спокойный сон, правильную геометрию комнаты, распахнутую, может быть, форточку, небольшой беспорядок, заколку в виде тряпичного цветка. Она как-то говорила мне, что все еще летает во сне, я пытался представить и это, мне удалось, и несколько минут я был счастлив.

* * *

Моя жизнь – на ладони передо мной. Я беру ее, смотрю на свет, сыплю песком обратно в горсть. Я спокоен тем спокойствием, которому пока не могу дать имя. Мне нравятся отчаянно зеленые деревья за окном. Все чаще наблюдаю рождение дня из хмурых утр, когда сдержанное удивление – как из не предвещающих радости сумерек рассвета получается солнечный день и ясное утро? – перерастает природу вопроса и превращается в удивление самой жизнью. Моей жизнью. Которую я жил как умел. Нет, далекий незнакомый друг, не сэкономили мне несколько лет, не слышался четвертый туз в прикупе. Цветочки, фильмы. В синематеке шел дождь, «идите в зал с зелеными плафонами», час с небольшим идут короткометражки, «будет какая-то интересная тематика?», желудок урчит под музыку, увлажненные глаза на фильме «Толя». Небо моей жизни смотрит на меня, словно размышляя – падать сверху или притянуть к себе. Я открываю дверь и выхожу в июньский снег. Но мне хорошо под ним, он успокаивает, ведь внутри меня есть отчетливое знание того, что летом должно быть тепло – следовательно, он пройдет. Складки земли разгладятся, сухое горло марта я буду вспоминать с улыбкой, мое вечное неистовое доверие к жизни, мои вечные семнадцать. Я оставлю только самое важное, оно навсегда теперь со мной,

вся моя история имен – это и есть те константы, которые я, останавливаясь в поисках, оттого что нашел, не забуду никогда. Выигрывать можно не только в финале. Я знаю силу слов и их набат.

* * *

Как много ее во мне, правы друзья. Я этим, в общем, почти счастлив. Мне всегда без труда удавалось вызывать желанный облик на обратной стороне век закрытых глаз, но с открытыми глазами у воображения часто возникали проблемы. Сейчас затруднения как-то отпали сами собой – по первому требованию сердца, в нужной точке пространства появляется силуэт Аси и, спустя пару секунд, я отчетливо вижу ее улыбающееся или задумчивое лицо. Она входит в мою комнату, поправляет занавески или проводит рукой по спинке стула, присаживается рядом. Мы можем говорить или молчать, неважно, главное, что она здесь, возле меня – и я почти физически чувствую ее уютное тепло. Был период, когда, не слыша рядом ее легкие шаги, не видя ее лица – я забывал, как дышать, не помню, как проживал без воздуха те дни и недели. Еще мельком иногда вскидывается такая неясность – вот остаются какие-то тактильные ощущения, вкус и запах от человека – прикосновение ладони к волосам, этот прохладный шелк, подушечки пальцев к коже руки, ну вы поняли, так вот, насколько это остается с нами, когда человек этот исчезает из нашего племени и переходит в те местности, о которых мы ничего не знаем наверняка? В трамваях разъезжают второстепенные олимпийские боги, на Разгуляе после оптической подмены кажется, что слышен звонок конки, на окраинах крошится асфальт под поступью времени и молдавских гастарбайтеров, похмельные работники групп быстрого реагирования робко покупают карты памяти в салонах связи, стержни свежего воздуха вонзаются в носоглотки весело смеющихся людей, гуляющих по проспекту Ленина, раздавленный моей детской ступней на Смолино жук-пожарник давно пророс в траву, трава переродилась несколько раз и растет вновь, солнце над городом стоит безжалостное, ночами в сторожке, глядя на Луну, тот самый помощник демиурга из «Головыластик» запускает рычаг, от которого крутится колесо жизни. Происходит много чего, это даже не муравейник, возведите каждое движение каждого муравья в неограниченную геометрическую прогрессию и наложите все это слоями друг на друга много раз – вот что происходит, пока недвижимые оболочки лежат под землей, или летят пылью над Гангом, что же осталось? Остались ли те осязания, те ощущения, останется ли во мне, ушедшем, память хотя бы о нежности кожи на ее лице, и запахе ее волос, и – главное – останется ли в ней что-то такое обо мне, хотя бы ощущение руки в руке, пусть уже тактильно неуловимое, от меня, когда меня не будет, когда я окончательно засну возле мертвых героев Хэмингуэя? Ася напомнила мне как-то фразу Лимонова, что «жизнь – сама по себе – бессмысленный процесс», и я горячо согласился с этим, всегда так считал, и наполнял свою жизнь тем, что, по моему мнению, придавало ей смысл. Мне кажется бесконечно важным жить в памяти тех людей, кого я любил, это представляется мне единственным для человека способом достичь бессмертия.

* * *

Комсомольский проспект – огромная коса с длинным древком срединных аллей и лезвием Башни. Сколько наших следов утоплено в нем, не перечесть. Капли дождя, жесты, летящие улыбки, круглые теплые слова, говоримые нами в пространство, заполненное дыханием города. Контуры наших силуэтов вложены друг в друга, я чувствую легкую зыбь воздуха, когда прохожу сквозь очертания твоей фигуры. По этой почти неуловимой дрожи узнается – ты была здесь прежде, именно в этом секторе, и сейчас я заполняю его своим телом, вхожу в тебя. Неизвестно, созвучны ли эти мысли еще кому-нибудь, мне наплевать, я знаю главное – в этом городе есть ты. И где-то сейчас звучат твои легкие шаги, звонкие каблуки или тишайшие тапочки-балетки, адресаты твоих улыбок сияют в ответ, ты открываешь чьи-то двери, ты вбираешь в себя тепло этого города, чтобы отдать его по первому слову нравящихся тебе людей. Внутри твоих снов мы летаем вместе с друзьями на деревянных самолетах, и встречный поток воздуха треплет волосы и обдувает наши смеющиеся лица. И так будет всегда.

Иван КОЛПАКОВ

Дальний свет

А я и не думал почему-то, что мы поедем через Куеду. Хотя как иначе: автобус сверлит всю Башкирию – Стерлитамак, Салават, Уфу, – а потом с юга, минуя подбрюшный Воткинский водоем, вонзается в Пермскую область – тут уж и Куеда, и Чернушка; одна дорога, другой нет. Но я об этом не сообразил заранее, не хватило мыслительной машинальности – видимо, слишком устал в пути, видимо, слишком много сладкого воздуха проглотил в Оренбурге.

Уезжать вообще не хотелось – славный оказался городишко, маленький, изумрудно-разноцветный; казачки уважают яркую, нарочито веселую красоту. Повсюду флажки, перетяжки, поздравительные рекламации. Прошел улицу Советскую в оба конца, заглянул в местный букинист – долго разглядывал хорошо знакомое издание Набокова, книгу про Себастьяна Найта, но понял, что не потяну – рюкзак и так забит до отказа. Еще нашел полное собрание сочинений Пушкина в желтой обложке, в детстве у меня такое было, и тоже очень хотелось купить, а как тащить? Вышел с «Холмами» Бродского – на убийство времени в дороге. Можно подумать, я способен бороться с дорожной дремотой.

Цветастая улица Советская упирается в небольшую площадь (рядом – пластмассовая детская площадка, окраинный оазис в центре города), хорошо продуваемую ветром. Центральная ось площади – черный Чкалов в уморительных сапогах с меховыми отворотами, он смотрит поверх Оренбурга, и в его облике есть что-то бесовское. Белоснежная старинная лестница скатывается к мутной тихой реке – Уралу, и здесь можно было бы снимать «Бесприданницу», если бы не мост – металлический, сам себя поддерживающий с помощью стальных тросов, чудо местной инженерии, летучий голландец.

Там я околачивался полтора часа: гулял по мосту, катался на фуникулере – в маленькой кабинке из плексигласа, которую по тросу, протянутому над Уралом, гоняют туда-сюда, мол, «воздушное путешествие из Европы в Азию», развлечение для нищих духом. На «азиатской» стороне – парк отдыха, табличка «Пляж» указывает на илистый берег, в котором увязло мелкое суденышко, невесть откуда взявшееся. На «европейской» обнаружилась часовня в английском стиле. Такая могла бы запросто стоять где-нибудь в деревне под Стратфордом. Вид на нее несколько портит иссиня черный, иссеченный прозрачными тенями от деревьев, облый Пушкин, развалившийся на невнятном постаменте.

Тот день в Оренбурге закончился для меня в сквере с другим Пушкиным – вертикальным, о чем-то немо беседующим с Далем. Присел на скамейку, чтобы выкурить законную походную сигарету и спокойно разглядеть невероятно красивое здание советского модерна, стеклянной башенкой вперившееся в безоблачное небо. Хрустальный май расслабленно дул на мою вспотевшую от рюкзака спину, ворковали голуби. Я открыл «Пение известняка» Иличевского – и тут же закрыл, чтобы не спугнуть разлившуюся по телу благодать.

Увы, нельзя было пролонгировать это счастье. Таксист за символическую плату отвез меня на автовокзал («Как много у вас мечетей». – «Ну, да, казахи». – «И татары, наверное». – «А где же их нет?»), скоро подали автобус – продолговатый корейский сарайчик с пермскими номерами.

– Холодно в Перми?

– Плюс десять, не больше.

Иван КОЛПАКОВ родился в 1983 году в Перми. В 2005 году окончил историко-политологический факультет Пермского университета. Пишет кандидатскую диссертацию, посвященную американскому мультикультурализму. С 2001-го работает в журналистике. Книга прозы «Серф» (Пермь, 2007).

Женщина с красивыми ногами и лишним, выдающимся далеко вперед носом, села за водителем. Бабка с нелепой спортивной сумкой – чуть поодаль. Я поместился ровно посредине – чтобы избавить себя от компании и телевизора, ввинченного в потолок над приборной панелью. Узбек, топтавшийся на платформе до самой посадки, быстро прошел в конец автобуса, стянул с себя черный турецкий свитер, сверкнув волосатой грудью. Разлегся на задних сидениях, подложив свитер под голову, и захрапел.

Я уткнулся в плеер, но тоже быстро уснул. Мне снился Кара-Кум: всадники, сорвавшиеся с золотистой обертки шоколадной конфеты, штурмовали бархан и сползали обратно; зияло солнце, ветер поднимал в воздух песчаный дымок. Среди тех всадников был и я – с монгольскими усами, с болью в спине, с жарким зудом в легких, с потерянной надеждой на возвращение домой. Это видение мучает и ласкает меня с детства: я – кочевник, мое жилище – степь, переползающая в пустыню, мне не за что держаться, мне требуется лишь столько сокровищ, сколько я смогу увезти в кибитке. Я – моток перекати-поля без корней, мое ежедневное бытие – жрать, ебать и убивать...

Оренбуржье кончилось. За окном пошла опрятная Башкирия – исступленная в своей оседлости, аккуратная, как английская провинция. Где-то здесь, на границе, я и сообразил, что мне не миновать Куеду, кусок моего пыльного деревенского детства.

Отец отсылал меня туда к своим родителям каждое лето, в большие школьные каникулы. Куеда отрезала меня от счастливого ребяческого досуга, не утерявшего своего влияния и в постсоветские годы, – то есть от пионерских лагерей и от черных морей. Куеда была заменителем сахара, подсластителем жизни – единственным, на который могла в то время раскошелиться моя семья.

Первым же летом меня приговорили к месячному заточению в Куеде – среди незнакомых и многочисленных родичей, крепких своей сельской правдой, говорливых и простых как три рубля. Насильно одетый в ублюдочную кепку с надписью «Aeroflot» (отец наковырял ее на чердаке), основательно поколоченный коренастыми местными мальчишками, оказавшийся в полной изоляции, в кромешном аду садово-огородного безумства бабки, через неделю после приезда я затребовал вернуть меня обратно, домой, в Пермь. Я прикинулся смертельно больным, благо третьего дня случайно проколол на том же чердаке гвоздем пятку.

– Пятка! Пятка! – голосил я.

– Да привязать ему мочу надо, – суетилась бабка.

– Домой меня надо! – рыдал я.

Отправили. Одного. На дежурном «ПАЗике». Чай, не кисейная барышня. На автовокзале в Перми с ненавистью сорвал ботинок. Морщась всем телом, стянул с пятки мокрый полиэтиленовый пакет и, насвистывая, побежал.

Впрочем, в следующие приезды я как-то пообвык. Подружился с Аннушкой – моей двоюродной сестрой. Вместе мы ходили через заброшенное кукурузное поле на маленькую речку. Существовали небольшие, хорошо обжитые местными жителями пляжи: «Мальчик», «Девочка», «Крокодильчик»; происхождение топонимов неизвестно. На «Мальчике» мы однажды встретили голого мужика, который сообщил, что неудобно надевать штаны через голову. А купаться нагишом – вполне удобно. На «Крокодильчике» утонул парнишка, его хоронили всей Куедой. Проходя мимо его дома, я потом всегда вспоминал эти похороны – тишину, повисшую над толпой, заколоченный наглухо маленький гроб. «Крокодильчик» превратился в место проклятое, отмеченное смертью – купаться туда больше не ходили.

Спустя еще какое-то время я выучился любить Куеду. Ждал лета, готовился к отъезду – конструировал сачки для бабочек, покупал новые батарейки для походного микроскопа с лампочкой. В деревне я со всем жаром отдавался исследованию мира насекомых – жуков, пауков, бабочек. Я обкладывался томами юношеской энциклопедии, посвященными естественным наукам, жадно читал. Глупые соседские ребята так и звали меня – «Энциклопедия», ну, хоть какое-то воображение. Моя маниакальная увлеченность создавала некоторый иммунитет от бесконечных огородных работ, разворачивавшихся под руководством неугомонной бабки. Правда, в лес меня

всегда тянули – по грибы и по ягоды. Монотонное собирательство повергало в состояние глубокой неудовлетворенности собой, никогда мне не удавалось собрать больше, чем остальным, да и не очень-то хотелось...

Автобус причалил к вокзалу в Салавате. Узбек первым выскочил на улицу и куда-то отчалил. Женщина с носом закурила, бабка ушла восвояси – ее встретили родственники. Нас становилось все меньше, и я уже начал предполагать, что доберусь до Перми в полном одиночестве – значит, можно будет занять нагретое место узбека, растянуться, наконец, во весь рост. Оба водителя тоже исчезли в недрах автовокзала; если я правильно понимаю, на каждой станции они обязаны ставить отметку о прибытии, с этим делом сейчас строго. То есть, быстрее графика вернуться в Пермь не получится при всем желании.

Я переложил Бродского в пакет с бананами, пряниками и холодным чаем, а сам, нацепив рюкзак, отправился осматривать местность. Сепаратизмом в Салавате и не пахло. «450 лет с Россией. Вместе навсегда!» – как и в Уфе, здесь эти рекламные листки расклеены на всех столбах. В крохотном киоске купил две сосиски в тесте – за пределами Прикамья их готовят на палочках, словно мороженое. Продавщица, несмотря на свою автовокзальную прописку, оказалась миловидной улыбчивой девушкой, и я за элементарное спасибо получил от нее ласковый взгляд – вещь в дороге, в сущности, не менее ценную, чем еда.

Стоянка в Салавате задерживалась. Следовательно, мы все-таки немного обгоняли график. Вернулся узбек. Я еще раз подивился красоте ног носатой женщины – какое досадное несоответствие верха низу. Выпил чаю. С неожиданной тоской поглядел на киоск с горячими сосисками – в стеклянных отблесках вечернего солнца почти не было видно, что происходит внутри, слегка белел фартук продавщицы. Наконец, тронулись. Поплыли деревья, асфальт за окном превратился в месиво. Тоска на ощупь пробиралась по телу, чтобы вспомнить все его очертания изнутри. Длинный путь, длинная жизнь – и на конце ее только сожаления.

Я все думал о той продавщице из киоска – почему такая милая, чудесная девушка прозябает на автовокзале? Зимой ей, наверное, холодно. Машинально, в русле ожидания ночной встречи с Куедой, подумал о Ленке.

Ленка – стройная, красивая, с длинным хвостом каштановых волос, с яркими губами. Мы были знакомы много лет, с самых моих первых приездов. С каждым годом она становилась все желаннее, все слаще; все сильнее проступала ее зрелость – казавшаяся мне, не развитому физически гадкому утенку, совершенно недоступной. В тот год она носила короткие шорты, и я не мог оторвать глаз от ее узких, загорелых бедер, от острых маленьких коленок. Сквозь майку проступала крохотная грудь – и я бы жизнь отдал, не то что все эти свои немыслимые энциклопедии и дурацкие коллекции бабочек, – за то, чтобы коснуться ее хоть на полсекунды губами.

Ленка походила на чересчур молодую учительницу начальных классов. Смотрела всегда серьезно, поводила карими глазами задумчиво, улыбалась редко – и только своим шуткам, которые считала удачными. Смешными тоненькими пальцами (облезлый красный лак) она беспрестанно теребила гранатовые бусы. В машинальности этого ее жеста мне всегда читалась какая-то приобщенность ко взрослой жизни – потому что уже тогда было ясно, что взрослая жизнь – это и есть машинальность. Машинальность, нарушить которую способна только фортуна.

Мне ничего не светило – я наслаждался одной возможностью взглядом очерчивать Ленкину фигурку, подолгу задерживаясь на выпуклостях, но так, лишь бы она не заметила. Изо всех сил вдыхал тот ветерок, который, как расторопный паж, бежал за ней, когда она проходила мимо.

Однажды вся дворовая ватага зарядила в прятки. Я метнулся в укрытие и оказался бок о бок с ней – в темном гараже, в сыром и затхлом углу, между дядькиным мотоциклом «Иж» и старым велосипедом «Урал» с треугольной рамой. Мы изо всех сил старались не шевелиться, чтобы не выдать себя ни шорохом, ни звуком, ни дыханием. Я смотрел на нее во все глаза, она – на меня. Ленка улыбалась своей редкой улыбкой, а во мне все дрожало – от сочувствия к своим нулевым шансам, от сочувствия к своему убогому вожделению. Неожиданно она наклонилась вперед, совсем близко к моему лицу – и влажно поцеловала меня в губы.

Воспоминание об этом поцелуе даже сейчас вызывает во мне легкую дрожь возбуждения. Я сменил позу, сложил рюкзак под голову, вытянул ноги на соседние сиденья. Узбек снова захрапел.

Так что же было дальше? Дальше я оказался у Ленки в кармане – и не мог от нее избавиться несколько лет подряд. Она поселилась во мне, как паразит, не существовало лекарства, чтобы вытравить, выкурить ее из меня. Одного ее дурашливого поцелуя, поцелуя во время игры, поцелуя-игры – хватило на то, чтобы извести мое отрочество, испепелить его, распотрошить словно цыпленка. Никогда после я не осмелился напомнить ей об этом эпизоде, да что там – никогда мне и в голову не приходило напомнить Ленке о своем существовании, как-то сообщить о своей любви, махнуть с берега сигнальным флажком.

Я учился в одиннадцатом классе, когда Аннушка написала мне в письме, что Ленка беременна от какого-то дегенерата с другого края Куеды. Я даже и не знаю, кто он и как выглядит. Сложно представить себе ее ребенка. Он, должно быть, уже вовсю ходит в школу. Интересно – мальчик? Девочка? Умен ли? Что с ним будет дальше?

После Уфы (там сошла носатая женщина – и унесла свои ноги) начало темнеть. Автобус пронесся над коричневой, теплой, мхом деревьев согреваемой с обоих берегов Агиделью. Над низким ландшафтом разлегся сетчатый, похожий на плотную паутину, туман, солнце растворилось в дымке без следа. Башкирия пошла по земле, замаскировалась в сумерках и мелком кустарнике. Мы подъезжали к основанию пермской земли. Восемь часов в пути. И еще почти столько же впереди – дьявольский график.

Ленку я не видел несколько лет, не видел и в тот день, когда приезжал хоронить отца. После я в Куеду не наведывался – жизнь моя выделывала такие кульбиты, что ни о какой деревне не могло идти речи. Аннушка переехала в Пермь, устроилась на работу в туристическую фирму. Мы продолжали дружить, хотя такой искренней влюбленности друг в друга, как когда-то в Куеде, уже не было. Да и сама Куеда, в моих последних воспоминаниях, из того детского океана жизни, копошащейся, ползущей, растущей и разрастающейся, превратилась в пыльное, маленькое (даже мелкое) место, и всюду там – упадок. Детский двор снесли, пляжи на речке поросли травой; как вообще туда смог вернуться отец? Разве что – умирать. В конце концов, и это понятно...

Рюкзак вылетел из-под моей головы, неловко склоненной в неплотную дрему, и повалился на пол; автобус силился остановиться – резко, непредвиденно. Такое торможение давалось ему трудно. Я вскочил, разлепил глаза, подбежал к водителю и увидал сквозь широкое лобовое стекло жеребенка, неловко перебирающего копытами, пытающегося увернуться от несущегося на него огромного металлического сарая; жеребенка, оглядывающегося судорожно, испуганно, глупо – ну как его только угораздило! Автобус ухнул, послышался резкий, короткий, неприятный треск – лопнула пластмасса на бампере, я полетел на сидения и еле удержался на ногах – краем глаза видел, как молодого этого коника словно ураганом отнесло куда-то вбок, он вывалился из лучей дальнего света, исчез. Водитель заглушил мотор, вырубил хрипевший телевизор. В ушах зазвенела тишина, в которую через открытые окна еще не успели вползти звуки леса.

– Что, блядь, за невезение! – воскликнул шофер и с досадой саданул по рулю. Он быстро пришел в себя и нажал на кнопку, распахивающую дверь. Сквозняком в автобус ворвалась прохладная сырость.

– Человека сбил, да? – прохрипел очнувшийся узбек. Никто не ответил ему.

Мы выбежали на дорогу. Автобус, словно бы сквозь слезы моргая аварийными сигналами, разглядывал свои выбитые зубы – мелкие куски пластмассы, разбросанные по неровному асфальту. Слева кто-то застонал, мне почудилось – человек. Метрах в семи от нас на обочине лежал жеребенок, точнее, груда костей, обтянутых кожей; в рассеянном свете, с трудом доносившемся от фар, он казался кучей мусора, и только голова его на непомерно длинной шее слегка шевелилась. Именно она и стонала – его голова, отдельно от тела, исковерканного, изломанного, сваленного в черную лужу крови.

– Мать твою! – водитель, чертыхаясь полез обратно в автобус за фонарем. – Что за невезение? Что за улыбки судьбы?

– Жеребец! – узбек, кажется, восхищенно смотрел на умирающего – зверя? Лошадь? Ребенка. Узбек надел свитер и уже по-хозяйски осматривал тело.

Водитель, наконец, нашарил где-то в недрах бардачка фонарь и опять выпрыгнул на землю. Первым делом он бросился рассматривать повреждения на своем автобусе.

– Да цел твой автобус. Вон о живой душе побеспокойся лучше, – сказал я ему.

– Жеребенок чужой. А за автобус, блядь, я своей шеей отвечаю.

– Слушай, надо резать его, – как бы сам себе сообщил узбек. Он почесал себя по животу. – Все равно помрет.

– Ехать надо дальше, – ответил шофер.

Жеребенок застонал, я вновь удивился – у него был голос юноши. Подошел поближе. Маленький конь, темно-коричневый. Совсем я в них не разбираюсь. Судя по росту – очень молодой. Круглые, похожие на огромные пуговицы, глаза. Длиннющие ресницы, подернутые слезами. Узбек был прав – и от этой правоты заломило в правом боку – он умирает. Пахло теплой плотью – вспоротым, вывернутым наизнанку телом.

Я сделал несколько шагов вперед, пытаясь выйти из света в темноту. Несколько шагов не спасли, пришлось идти дальше и дальше, разрывая плен автобусных фар. Только за поворотом я перестал различать дорогу. Склонился к обочине. Горячий шар взорвался в груди – меня вырвало: пряниками, сосисками; чай, смешавшийся с желудочным соком, сквозь оскомину рта через губы потек тугой струйкой на землю. Жуткий лес закачался, заходил ходуном.

– Нож дай, – услышал я из космической дали голос узбека.

Темнота навалилась со всех сторон, мерцала, рябила. Мне уже стало легче. Возможно, сосиски действительно были лишними. И этот жеребенок. Черт, как он стонал...

Я рассеянно подумал, что темнота – это и есть свет, только вывернутый наизнанку. Темнота – это свет-оборотень. Темноты нет. Есть только свет. И значит – все свет. И видимо, повсюду во вселенной – один только свет. И в этом свете видно все – всегда. И в самом начале – был свет, взрывной силы, и в конце будет свет – рябой, внутренний, обратный.

– Тьмы нет, – сказал я лесу. Но страх не исчез. – Ты жуткая, Пермь.

Побрел дальше по дороге. Возвращаться к автобусу, к узбеку, к мертвому жеребенку не хотелось. Да и все равно подберут – куда им ехать, не обратно же. Я шел, а лес по правую руку решил отойти в сторону, дать моему взгляду разлиться в сером, ночном просторе. Сквозь мерцание света, в водянистом лунном восходе я увидел далекий высокий холм, слегка перекошенный, монументальный, как грудь лежащей на спине великанши. Я сразу узнал его. На вершине холма – деревенское кладбище. На нем похоронен отец.

Я сел на дорогу, в пыль. Втянул носом запах земли. Где-то здесь, совсем недалеко, он лежит – в кромешной тьме, один. А я – приехал его навестить. Вот уж не знал – не гадал. Слезы ручьем катились по моим щекам. Я вытирал их рукавом свитера. Как поздно все, как далеко ты, какая нелепая дорога. Жестокая дорога!

Темнота сочувственно моргала, я уже слышал сокращенья этого света – ритмичные, как цоканье копыт – цок-цок; медленный шаг. Руками уперся в землю, сгреб ее, пропустил сквозь пальцы еще дневное, солнечное тепло. Прости, прости меня.

Цок-цок. Цок-цок. Белая тень скользнула по дороге – гипсовая копия лошади из «Ежика в тумане», живое существо.

– Ну что же ты? Потеряла жеребенка? Потеряла, матка.

За поворотом взвыл двигатель автобуса, зашуршали шины. Его фары шарили по асфальту. Очень скоро, неминуемо, они вперились в меня – все еще скрюченного, прижатого тяжестью и усталостью дорожных приключений к обочине.

– Неминуемо.

И глаза захлестнул яркий свет.

12-13 мая 2008-го

Евгения ИЗВАРИНА

* * *

вбегаешь в небо по цикорию
теряя память но не силы

здесь некому продать историю
и тянется через низины
тень мегаполиса до полюса

здесь даже ветер с колыбели
не гладит а ерошит волосы
чтобы не плакали а пели

* * *

море выстрадано сушей
как монашкою жених

закажи-лежи-послушай
пошумит
и решается потрогать
ледяное горячо
это ноготь это локоть
и плечо

снится в руку воркованье
голуби ли влюблены
подметая рукавами
небо глубины

* * *

за Богом будущего нет
лишь вечность наперёд
она швыряет как щенят
и денег не берёт

она съедает оконча-
ни я у слов моих
ни ты у слов своих свеча
но пламя на двоих

Евгения ИЗВАРИНА родилась в г. Озерске Челябинской области. Окончила Челябинский государственный институт культуры. По профессии библиограф. Живет в Екатеринбурге, работает журналистом. Автор стихов и литературно-критических статей, публиковалась в альманахах и сборниках, журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Север» и др., в Екатеринбурге изданы 5 книг стихов. Член Союза писателей России.

ожоговые письмена
и нежность как была
покуда слепки не сняла
ключи не забрала

* * *

соберись – говорю себе – соберись
а потом оторви да брось
хорошо когда право есть на каприз
и курево на авось

хорошо когда плаваешь в дымовой
завесе осени выше крыш
а пошло оно – себе говоришь
и никто не зовёт домой

* * *

рядовым ли офицером
всё равно тебе аминь
через выцветшую в целом
половинную полынь

через выдохшийся ящик
несгораемых небес
и железок шелестящих
государев разновес

смерть летела
шелестела
зашибала барыши

выходи душа из тела
свет за мною потуши

* * *

После заката подсветка –
только от звёзд.

Сердце то птица – то ветка,
тополь – и дрозд.

Истово за листвою
весь он – как весть:

было – и нет,
но с тобою –
будет и есть.

* * *

Две смерти набирают высоту,
не торопясь, поскольку – без обмана.
Два человека смотрят на звезду
с двух берегов седого океана.
По молодости можно и не знать,
как остывают звёзды в одиночку.

У них есть время: слово досказать,
а у неё – судьба: поставить точку.

* * *

Своим путём через огонь летучий –
две жизни
(ни с одной – не по пути).

Два имени на несомненный случай:
забыв своё –
твоё произнести.

* * *

кружная дорога наружная клеть
мы слышали много пришли посмотреть
и нам показали плохое кино
где душно душе да и телу темно
но грело и пело как спирт на меду
уже и механика черти в аду
живьём приварили к монтажной скобе
а фильма крутилась сама по себе
уже и бандуру списали в утиль
а всё ещё дёргалась жжёная пыль
на пике свободы на скользком луче
на всаженном в горло скрипичном ключе
уже и скрипач из буфета ползком
а нам бы ещё хоть глазком

* * *

Приснилось –
солнечно в краю,
где мой апрель – вплотную к маю,

приснилось:
руку подаю через порог
и понимаю,

что оправдание пути
и настоящая свобода –
с ума и с места не сойти,
остаться деревом у входа.

Георгий НИПАН

Вагон для непьющих

И вижу, сам батя с кисточкой прется.
Макнет кисточку в ведро и брызжет вокруг.
Кому в рожу, кому в кулич – не разбирается.
М. Зощенко «Пасхальный случай»

Под монотонное чтение Евангелия я размышлял о своем суетном и рассеянно рассматривал храм, в котором оказался в первый и, вероятно, в последний раз в этой жизни. Мы – шестнадцать рабов божьих, двенадцать взрослых и четверо детей, терпеливо ждали, когда батюшка завершит большие божественные дела и перейдет к нашему маленькому человеческому дельцу. Вопреки моим надеждам, батя не ограничился каноническим чтением и обратился к неканонической проповеди, местами переходящей в апокрифический монолог. Фрагменты этого монолога вывели меня из спячки: они касались курения, выпивки и воспитания детей. Батя, к сожалению, не коснулся прелюбодеяния, видимо потому, что активно внимающая аудитория состояла из нескольких бабок и пары дедов.

Нравоучительная беседа проистекала на уличном языке за вычетом ненормативной лексики. По вопросам веры я был с батей в чем-то даже согласен, например, что пробежаться по храму и расставить перед иконами свечки – это лицемерие, но, переходя к обличению конкретных грехов, батя допускал неточности и сильно преувеличивал, чем сразу вызывал недоверие у знатоков. Сведущий человек не скажет «залил за шиворот», смешивая идиомы «залить за воротник» и «взять за шиворот»: либо выберет правильную идиому, либо создаст последовательность «залил за воротник», а потом кого-то «взял за шиворот».

Вначале батя напирал на курение как самый короткий и дешевый путь к Лукавому. Получалось, что к каждой пачке сигарет прикреплен бес. Не могу согласиться с такой схемой, уж очень много странных странностей. То ли бесы заводятся среди высушенных листьев табака, то ли они, эти бесы, ютятся на табачных фабриках – ждут, когда их запакуют вместе с сигаретами в пачки, потом долго-долго сидят в этих темницах,– ждут греховодных покупателей-курильщиков, ну и, наконец, выскакивают «чертями из табакерок» в квартирах, офисах, да и просто на улицах. Сразу новый вопрос: закрепляется ли бес из пачки за покупателем – тогда бесов на заядлых курильщиках больше, чем блох на бездомных собаках, – или бес-распространитель просто отмечает всех, кто вытаскивает сигареты из пачки, и возвращается на табачную фабрику, чтобы сдать ведомость вышестоящему бесу-менеджеру, расписаться в журнале прихода-ухода и ждать очередной упаковки. Для меня более правдоподобен последний вариант.

– Рай – это как вагон для некурящих, – в какой-то момент заявил батя, – и ты должен решить для себя, хочешь ли ты ехать в этом вагоне.

Сказал, как отрезал. Тут тоже есть над чем подумать, но прежде хорошо было бы уточнить детали. Ясное дело, что вагон-рай не с сидячими местами, ехать-то долго! Тогда так: если это СВ или там «люкс», то я перекантуюсь в плацкартном вагоне, пусть даже с прокуренными тамбурами. «Ничего, ехать можно, – как сказал бы Михал Михалыч Зощенко. – Не в театре!» В общем вагоне, конечно, не поеду, там табачный запах за счастье. С другой стороны, если этот вагон-рай

Георгий НИПАН родился в 1955 году в Риге, окончил химфак МГУ, ведущий научный сотрудник ИОНХ РАН, доктор химических наук. Рассказы публиковались в журналах «Знамя», «День и Ночь», «Волга–XXI век», «Зарубежные записки», «Химия и Жизнь», «Флорида».

бесплатный, то в него не влезешь. Битком будет набит, и не продохнешь безо всякого курева.

Вообще-то, как и бабок, окруживших священника, тема курения меня не сильно занимала. Курить я бросил давно: после рождения первой дочери. До этого прикуривал папиросу от папиросы, в основном «Беломорканал». Уж больше тридцати лет прошло с тех пор. Да, но водку пить не перестал. Не получается. Как-то не складывается у меня с чаем и кофе. Хлебаю, конечно, утром, перед работой, но особой любви нет. Не фанат. Одно время увлекался пивом, но с ним проблем много: брюхо растет и прочие неудобства. Например, сложно гулять по Праге: кружка за кружкой, пивная за пивной. Какой там Карлов мост! Очень люблю сухое вино, но две бутылки хорошего красного вина в день – дорогое удовольствие, а дешевое вино в пакетах – верная дорога к камням в почках. А «почки не место для камней», поэтому пью водку. Часто. Каждый день.

Несмотря на мое прямое указание на этот каждодневный грех, семья маленького светловолосого мальчика привлекла меня к таинству крещения. В качестве крестного отца: дети симпатизируют юродивым и блаженным.

Надо сказать, что с церковью у меня сложные отношения. Не воспринимаю, в качестве пастырей, румяных пузатых попов, похожих на молочных поросят, и очень не люблю, когда детей малых тащат на церковную службу, как на работу. Эти несчастные либо слоняются по темным закоулкам храмов, изнывая от тоски, либо стоят оловянными солдатиками рядом с набожными женщинами. Мне иногда хочется, чтобы Отец наш небесный треснул по лбу этим взрослым земным бабам. Как закатил бы божественными перстами щелбан, чтобы у них мозги встали на место! Детям-то что замаливать?

Однако батюшка – молодой, высокий, плечистый, с грозным взглядом – именно в вопросе воспитания детей оказался экстремистом, я бы сказал «ястребом». С его точки зрения, родителям просто необходимо гнобить детей, иначе из них обязательно вырастут пьяницы. Если дите сделало полезное дело, например, забило гвоздь и на него Ваш портрет повесило, то хвалить не надо. Дите обязано это делать, сознавая, что оно Ваш вечный должник. Короче, незачем о детях заботиться. Это они о нас должны заботиться. С пеленок.

Попутно батя объяснил, что Иуда, на самом деле, предал Спасителя за приличную сумму. Хороший участок можно было купить на Земле Обетованной за тридцать серебряников два тысячелетия назад. Идейная основа поступка Иуды, по мнению батюшки, в том, что он рассчитывал за свое подвижничество получить солидную административную должность при жизни, вместо достойного места в Царстве Небесном после смерти.

– Где теперь Иудушка? Сидит на коленях у Лукавого! – подвел итог батя.

Я не знаю, где теперь Иуда, но я хорошо знаю, как опасны малограмотные, едва научившиеся читать газеты. Они уверены, что теперь знают все об устройстве мира, и начинают «учить жизни» окружающих. Еще опаснее, когда эти грамотеи облачаются в рясы и принимаются толковать Священное Писание.

Несколько порадовало и успокоило заявление бати о том, что бесы даже друг друга не любят. Потом досталось телевидению. Вот где сплошная бесовщина! Тут уж бабки опустили глаза: наверняка, бедняги, сериалы смотрят. Сказки про любовь!

Глядя на этих пожилых, усталых женщин с покрытыми головами и в серых одеждах, можно было только пожалеть, что в их реальной жизни не было таких сказочных небьющих, непьющих, некурящих и любвеобильных бесов с цветами и дорогими подарками. Только работа и ребята, малые да большие, изо дня в день.

Наконец батюшка приступил к нашему делу. Для начала крестной матери и мне досталось за то, что мы не знаем наизусть Символ Веры.

– Двойка вам, большая двойка! – сказал батя, вычерчивая в воздухе рукой соответствующую цифру. – Ну, повторяйте за мной, – и принялся читать Часослов.

Мы стояли и повторяли за ним слова, как два дурака с нарушенной речью! Впрочем, мне было плевать. Меня заботил маленький мальчик на руках: он устал и звал маму. Кроме того, я понимал, что, если спросить этого парня в рясе, кто написал «Руководство к христианской жизни» или

просто кто такой Савонарола, то он вряд ли ответит на этот вопрос. И совершенно точно не объяснит разницу между простой дробью и десятичной, не говоря уже о синусах и логарифмах. Дай, Бог, если покажет на карте мира, где находится Иерусалим.

Наблюдая, как мы возимся с ребенком, батюшка не преминул сесть на любимого конька и залудил примерно следующую фразу.

– Вот вы сейчас перед ним головы склоняете, а что будет, когда он вырастет?

Далее батя возмущенно прокричал, что раздевать ребенка догола это полнейшее безобразие и страшный грех, из чего я сделал вывод, что мамы могут мыть мальчиков, да и девочек тоже, только в темноте. Или мыть в одежде, а лучше вообще не мыть.

Наверное, были и другие интересные высказывания, но я их не помню. Кстати, крестную мать и меня батя называл исключительно на «ты», но я живу в Москве и на такие мелочи давно не обращаю внимания. Не в театре!

В конце концов, мероприятие благополучно закончилось. Я вышел из храма, не ощущая никакой благости. Мальчик, привезенный домой, намаявшись уснул. Мне, почему-то хорошо запомнилось, что батюшка призывал чаще приходить на исповедь.

Вот уж, черта лысого, я к такому бате пойду исповедоваться! Я позвоню другу и скажу:

– Так херово на душе! Приезжай!

А он скажет:

– Хорошо, после шести! Чего взять?

– Бесцветной и хлеба! Только одну, чтоб не набрались!

Не получаются у нас беседы за чаем. Будем пить водку и разговаривать. Душонка моя успокоиться, а мысли распределяться по полочкам.

Вагон для непьющих – это не мой рай. Если для меня откроются двери вагона, в котором поедут люди, на которых упала божья искра, будь-то Врач, Учитель, Священник, короче человектворец, то это и будет мой рай.

Аминь.

Алая раковина сердца

Хорошо было Сережке, он дремал возле шофера, честно выполнив обязанности свидетеля. Поставил подпись, выпил за здоровье молодых и теперь, склонив голову, тихо сопел в две дырочки. Глебу было хуже, он мог прикрыть глаза, и чем-нибудь заткнуть уши, но некуда было деваться от рук молодой супруги. Новобрачная, не переставая, лапала Глеба – свежеиспеченного мужа. Открыто, как бы афишируя, что это теперь ее имущество, она поглаживала ногу Глеба и нашептывала, что с ним сделает ночью. Но это не так раздражало, как прикосновения влажных ладоней и мокрых губ, когда казалось, лягушка шлепается на щеки, лоб и шею. Впрочем, в машине сидела еще одна лягушка – свидетельница, школьная подруга молодой супруги, ее активная болельщица на свадебной церемонии, но с ней Глебу, спаси и сохрани, не нужно было проводить брачную ночь.

Мрачное настроение отчасти скрашивали остальные машины свадебного кортежа. Сидящие в них гости веселились, как могли, приставая к каждому встречному со стаканом, как с ножом к горлу. То и дело из машин кто-нибудь вываливался, процессия останавливалась, и потерянного с гиканьем и визгом запихивали назад. Умудрились напоить французским шампанским двух автоинспекторов. Потом подобрали на дороге какого-то старого желудя в ватнике. Он спрашивал, кто невеста, и лез ко всем целоваться.

Жаль, что Сережка дремлет, он бы обогатил эти нехитрые развлечения великолепными комментариями. Нет, пусть лучше спит, а то начнет говорить – не остановишь. И без того тошно.

– Глеб, что ты наделал? Зачем тебе эта чужая женщина? Ты попался, страшно попался. Теперь ты ее собственность. Она будет читать твои письма, устраивать скандалы из-за десятиминутных

опозданий, толочься возле тебя во время телефонных разговоров и ревновать, жутко и беспричинно. Ты будешь уходить, но никогда не уйдешь. Тебя не отпустит эта красивая, сильная и образованная стерва.

– Спи, Сережа, спи, брат. Помнишь, как мы ездили, сорвавшись с занятий, на осеннее море? Сильно штормило, и волна вынесла раковину. На темные гниющие водоросли алую раковину, похожую на человеческое сердце. Раковина была хрупкой и тонкой, со множеством темных закоулков. Я поднял ее и почувствовал тепло, как будто моя ладонь сжимала чью-то маленькую и мягкую ладошку. Я поднес ее к уху и прислушался. «Мой милый», – прошептала раковина, а может, прошуршал песок. «Мой милый», – повторила раковина, и невидимые пальцы коснулись моих волос, а может быть, это был ветер. «Мой милый», – пропела раковина, и мне на щеку упала слезинка. Стекая, слезинка коснулась губ, и я почувствовал, что она соленая, а может быть, это была капелька морской воды. Так захотелось стать маленьким-маленьким муравьем, побежать по перламутру раковины и в одном из ее закоулков увидеть ту, что меня зовет. Но резко крикнула чайка, тяжелый плоский камень прилетел, рассекая воздух, и разбил алую раковину на моих ладонях. Она рассыпалась на крошечные осколочки, и появилась капелька крови. Это один из осколков порезал ладонь. А может быть, это была не моя кровь?

Я не знаю, кто бросил этот камень! Может, холодное безжалостное море, а может, завистливая горластая чайка. Ведь кто-то бросил камень в сердце, и я не нашел ЕЕ. Я не нашел ЕЕ, и мне закружили голову наглые крикливые чайки.

А потом мы увидели старуху, внезапно появившуюся на большом валуне. Она сидела и вглядывалась в море, а возле ее ног лежал большой черный пес. Когда мы поздоровались с ней, она не ответила, даже не обернулась, но я услышал, как она негромко сказала, обращаясь к морю:

– Ты потерял ЕЕ!

– Кого ЕЕ?

– Ты потерял свою единственную.

Старуха повернулась к нам лицом, и я понял, что это ведьма. Ее взгляд сжал меня до размеров шурупчика, который выкрутили из светлой древесины настоящего и ввернули в темную столешницу прошлого. В этом прошлом остался наш незавершенный разговор. Она спросила:

– Так какой черт принес тебя ко мне, милый?

Я ответил ей, но слова и голос были не мои, а того другого, который когда-то давно приходил к старой ведьме по важному и опасному делу.

– Я принес тебе золото, ведьма. Десять звонких монет.

– Что ты хочешь купить у меня? Эту суковатую палку или эти деревянные башмаки с моих ног?

– Вчера я бы купил твой длинный язык, чтобы кормить им моих вечно голодных собак, но сегодня меня привело к тебе неспокойное сердце. Покажи мне мою суженую!

– Ты хочешь сказать, твою единственную. Спрячь назад деньги, я могу показать только твою жену. Даром. Зайди в рыбацкий поселок, и любая дородная девка с круглой румяной мордашкой – твоя жена. Увидеть единственную можешь только ты сам, если раньше не встретишься со своей смертью.

– Говори, ведьма!

– Этот совет можно оплатить муками, если ты ему не последуешь, и почти верной смертью, если ты сделаешь так, как я скажу. Но тебе может улыбнуться счастье...

– Говори, ведьма!

– Слушай, и не перебивай! Выйди дождливой ночью на берег моря, повернись к воде спиной и стой, не оглядываясь до тех пор, пока чайка не коснется крылом твоего плеча. Быстро обернись, над морем вспыхнет лунная радуга. Она начнется у твоих ног и оборвется на берегу далекого острова. Радуга быстро погаснет. Войди в воду и плыви к острову в полной темноте. В черной темноте. Если ты правильно выбрал тропинку в бескрайнем море, то на середине водяного пути мелькнет единственная. Да, ты увидишь ее! Она пройдет мимо тебя по воде, касаясь морской глади босыми ногами. В белом платье и с факелом в руке. Глаза ее будут завязаны.

Удержись! Не окликай ее. Если она повернется и сорвет черную повязку, ты пропал. Поглотит пучина ее глаз. Когда видение исчезнет, плыви дальше и, если удача будет сопутствовать тебе да конца, перед самым восходом солнца ты доплывешь до острова. Быстро вскарабкайся на самую высокую скалу и, как только блеснет первый солнечный луч, бросайся в море вниз головой. Глаза твои должны быть широко открыты, и перед тем, как разорвать воду руками, чуть-чуть не долетев до нее, ты увидишь лицо своей единственной. Пусть тебе дважды повезло: ты доплыл и не разбился при прыжке. Не отдыхая, плыви назад. На том самом месте, где она мелькнула первый раз, появиться городок, в котором ее нужно искать. Вот и все.

– Ты ничего не забыла ведьма?

– Возьми и проверь!

– Сережа, ты тогда подумал, что я и старая носатая гречанка разыгрываем спектакль, и долго смеялся. Мы решили вернуться к палатке другой тропинкой, и эта тропинка привела к мертвому городу, в котором нас застал дождь. Каменные дома, оставленные жителями, были наглухо заколочены. Помнишь? А мы босиком, без маек, и наши старые джинсы висят на ногах мокрыми тряпками. От булыжной мостовой стынут ступни ног, а дождь такой холодный, что каждая упавшая капля пронизывает до самого сердца. Каждая капля. Город неласковый, безлюдный, темный, ни одного огонька. Никто не откроет заколоченные скобами двери, и согреться можно только, обхватив плечи руками, слоняясь по улицам брошенного города.

Было так холодно, что деревенели мысли, и появились безмолвные фигуры, которые стали заполнять город. Это были наши замерзающие призраки. Мы населили город призраками, словно оставили на память наше проклятье, и, отчаявшись согреться, поплелись к морю, такому живому морю, словно это осеннее море могло укрыть нас от дождя.

За крепостной стеной, по щиколотку в морской воде стоял старик. Все на нем было черным: длинный плащ, широкополая шляпа, большие рыбацкие сапоги, а в руке он держал черный нераскрытый зонт. Он как будто нас дожидался и спрятал наши продрогшие тела под своим плащом, а потом раскрыл свой громадный черный зонт с несгибаемыми спицами, и поднял его над головой, взявшись за ручку обеими руками, словно за древко флага. Над нами образовался черный купол, похожий в море дождя на перевернутый спасательный плотик. И мы поплыли. Не спеша, оглядываясь по сторонам, в поисках терпящих крушение, пока к нам не прибился щенок, а потом котенок. Мы шли, прижавшись к седому неразговорчивому человеку, и молчали. Слова были лишними под надежным старым зонтом, за которым начиналась пелена дождя. Это было братство перед лицом стихии. Тогда я подумал, что мы встретили смотрителя маяка, теперь я знаю, что это был хранитель жизни. Когда мы поднялись по скрипучей винтовой лестнице на маяк, то на верхней закрытой площадке нас ждали две миски горячей чечевичной похлебки и два спальника. Утром мы не нашли старика, чтобы поблагодарить его за тепло ... и жизнь. Позднее я вспомнил черного пса, сидевшего возле ведьмы.

– Глеб, я помню другое море. Желтое море песка Бескрайнее, мертвое море песка. Мы заблудились в Каракумах, а в нашей машине-развалюхе закончился бензин. Тогда ты и я пошли пешком, а шофер остался в надежде на то, что нас будут искать.

Всюду песок. Песок под ногами. Песок на зубах. Засыпающий глаза и уши, забивающий ноздри. Три дня кряду только песок. И хруст... Нет других звуков, кроме хруста – этой тягучей песни песка, неотвя¬зной и назойливой как жажда. Иногда мне мерещился большой концертный рояль, у которого откинута крышка, и чьи-то сноровистые руки засыпают в него лопатами песок. Пианист садится на стул нажимает на клавиши – и раздается хруст. Жуткая песня песка. А иногда я видел кувшин. Тяжелый, можно поднять только двумя руками. И проклятье! Опрокидываешь его, а из него тонкой струйкой сыплется желтый песок. Мы почти не говорили – берегли силы, но надо было взять себя в руки, не потерять голову среди этого песка. А еще эта жажда! Я физически ощущал ее как бледную, бескровную женщина, с красными глазами и безгубым мертвым ртом. Она парила над нами стервятником не оставляющим тени, закутавшись в черный плащ. Но был

выбор! Мы могли лечь и умереть, или встать и, спотыкаясь, попытаться дойти. Никто не управлял нами, даже наши фантазии. Тогда мы выдумали водяных коней одного, двух, трех, а потом десятки, сотни, тысячи... Они бежали все теснее прижимаясь друг к другу. Все быстрее, быстрее, и сливались в прозрачный водяной поток. Грохочущий и нервный. Летящий к белому городу, к зеленым листьям, оставляющим тень, и к людям в разноцветных одеждах. Мы придумали то, что нам надо было увидеть, и мы дошли по песку, по хрустящему песку, под ослепительным солнцем, вместе с нашей жаждой. Мы дошли, и отправленный на поиски самолет нашел машину с почерневшей мумией шофера. Он просто сидел и ждал.

– Глеб, зачем теперь тебе все это? Это не ты! Это не твое! Даже умирая от жажды, мы были свободны. Помнишь нашу комнату в общаге – ты, я и Лешка. Кто-то покупал баксы, носился с какими-то акциями, а мы писали наши бессмертные романы, пили пиво и спорили. Когда уставали спорить, укладывались на свои панцирные кровати и долго молчали. Становилось темно и очень тихо, и в это время появлялись наши домашние зверушки. Первым на нашем единственном столе оказывался Таракан. Он бегал вокруг бутылок, силясь прочитать надписи на этикетках. Таракан был большим гурманом, и предпочитал темное пиво, а на столе стояли только закупоренные бутылки. В темноте он не мог прочитать надписи, и часто раздумывал: подождать, когда откроют, или сбегать к соседям? По-моему, он был потомственным пьяницей, а может, у него были нелады в семье, во всяком случае, он пил не в меру. Напившись, буянил, падал со стола или пластом лежал возле пепельницы, не в силах куда-либо уползти. Но мы к нему относились терпимо, ведь Паук вел себя куда как хуже. Он курил, курил беспрестанно, и от него сильно разило табачищем, но ужас его поведения заключался в другом. Сам он был не в состоянии купить и зажечь сигарету, поэтому отбирал их у наших гостей. Стоило пришельцу закурить, как он быстро, черт знает откуда спускался на паутинке и оказывался перед его глазами, безобразно шевеля мохнатыми лапами во все стороны. У гостя от неожиданности сигарета вываливалась из рук, а мохнатое чудище преспокойно ее подбирало и выкуривало. С нами такие номера не проходили, но одна молодая особа больше никогда не притрагивалась к сигаретам, побывав у нас в гостях. Однажды пострадал Паук, пришла Люська. Ты же помнишь эту сумасшедшую, веселую, неунывающую Люську? Увидев паука, она сказала такое, что у того подогнулись лапки, и он кубарем скатился со стола. Когда становилось совсем темно и тихо, кто-то скребся в дверь, дверь приоткрыва¬лась, и входила двуногая Собака. Мы любили это существо, оно приходит только к нам и всегда тоскливым вечером. Ей приходилось несладко. Мучительно тяжело было передвигаться на сросшихся передних и задних лапах, защищаться от обидчиков, но она никогда не скулила – двуногая Собака. У нее были четыре глаза, два обычных собачьих, сидящих в положенных местах, настроенных на обычные собачьи дела: поиски еды и жилья, и два глаза в ушных раковинах. Два задумчивых созерцателя. Диковатое, непривычное зрелище для непосвященных – двуногий четырехглазый монстр. Мы давно знали Собаку, но она ни разу не издала ни единого звука – все время молчала. Ее видел только Алешка, ведь у него была куриная слепота. Он говорил, что два обычных глаза устремлены на нас, а глаза в ушных раковинах широко раскрыты, и в них, как в кино, проносятся все события, которые произошли с собакой с момента нашей последней встречи. Она приносила картинки из своей собачьей жизни, и чаще всего на них были люди с их благородством и подлостью, горем и счастьем. Люди, которые полагали, что их никто не видит, и не принимали в расчет двуногую Собаку. Потом картинки пропадали. Собака уходила, скрипнув дверью, а мы оставались и думали. Думали, что мы молодые, сильные и свободные.

Немой разговор со спящим Сережей закончился. Глеб отвернулся к окну, чтобы смотреть на деревья, телеграфные столбы, на что угодно, но только не видеть пожирающих глаз и влажных губ молодой жены. Появилось поле. Зеленое-зеленое поле, охваченное зеленым еловым лесом. Полдень только наступил, высокая трава не успела прогреться, и над ней висела серебристая дымка. До жути захотелось в середину этого зеленого моря. Глеб попросил остановить машину, и под смешки счастливой новобрачной и свидетельницы быстро зашагал по полю. Трава доходила до плеч, гибкая и упругая она не приминалась, а сразу поднималась вслед за ним, так что издали, казалось, что человек плывет.

Глеб действительно плыл, легко и счастливо, раздвигая траву руками, не чувствуя под собой ног, и не оглядываясь назад. Словно видел перед собой цель. Он ненадолго задержался, чтобы снять туфли, сбросить пиджак, сорвать галстук и распахнуть ворот рубашки. Потом колышущаяся трава перешла в нежно-зеленое море, и Глеб увидел в его прозрачной глубине раковину, похожую на человеческое сердце. Он нырнул и поплыл к ней. Раковина оказалась громадной, и, когда Глеб коснулся ее перламутра, вода ушла, словно отступила. Знакомый, родной голос крикнул «Мой милый», и, ступая босыми ногами по гладкому розовому перламутру, он побежал к НЕЙ.

Когда Глеб исчез из поля зрения, его стали окликать плоскими, заезженными шутками. Вначале со смехом, потом с тревогой. Протрезвевший Сережка подошел к кромке зеленого поля и заорал во все горло:

– Умница! Уплыл, мать вашу! Уплыл от му...ов!

А потом встал на колени и перекрестился. Глеба бросились искать. Впереди всех топтала траву молодая жена в белом платье. К ночи перекопытили все поле, но нашли только сброшенную одежду и мобильник.

Несколько месяцев разгневанная законная супруга и ее родня пытались его найти, живого или мертвого, но безрезультатно. Никто больше никогда его не видел, ни один человек. Он исчез...

Шепот бабочки

Оставалось несколько часов до вылета из Нанди в Сеул и три банкноты на общую сумму в девять фиджийских долларов. Вещи были уже упакованы, так что можно было пробежаться и купить какой-нибудь сувенир на память о поездке. – О себе любимом он как-то позабыл! –

Никита вышел из отеля. До сувенирного магазина Jack's Handicrafts было довольно далеко, да и покупать кич не хотелось. Этого добра хватает в Москве. Никита огляделся по сторонам. Кругом лавки индусов, заваленные дешевыми майками и грубыми поделками из дерева или ракушек. Туристы в такие не заходят. Потом не отвяжешься от назойливых торговцев с масляными глазками. В некотором отдалении он заприметил маленькую ненавязчивую лавчонку. Обычно в такие заведения заглядывают местные – потрепаться и запастись необходимой житейской мелочевкой, а если хозяин коренной фиджиец, то и выпить кавы – опьяняющего настоя из корня дикого перца.

Отодвинув висящую в дверном проеме тряпку, Никита зашел внутрь лавки. Вроде ничего занятного. Какие-то травы, коренья, настойки и вытяжки, словом, туземные лекарства и благовония. Да и хозяин не сильно обрадовался посетителю. Мельком осмотрев полки, Никита рассеяно пошарил глазами по стенам бунгало и зацепился за бабочку. Огромные черные крылья бабочки отливали зеленью. Она бы здорово смотрелась на фоне светло-зеленых обоев московской квартиры! Никита жестами объяснил, что хочет купить бабочку, и вытащил оставшиеся банкноты. Хозяин усмехнулся, но как-то невесело, и хлопнул в ладони. Бабочка вспорхнула и принялась кружиться вокруг головы фиджийца. Он сделал следующий хлопок, опустив ладони вниз, и летунья села ему на плечо. Человек изменял положение ладоней при хлопках, а бабочка совершала пируэты: то, складывая крылья, планировала, как сорванный листок, то падала острой бритвой в затяжном прыжке, то, как заправский летчик, выписывала «мертвую петлю». Наконец, фиджиец хлопнул ладонями крест на крест, и бабочка прилипла к стене.

Это было чудо! Но чудо нельзя купить! Уставившись на бабочку, Никита принялся запихивать назад никчемные банкноты. Видимо, он сделал неловкое движение: из отделения портмоне выскользнула фотография и упала на прилавок.

– Твоя девушка? – внезапно спросил на добротном английском фиджиец.

– Нет! Не моя жена, – ответил на ломанном английском Никита.

Хозяин бабочки внимательно посмотрел на Никиту.

– Постой! Не уходи!

Фиджиец поднял на уровень подбородка кисть левой руки, обращенную ладонью вниз, и хлопнул по ней сверху ладонью правой руки. Бабочка оторвалась от стены и села на правую кисть, повернувшись головой к лицу человека. Человек принялся что-то ей нашептывать, и ветерок его дыхания сгибал усики и шевелил крылья бабочки, раскрывая их больше или меньше. Казалось, что бабочка кивает, с чем-то соглашаясь

Разговор с бабочкой закончился. Фиджиец левой рукой достал плоскую деревянную шкатулку, откинул ее крышку и хлопнул снизу левой ладонью по перевернутой правой ладони. Бабочка вспорхнула и аккуратно приземлилась в шкатулке. Хозяин бабочки закрыл шкатулку на медный крючок и протянул Никите.

– Возьми! Это подарок!

Никита сжал в руках шкатулку. Искушение было слишком велико!

– Только не делай при Ней так, – сказал бывший хозяин бабочки, выпуская ящичек из своей руки. Он показал, будто собирается хлопнуть ладонью по лбу.

– И что случится? – поинтересовался Никита.

– Тебе лучше этого не знать! – произнес фиджиец.

Времени для дискуссии не оставалось! Надо было торопиться в аэропорт. Выходя из лавки, Никита бросил деньги в глиняный кувшин и, не оборачиваясь, крикнул:

– Это плата за шкатулку.

А стоило бы обернуться и посмотреть! Шурша банкнотами, из кувшина вылезла кобра. Она подползла к человеку и замерла перед ним в боевой стойке, раскрыв пасть. Словно доставая бумаги из канцелярской папки, бывший хозяин бабочки снял с ее ядовитых зубов наколотые купюры, по которым растекся яд, и положил сушиться на прилавок. Когда они подсохнут, ими можно будет расплачиваться за обиды и оскорбления!

Пока боинг выруливал на взлетную полосу, Никита, положив шкатулку на колени, записывал в блокноте, как хлопал фиджиец, чтобы бабочка совершила тот или иной вираж. Вроде все вспомнил! Жаль только, что в спешке не выяснил, что это волшебное чешуекрылое ест. «Да, ладно! – подумал Никита. – Наша секретарша Катенька – бывший энтомолог. Диплом у нее был по каким-то жукам. Разберемся!»

Внезапно в салоне самолета стало темно, как будто на всех иллюминаторах опустили шторки. Раздались удивленные возгласы пассажиров. Никита оторвался от своих записей и поднял голову. На стеклах иллюминаторов, заслонив солнечный свет и плотно прижавшись друг к другу, сидели бабочки. Крылья их были подняты, поэтому они не походили на летающие цветы. Это была масса безобразно копошащихся шестипалых насекомых. Какой-то женщине стало плохо. Одна из стюардесс побежала к пилотам.

Через несколько минут, в динамиках раздался голос командира корабля, который на корейском и английском языках успокоил пассажиров:

– Господа! Нет причин для тревоги! На самолет опустилось облако бабочек! С пульта управления нам сообщают, что они облепили весь Боинг. Это, конечно, очень необычное явление, но бабочки не слоны и не могут нанести корпусу самолета вред. Нашим взлетом будут управлять с земли. Бабочки нежные создания, и те из них, которые не оторвутся от самолета при взлете, замерзнут и отвалятся при наборе высоты.

Командир корабля оказался прав только отчасти. При взлете основная часть бабочек оторвалась от стекол иллюминаторов и корпуса самолета, но оставшиеся раскрыли крылышки и распластались, прижавшись к стеклу и металлу. Самолет оказался закутанным в разноцветную полупрозрачную ткань. Ее создали замерзающие бабочки. Стекла иллюминаторов стали похожи на мозаичные картины. Многие пассажиры лайнера опустили шторки – не хотелось смотреть на солнце и небо сквозь мертвых бабочек. Посадкой Боинга, как и взлетом, управляли с земли, так как сквозь бабочек, примерзших к стеклам кабины пилотов, с трудом можно было разглядеть посадочную полосу.

Телевидение, радио, пресса и интернет не оставили без внимания удивительное поведение

громадной массы насекомых. Дилетантские заметки: от ернических – «Бабы рвутся на юг, а бабочки – на север» – до сострадательных – «Киты выбрасываются на сушу, а бабочки – на мороз» – заполонили газеты. Пространные статьи экологов «Мир без цветов и бабочек» или «Замерзающая красота» от чего-то предостерегали, но ничего не объясняли. Объяснить странное явление могли двое – Никита и фиджиец с острова Вити Лейву, а причина явления находилась в плоской деревянной шкатулке, лежавшей на коленях Никиты.

Открывая дверь в квартиру, Никита не услышал знакомого мурлыкания и шлепанья об дверь лохматой тушки. Кот Нельсон сидел в противоположном углу коридора, никак не обнаруживая радости по поводу возвращения кормильца. Он уставился единственным глазом на Никитину дорожную сумку, и тревожно зашипел. Никита несколько подивился этому обстоятельству, так как никогда не видел, чтобы Нельсон чего-то пугался. Кот и глаз-то потерял в жестокой неравной драке, но не отступил.

Первым делом Никита достал из сумки шкатулку с бабочкой и отнес ее в спальню, чтобы можно было любоваться тропической красавицей, засыпая и просыпаясь. Он открыл шкатулку и хлопнул в ладони. Бабочку вспорхнула и прилипла к стене на уровне Никитиной головы. Чуть-чуть на нее полюбовавшись, Никита вернулся в прихожую разбирать чемодан и дорожную сумку.

Растаскивая вещи по квартире, он зашел в спальню и увидел Нельсона, лежащего под бабочкой. Никита хотел пошутить, дескать «что, нравится красотка?», но уничижительная поза кота его поразила. Нельсон лежал вытянувшись и уткнувшись мордой в лапы, словно боялся взглянуть на бабочку.

– Нельсон! – удивился Никита. – Ты что разлегся, как сосиска?

Кот вздрогнул, будто очнулся, и, не поднимая морду и не отрывая пуза от пола, принялся пятиться к выходу из спальни.

– Ладно, – сказал Никита, – пойду что-нибудь пожрать куплю, а то ты от консервов совсем сдурел. А может от одиночества?

Поход за продуктами занял не более часа.

– Нельсон! – крикнул вернувшийся Никита. – Черт одноглазый, я тебе свежей рыбки принес!

Кот никак не отозвался, и не выбежал в прихожую. Он спал возле бабочки, широко и неестественно раскинув лапы, как будто его пригвоздили к полу. Не желая будить Нельсона, Никита взял его на руки и, поглаживая лохматую голову, отнес на кухню. Рука, гладившая Нельсона, наткнулась на уплотнение на кошачьей шее. Никита положил кота на подстилку и, раздвинув пальцами шерсть, обнаружил опухоль, в центре которой зияла маленькая затянувшаяся ранка. Словно Нельсона укусил громадный комар размером с...

«Бабочка! – содрогнулся Никита. – Хорошенькое приобретение! Однако, чтобы подкормиться, ей хлопков не надо».

Никита вернулся в спальню и внимательно рассмотрел распластанное чешуекрылое. Ему показалось, что брюшко стало бурым. Он хлопнул в ладони, и бабочка принялась над ним кружить. Никита перешел в гостиную, приземлил бабочку высоко под потолком и прикрыл дверь. Чтобы было спокойнее.

«Неприятное открытие, – размышлял Никита, нарезая салат, – красавица и чудовище в одном флаконе. Хотя, если разобраться, милые домашние коты спокойно трескают теплокровных мышей! Кстати, мыши, наверное, подойдут ей для кормежки. Надо бы купить, и лучше белых».

На практике все оказалось проще. Когда Нельсон проснулся, Никита отправил его во двор. Проветриться. Сам сел ужинать. Минут через двадцать кот принялся скрестись. Ругая на чем свет беспокойного домочадца, Никита открыл входную дверь.

За порогом сидел Нельсон с придушенной мышью в зубах. Он прошмыгнул между ног Никиты и остановился у двери в гостиную. Никита понял, впустил Нельсона в гостиную и сказал.

– Ты принес, тебе и уносить!

Нельсон согласно кивнул головой. За процессом кормления бабочки Никита наблюдать не стал. Опасался, что его стошнит, или, что он прибьет это чудо природы тапкой, как заурядную моль.

На ночь Никита опять закрыл бабочку в гостиной, а Нельсона, несмотря на его протесты, на кухне. Почитал перед сном какой-то незамысловатый детективчик, выключил ночничок и быстро уснул, набегавшись за день.

Среди ночи он приоткрыл глаза из-за громкого шелеста, всмотрелся в темноту и вздрогнул. На груди, размахивая громадными крыльями, расположилась черная бабочка. Казалось, что ее хоботок тянется к пульсирующей артерии на шее. «Пугай кого-нибудь другого», – подумал Никита, закрыл и резко открыл глаза, чтобы отогнать дурное видение.

Но видение стало осязаемым – бабочка уменьшилась в размерах и превратилась в мерцающую татуировку на теле темнокожей женщины, ласкавшей Никиту. Жгучие ласки женщины вызвали у Никиты неведомый доселе трепет, а глубоко запрятанная чувственность вырвалась из него и закружилась алой бабочкой рядом с мерцающей черной.

«Кто ты? – подумал Никита, всматриваясь в покрытое диковинными узорами лицо с двумя немигающими глазами. – Откуда ты взялась? Впрочем, я догадываюсь! Ведь я привез тебя в шкатулке».

«Нас называли Духами Листьев, – рассказывало тело женщины, – и мы поклонялись Дереву Жизни. Когда кто-то из племени умирал, с Дерева падал желтый лист, а когда рождался ребенок, на Дереве появлялся зеленый. Каждый лист, как и все люди моего племени, носил имя – Радостный лист, Смелый лист, Хитрый лист, Корявый лист...

Дерево Жизни должен был охранять вооруженный воин, отгоняя от него птиц и насекомых. Однажды сторож засмотрелся на женщину, и на Дерево села бабочка. Вскоре на нем появились гусеницы, но Колдовской лист не велел их трогать. Он сказал, что настало время исчезнуть нашему племени и появиться новому.

Гусеницы изгрызли все листья, и на ветвях Дерева повисли куколки бабочек. Когда бабочки выбрались из куколок и улетели, Дерево Жизни засохло, а мы остались. Но теперь, мы – Духи Бабочек, и я – Дух Черной Печали».

«Жаль, что фиджиец не назвал имя бабочки, – мысленно прервал женщину Никита, – но и ты не сказала главного. Вы – племя каннибалов! И твои губы измазаны моей кровью».

«Бабочка обращается в женщину, когда в ней кровь и плоть мужчины. Ты считаешь, что твоя кровь слишком высокая плата за обладание женщиной?»

Никита проснулся с дурной головой. Тяжело поднявшись с постели и держась за стены, он добрел до ванной. В зеркале отразилось отекшее лицо с красными глазами.

«Наверное, из-за смены часовых поясов, – подумал Никита. – Однако работа есть работа». Он принялся чистить зубы, но занятие оказалось бессмысленным, потому что десны кровоточили так, что можно было захлебнуться собственной кровью. Пришлось ограничиться полосканием рта. Сбривая щетину на шее, Никита увидел ранку, вернее укус и все вспомнил. Вспомнил ночное видение.

Он положил бритву на стеклянную полку и присел на край ванны. Плевать на бритье. Время дорого. В слюне оборотня тропическая болезнь. Эта тварь добивается, чтобы Никита перестал двигаться, и тогда она, не встречая никакого сопротивления, выкачает из него всю кровь. Что дальше? Дальше она родит вурдалака, похожего на Никиту, а где-то в Океании появится роскошная бабочка. Прекрасная голубоглазая или зеленоглазая девушка получит эту бабочку в подарок, и вместе с ней притащит в свой дом Дух каннибала. Это прямая линия, но есть ответвление. Двоюродный брат Илья – этот чокнутый биолог возьмет на память о Никите бабочку по имени Черная Печаль, а эта женщина-оборотень сможет родить еще одного упыря, и, очень вероятно, что не последнего. Почти цепная реакция.

– Черта с два! – прошептал Никита.

Сам он не сможет вести машину. Никита вызвал такси. Нельзя ехать в такси в трусах. Надо довести задуманное до логического завершения. Отдыхая после каждого движения, Никита натянул футболку и надел брюки. Надевание кроссовок было бы запредельным напряжением, хватит домашних тапок. Теперь самое главное. Никита открыл злополучную шкатулку и хлопком загнал

в нее бабочку. Сунул шкатулку под мышку, а деньги на такси в карман, и двинулся на выход. Лучше подождать такси на улице.

У входной двери лежал Нельсон. Никита никогда не видел, чтобы кот плакал. Нельсон перекрыл доступ к входной двери и рыдал, надрывно мяукая. Никита не стал миндальничать, отпихнул кота ногой, открыл дверь и вышел на лестничную клетку. Не было сил закрывать дверь ключами, и он просто ее захлопнул.

Никите пришло в голову, что лифт может застрять, и он не сделает самого главного – не остановит эту чертовщину! Как хорошо жить в старом доме на четвертом этаже! Превозмогая боль в коленях, вцепившись правой рукой в перила, а левой сжимая шкатулку, Никита вышел во двор. На асфальте лежал разбившийся Нельсон, возле него толпились бабки и детвора. Совершенно отвлеченно Никита подумал, что кот выпрыгнул через форточку на кухне.

Такси уже ждало Никиту. Потом шофер рассказывал, что мужик был не в себе, но говорил складно. Хорошо понимая недоумение таксиста, Никита сунул ему в руку все захваченные деньги и сказал:

– Вези в лес! И чтобы рядом была река или озеро!

– В какой лес? – оторопело спросил таксист.

– В ближайший, – ответил Никита, – до дальнего я не доеду.

Они ехали около часа, вначале по асфальтовым, а потом по грунтовым дорогам. Выходя из машины, Никита вспомнил, что забыл зажигалку.

– У тебя есть зажигалка или спички? – закричал Никита.

– Есть, – вздрогнув, сказал шофер и протянул ему зажигалку.

– Я ее забираю. Совсем. Возьми все деньги. На чаевые купишь себе сотню-другую таких зажигалок.

Никита выбрался из машины, и, шатаясь, побрел к маленькому озеру посреди елового леса. Сорвавшись с места, умчалось такси. Никита дошел до воды и рухнул.

Он очнулся ночью. Полная луна отражалась от спокойной водной глади озера. Не выпуская шкатулку из рук, Никита принялся собирать сучья и хворост. Силы стремительно его покидали, но он тщательно и аккуратно складывал громадный костер.

Наконец он закончил свою кропотливую работу. Чиркнул зажигалкой и отошел. Сухие еловые лапы быстро занялись, и скоро на поверхности озера рядом с мертвой луной заплясало живое пламя костра. Никита бережно положил шкатулку в огонь, пламя лизнуло его голые руки, но он не чувствовал боли. Он должен был видеть, как сгорит шкатулка.

– Эх! Медный крючок такой хилый. Надо было перекрутить шкатулку крест на крест медной проволокой! – Никита хлопнул себя ладонью по лбу.

Он так и упал в костер, прижав ладонь ко лбу. Темнокожая женщина, выйдя из еловой темени, бесшумно и легко разбежавшись, метнула копье Никите в спину. Упругое древко с тяжелым кремневым наконечником легко прошло сквозь его тело, разорвав сердце в клочья. Никита даже не успел вскрикнуть.

Покореженная огнем шкатулка распахнулась, и из пламени вылетела черная бабочка. Сделала круг над головой женщины и села на ее обнаженную левую грудь. Черная Печаль так и осталась на женской груди, приколотая, как булавкой тонкой серебряной стрелой, выпущенной из духовой трубки.

– Вот и соединились Дух и Тень! – произнес фиджиец, когда женщина и бабочка исчезли. Он подошел к костру и покачал головой, глядя на неподвижное тело Никиты.

.....

– Как зовут бабочку? – спросил Никита, не решаясь принять подарок.

– Черная Печаль, – ответил фиджиец.

– Не надо печали, в моем Отечестве ее избыток, – сказал Никита, возвращая шкатулку. – Это деньги за шоу бабочки, – добавил он, выкладывая девять фиджийских долларов на прилавок.

Никите повезло, он сидел возле иллюминатора, и, пока боинг летел над океаном, рассматривал нереальные острова Океании. Так удачно сложилась эта поездка!

Вставляя ключ в замочную скважину родной захламленной квартиры, он услышал радостные вопли Нельсона. Кот сидел в прихожей, а рядом в старом Никитином халате стояла... Мария, русоволосая девушка с фотографии. Никита опустился на пол рядом с Нельсоном.

– Слушай, по твоей просьбе я приходила кормить Нельсона, – как бы оправдываясь, начала Мария, – а потом перебралась к нему совсем.

– Ну, ясное дело, он еще не таких кошечек уводил. Один выбитый глаз чего стоит.

– Да? – произнесла Мария, присаживаясь возле Никиты на корточки, – Но, ты ведь кот не хуже и, наверняка, нашел там какую-нибудь смуглую бабочку. Ну, и как ее звали?

– Бабочку звали Черная Печаль, но у нас с ней не получилось романа. Я чувствовал, что дома меня ждет Светлая Радость! – сказал Никита и поцеловал Марию в губы.

Алексей ПОРВИН

* * *

Чувством тычешься в сон, в простыню, во мглу,
где душа не зажмурит ни кровь, ни прах:
всё стоит и глядит на себя в углу
и на темень в дверях.

Не оттуда приходит ребёнок мой,
зря ты смотришь туда, убедись в одном:
он увязнет по сердце, идя домой,
в твоем взгляде больном.

Она смотрит, становится мраку – мать,
говорит: я люблю тебя, я люблю,
я прощаю за всех, кому впредь не встать,
в ком болею и сплю.

В ком люблю – мои дети, а этот мрак
не обнять не смогу, он идёт сюда:
он отзывчив, как два эти слова – как
никогда, никогда.

* * *

До горла птицы не доходит тень,
во рту застряв,
где жив пока отец, и длится день
среди стволов и трав.

Там муть реки и удочка в руке.
Шуршит пакет
хвостами рыб, оставивших в реке
последний всплеск и свет.

Пока у птицы рот открыт, всё есть;
но стоит вдруг
его закрыть – настанет мрак, как месть
за всё, чем был испуг.

Испуг был всем: водой, отцом, крючком.
Он не был мной.

Алексей ПОРВИН родился в 1982 году в Ленинграде. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Нева», в сетевом литературном журнале «TextOnly». Постоянный автор сайта «Новая Камера Хранения». Живет в Санкт-Петербурге.

Я стану птичьим ртом, чтоб ни о ком
твердить молчащей тьмой.

И окончанье песни, как крючок
щекочет рот.
Возьми его, о птица, в свой молчок,
как рыба в свой – берёт.

* * *

Кто ни зажимал тебя, свирель, пытая
полостью твоей Господний мягкий слух,
обволакивая словно вещь простая
вещь несложную в закон схожденья двух?

Ты – челнок, везущий душу в звук везучий.
Сироте грядет отмена сироты -
приговор светлейшего из всех трезвучий
золотит умы и рты.

Сядем, на двоих разложим голос, слово -
так, что и не скажешь, где тут чье и чей.
Друг на друга глядя, подождем другого
сироту простых вещей.

* * *

В синеву, держащую птиц
за способность дальше лететь,
переходит нагретая крыша, не зная:

для неё движение вверх
означает только себя.
Окончание дома блестит облаками.

А на крыше – вон – человек:
он собой в крыло перейти
норовит, но не знает значения взмаха.

Небо держит всё, что здесь есть
за способность вовсе не знать:
только взмах в синеве – продолжение тела.

* * *

Душа окна сегодня бела,
и тёмным точкам далёких птиц

легко в морозный блеск исчезать,
слепящей нежностью став.

И тело у окна не болит:
кто жив прозрачностью, тот здоров,
и знает, как в себя пропускать
стеклянную белизну.

Случаен забредающий вглубь
обзора, но – почему-то мил.
Идёт – как будто что-то растёт
внутри стеклянной груди.

Окно его удержит в себе:
его шаги – для стекла – мечта;
покрыто белым снегом пальто,
он – мой единственный друг.

* * *

Нужное ничто засекать, согрев
заповедь терпения дождевой
не-бедой, струящейся жизнь-травой,
говорить «я твой».

Ересь кожи, пальцев холодный блеф –
нерушимо тихнут в такой воде,
вера обретается здесь/нигде,
говорит «те-те».

Пальцем стариковским тебе грозит:
без меня не будь, не ходи, не смей,
жизнь-трава, я знаю, таких кровей,
но тебе видней.

Но тебе – ничто засекать, где вид
жизни прорастает, в руках струясь,
но тебе – на небо оборотясь,
разглядеть, где связь.

* * *

to Jane Hirshfield

Душа разгибания, как тебе в локте?
Кому бы тебя подарить?
Вот скрючено слово, и согнуты фразы,
лежащие на столе.

Вот, собственно, речь: в оболочке согбенной
по комнате смыслы влачит.
Как воду, в раскатистый льёт позвоночник
усталость – свои шаги.

Душа разгибания, ты оживала
при нужном движеньи руки
о просьбе, о помощи и о защите;
и тело твоё – сустав.

Вот новое тело твоё, обживайся
А ну – где дифтонг? Шевельни.
Пусть речь и не ведает, что же творится
в неправой моей руке.

* * *

Формочкой, одолженной в саду
детском, потому настолько вечном,
ты формуй огонь в сухом аду
с воздухом чуть влажным и заплечным.

Пламя насыпай совочком, и
взмахом замешав, в песок впечатай:
получился зайчик – покорми,
у него появятся зайчата.

Это боль? Под формочку её:
пусть черты живого будут в боли.
Старость не влезает? Ну, вранье –
по грешку по малому сыпь, что ли.

Заячий увидишь силуэт,
уши с высоты видны как крылья –
ангельских-то формочек здесь нет,
форму человечка мы забыли.

И вокруг рельефное прыг-скок
профили богов заменит скоро.
Жизнь – прыжок, и смерть, увы, прыжок:
прыг да скок – чего тебе иного?

* * *

Стану слушать, себе дивясь:
кому голоса даны?
Жизнь по-прежнему говорит
на ломаном пятаке.

Ставит буквы, как оттиск – вглубь,
никак их нельзя прочесть,
лишь в единственной темноте,
уткнувшись прохладой век.

Где же в граде у вас фонтан?
Я брошу монетку, чтоб
вновь сюда не прийти за тем,
за чем не пришел теперь.

Наклонюсь, зачерпну воды
ладонью, в которой медь
так пригрелась, что в ней – следы,
похожие на строку.

Владимир ГЛЕЙЗЕР

Любовь и морковь

Посвящается юности

Типичный случай – им по 18, и они любят друг друга. Оба студенты одного вуза и одного факультета, но разных потоков. Так что даже как бы разных факультетов, что на учебное время укорачивало число встреч. А видеться во всех смыслах хотелось, а расставаться – нет. Первое долгое свидание – в колхозе на летней отработке. Но вокруг постоянно люди, свои, конечно, в доску, но нет ничего надоедливей, чем постоянство. Хотелось романтики и только вдвоем. Очень. Уехать куда-нибудь? Например, на море!

Морей, кроме двух чисто внутренних – Балтийского и Черного, тогда для жителей европейской части СССР не существовало. Первое, песочное – было для богачей, второе, галечное – для бедняков. Первое – курортное, второе – тоже путевочно-санаторное, но в очень большом остатке – для «дикарей». С рюкзаками и палатками, сухарями и консервами на небыстрых поездах, на машинах-развалюхах, мотоциклах и велосипедах, как один человек, весь советский народ совершал летний хадж в солнечную Мекку – за сто рублей на берег самого синего в мире Черного моря его.

В любовном тандеме я крутил передние педали – и мое дело было рулить, а ее – в такт усиливать напор продвижения. Друзья-сокурсники – их звали Фан, Бессоныч, Хил и Тишка – заработали помощниками комбайнеров на подшефных колхозных полях по 120 р. отпускных. Мы с любимой в другом колхозе токовали по вечерам, а на мехтоку в дневное время на двоих налопатили шиш да маленько. Но в поход на море собрались тоже. По-разному.

У Любимой уехали на отдых в те края родители, и настойчиво звали утомленную сельхозтрудами праведными доченьку присоединиться. У меня была коллекция марок, один альбом из которой, «Политические деятели мира», для меня особой ценности (по сравнению с любовью) не представлял. А филателист Эдик Маслов, первый в моем поле зрения здоровый мужик с наманикюренными пальцами, непрерывно поэтому цитировавший Пушкина – «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», – давал мне за него ровно 120 рублей. У Эдика не было «горя от ума» (Грибоедов), и посему водились лишние деньги. Так что я легко вписался в коллектив кморюплавателей вступительным взносом.

Пункт назначения легко был выбран по родительским координатам – город-курорт Геленджик. Куда мы и отправились вшестером в прицепном плацкартном вагоне всей шлеп-компанией. С домашними пирожками и портвейном «777», к которому мы дружно переходили, исходя из привходящей скромности будущей жизни. На всякий случай, тут же в купе, мы накладыванием дланей поклялись не употреблять (не более чем на месяц!) крепких алкогольных напитков, ритуально изорвав специально отклеенную этикетку «Московской особой».

Постоялое место на окраине «Мекки» (нашим единственным условием была дешевизна) нам, парням из нашего города, забронировали предки Любимой. Хозяйкой ангажированной комнаты оказалась жердеобразная некрасивая гречанка лет тридцати Марула Ставроди, которую в соот-

---

Владимир ГЛЕЙЗЕР родился в 1944 году в Саратове. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики. Автор многих статей, эссе, памфлетов, рассказов. На сцене саратовского драматического театра и киевского академического молодого театра шли его пьесы-сказки для детей. Два издания выдержала книга «Записки пьющего провинциала». Публиковался в журнале «Волга». Живет в Саратове.

ветствии с ее прейскурантом мы звали Марула Полста-вроде. При всей напускной строгости, она была крайне добра и смешлива, мы ей нравились, и она любила с нами поболтать о том – о сем, осторожно потчуя северных красавцев терпким домашним, крепленым табаком вином, сильно подкрепляя этим действом наш скудный бюджет. Из курса греческого языка, который она нам, любя, преподавала, я запомнил только счет до десяти – эна, диа, триа, тесера, пеенди, экс, офто, эхто, энея, дека, или что-то в этом роде. Комната была большой с окном в палисадник – две полуторные кровати и диванчик. Мы бросили жалкий жребий свой, и спальные места распределились так: на кроватях валетом я с Тишкой, Хил с Фаном, на диванчике – везучий Бессоныч, держатель общей кассы, человек непреклонной воли и сосредоточенного самосознания.

Целую неделю мы плескались в невысоких волнах Черного моря, ели дешевые овощи и фрукты, обедали в еще более дешевой забегаловке самообслуживания, и, не успев устать от однообразия свободной жизни, потянулись к перемене мест. Сначала это были места не столь отдаленные.

На седьмый день под руководством Тишки мы мужским составом (Любимой хватило ума!) пошли в пробный пионерский поход на Толстый Мыс. Геленджикский залив был природой огорожен двумя мысами: западным – Тонким, и восточным – Толстым. Тонкий мыс был окультурен, на нем росли реликтовые сосны, и среди них разбит городской парк. Толстый Мыс был дик и неухожен, располагался вдали от городских построек, и нормальные люди туда не ходили. Ненормальные тоже. Мы пошли. Пошли налегке – в плавках и сандалиях, без еды и питья, так как с нашим атаманом не приходилось тужить в присутствие любого жилья и даже одинокого странника. Сердобольные (и не) граждане снимали с себя последнюю рубаху, чтобы удовлетворить скромные потребности в пище и воде белокурой бестии с грустными серыми глазами, который нес такую ахинею, что незнакомые люди поголовно впадали в благотворительную кому. Мы привыкли к этому первобытному коммунизму, и если, как пелось в песне, «шеф давал нам приказ, мы шли в Кейптаун».

Толстый Мыс был необитаем оттого, что к морю подходил крутым обрывом довольно большой высоты, а прибрежная каменистая полоска метровой ширины не позволяла даже найти места для загорания. Вот по ней-то мы и прошагали часа два, не встретив не единой души. Когда нам по молодости и душевной простоте захотелось пить и есть, внимательный к чаяниям членов отряда командир остановился и, указав на тонкий ручеек, где-то наверху пробивавшийся из практически отвесной стены, сказал: «Здесь мы и проведем восхождение к резервации белых людей, мирно пасущих свои тучные стада. Там мы будем есть мясо и пить молоко. И то, и другое – парное!»

И мы цепочкой полезли вверх по осыпающемуся обрыву. Первым до источника влаги дополз Тишка. Он подставил ладошку, набрал в нее несколько капель, слизнул их сухими губами и возопил: «Чище этого боржоми нарзана я не пил!» Я подполз вторым, повторил ритуал командора и чуть не помутился разумом – по всем признакам запаха и вкуса мы впервые в жизни отпробовали мочу!

Поддерживая хохму, я сделал лицо и сказал «вах-вах!» следующему жаждавшему. Третий, а за ним и четвертый вступили в розыгрыш. Пятым был иссохший на солнцепеке Бессоныч, который набрал полную пригоршню и выпил ее залпом. После чего заорал нечеловеческим голосом и начал забрасывать нас камнями. С одной стороны он поступил правильно, а с другой нет: нельзя рубить сук, на котором сидишь, нельзя кидаться камнями, на которых лежишь! Бессоныч с визгом скатился прямо в морскую пучину. Там, матерясь, он промыл рот и расцарапанное пузо, и еще полчаса мы ждали его на вершине, прямо у лошадиного стойла, и являвшегося источником живительной влаги.

Слава Богу, плато представляло собой совершенно безлюдную виноградную плантацию. И сориентировавшись по солнцу, мы вышли на большую дорогу, набив по пути животы бесхозным недоспелым виноградом. На дороге стоял огромный фанерный щит, на котором толстенными буквами красовалась надпись: «ОСТОРОЖНО – ФИЛОКСЕРА! САД ОБРАБОТАН ЯДОМ».

Мы мужественно, без скупых слез попрощались друг с другом перед неминуемой смертью, но на всякий случай вставили себе по два пальца в рот. И что бы вы думали? Черный ангел даже не задел нас своим крылом!

Перемену на места более отдаленные придумал все тот же вездесущий Тишка. «Ребята, а также девчата – вскричал он, – есть уникальная возможность практически на халяву морским путем доехать до Сочи и обратно! Я уже обо всем договорился».

Тотчас за какие-то копейки были куплены палубные билеты на супер-дизель-электроход «Россия» (и он, и его аналог – круизный лайнер «Адмирал Нахимов» были перекрашенными трофейными теплоходами, и один из них, путаюсь, который, скромно назывался прежде «Адольф Гитлер»). Палубные билеты – это без койки: можешь спать стоя, сидя, лежа, но где попало. С этим аусвайсом ты свободно перемещался по всем палубам и надстройкам, с правом захода в бары, рестораны, купания в огромном бассейне на верхнем этаже, а также – в игорный зал на 20 ломберных столиков, всего, что осталось от роскошного когда-то казино. Но нам и их хватило!
Заблудившийся, и, как выяснилось позже – заблудший, друг Хил вернулся из злачного места со слезами на глазах: за полчаса он умудрился проиграть в дамский преферанс двум лысым мужикам солидную часть нашего неприкосновенного запаса, отдав злоумышленникам 32 рубля и оставшись 2 рубля им должным.

«Они шулеры, Вова!» – сваливал на объективные обстоятельства свое крайне субъективное поведение растратчик социализированной собственности. «Хил, если это шулеры, то тебе повезло, но если это порядочные люди, то наши финансы спели реквием», – сказал я твердо, и я знал, что говорю. Дело в том, что, играя на досуге в карты на «интерес», то есть на деньги, и имея от этого некий навар даже к повышенной стипендии, я являлся одним из немногих читателей затертой до дыр дореволюционной книги «Игрокъ на все руки» с подзаголовком «Пособіе противъ карточныхъ шулеровъ».

Про дамский (он же – джентльменский) преферанс в неиссякаемом источнике было написано примерно следующее (реликтовые стиль и орфографию опускаю): «Кроме коцания карточек и парной игры, которые легко разоблачаются нашим добрым читателем, используются только две сменки – мизер на десять взяток и десятерная без шести. Как играть этот подвох – далее. Но скажем сразу, что уже при получении на руки эти сдачи, вы безо всяких последствий можете бить сдающего подсвечником по голове!»

С учетом этих кабалистических познаний, я незамедлительно отправился в обитель разврата в сопровождении Хила и трех рвущихся в бой за правое дело дочерна загорелых еще с колхоза помощников комбайнеров. Отстраненную от крепких мужских забав Любимую мы в ждущем режиме оставили в баковом баре пить коктейль через натуральную соломинку – на пластмассовые в корабельной кассе, видимо, не хватило валюты.

В бывшем казино лысые мужики очень преклонных лет с рифмующимися именами Леня и Моня ждали возврата долга, попивая давно прописанные им врачами «Ессентуки № 17». Отдав 2 рубля, Хил потребовал незамедлительного матча-реванша в исполнении своего младшего брата – меня. Мы с жертвой были ровесниками, но после нагрянувших переживаний Хил действительно выглядел перестарком. Жадные до легких денег плешаки тотчас согласились на свои лысые головы. Когда я сказал «пас» на «мизер на десять взяток», шарообразные удивились, но профессиональная алчность взяла верх, и следом мне сдали «десять без шести».

Я в полном согласии с первоисточником сыграл на этих картах восьмерик на трех козырях, чем поверг понтеров в изумление, переходящим в уныние. Последнее наступило после заготовленной мной тирады: «А теперь, падлы, верните брату проигрыш, и заплатите мне столько же за науку. Возражения не принимаются: три янычара с ятаганами ополовинят ваш коллектив по простому взмаху моей руки. Бекицер, шлимазалы (что означало «быстро, кретины» на родном языке шулеров)!» И показал на томящихся в дверях трех русских богатырей во главе с Бессонычем, с художественно исполосованной свежими шрамами грудью. Не произнеся не единого слова, Леня и Моня выдали на-гора 68 р. 00 коп. Не дожидаясь вечера, у нас начался праздник.

Со сходом в Сочах на берег мы провели в путешествии ровно неделю и вернулись к заскучавшей без симпатичных троянцев ахейке. Особенно скучала гречанка о Тишке. И это не удивительно.

Белозубастого и стройного тогда блондина Тишку любили все, а особенно девушки. Для них на редкость словоохотливым красавцем был выработан и всегда к месту применялся особый язык – язык мелких и, казалось бы, непроизвольных ошибок. Тишка называл массандровский портвейн «мансардовским», колоратурное сопрано – «клавиатурным», и зазывал, трагически завывая, опешивших девиц мрачными стихами «Приходи ко мне в могилу – погнием вдвоем!». И радостные девицы шли в очередь на заклание.

Однажды он вошел в нашу монастырскую келью, потирая руки. «Вечером я поведу не всех в музей. Местный, неизвестно, какого хрена ведческий. Почему не всех? Потому что владельцы походных самоваров в Тулу не ездят, а в музее после окончания рабочего дня состоится оргия. По формуле «4 на 4». Четверо нас, странников перехожих, на четверо совершеннолетних экскурсоводш молочно-половой зрелости. И «оргианизатором» буду я! А вы, одиссеи безродные, купите или стырьте, что лучше, у вах-канки Марулы пару бидончиков огнедышащего древнегреческого зелья. Не приходить же к илиадам с пустыми руками! Конкретное место для «ебивуака» я уже выбрал».

Впоследствии я созерцал весь этот «ебивуак» на блеклых черно-белых фотографиях, отснятых нашим походным ФЭДом без экспонометра и проявленных уже на родине. Оргия проходила на стоянке древнего человека! Человеческий рост папье-машевых неандертальцев только подчеркивал естественность происходившего: полуголые до трусов одиссеи и пенелопы у тлевшего костра с нечеловеческой прожорливостью обгладывали «кости мамонта», временно позаимствованнные у ополоумевших муляжей, и пили под них огненную воду. Ритуальные танцы со всей очевидностью демонстрировали гениальность режиссера-постановщика. На сексуальные сцены было наложено табу. И были они, или нет, не имело никакого художественного значения. Тишка заслуженно получил почетное звание «Народный артист Неандертальской АССР»!

Не могу не указать и на политическую дальнозоркость нашего полководца. В программе вышеописанного морского круиза на бывшем «Адольфе Гитлере» было обязательное посещение сильно засранных рабочими, крестьянами и трудовой интеллигенцией всесоюзных заздравниц – озера Рица с шашлыком на саблях и Голубого озера с купатами на рапирах. Переезжая где-то перед Гантиади из Краснодарского края в солнечную Абхазию Грузинской ССР, автобусная гидша пошутила: «Пересекаем границу двух братских республик, товарищи!» «А почему не проходим таможню?» – строго спросил Тишка.

Так ровно на полвека вперед настоящий в будущем государственный муж и подполковник КГБ в отставке «Тишка» предсказал никем, кроме что диссидента Амальрика, не ожидаемый распад СССР!

Вынужден, как честный бытописатель, коснуться не самой ароматной части исторического завоевания стоянки древних охотников на мамонтов. Как известно, в любом походе воину не обойтись без возвращения. Возвращаться бойцам сексуального фронта было тяжело, мягкое воздействие марулиной огненной воды переходило в жесткое, пропорционально возливанию. В частности, нарушались естественная функция мозжечка и координация во времени и пространстве. Если бы не хитроумный проводник Тишка, пути назад курсанты-экскурсанты бы не нашли. Но. По длинной улице греческого гетто, где мы столь чудесным образом обитали, проходила арычная канализация всей верхней части достопамятного города героев Геленджика. Представляла она забетонированную по бокам траншею без верха, по которой бурным потоком сливалась в сторону ничейного моря вся бытовая грязь. Арык почему-то не вонял. Но это только казалось. Великий оргианизатор не искал в жизни прямых дорог, он шел по ней, как ему было удобно. Чтобы не сильно плутать по неосвещенному ночному городу, дойдя до пересекавшего их путь арыка, Тишка показал на личном примере находчивость, достойную ходока за три моря. Шерп закатал до колен штаны, взял в руки ботинки, спустился в арык, и здраво предложил послепраздношатающейся

братии: «Теперь, никуда не сворачивая, мы попадем через тернии прямо в рай к Маруле!» Что и случилось без каких-либо колебаний от линии партии. Небольшая конфузия случилась только с Фаном: он поскользнулся на говне и в него же пластом упал.

Я проснулся от необычного амбре, когда блудодеи под утро проскользнули в комнату. Но это еще было полбеды! Усталые путешественники привычно разделись, и каждый лег на свое место. Тишка – в мою кроватку. Валетом!!! И захрапел непробудным сном. Я никогда не спал в сортире и убежал в Марулин палисад. И только терпкий запах инжирового дерева привел меня в чувство.

Преображение в питекантропов и два последующих дня, проведенные с гетерами-неандерталками, сильно подкосило финансовое положение охотников до мамонтятины. Бессоныч, как наиболее чувствительный к перекличке поколений и лорд-хранитель банкнот, уговорил Хила и Фана поскорее исчезнуть с места возможных материально-сексуальных излишеств. И они вяло пошли у него на поводу, тайно купив билеты в общий вагон поезда Новороссийск-Саратов.

Я, Любимая и Тишка остались паломничать в Мекке без друзей, что обидно, и без денег, что нас практически не волновало. Более того, мы решили оттянуться на всю катушку в малом составе. Очевидная бедность нас нисколько не смущала. Вещизмом мы не страдали, а еды вокруг было намного больше ее поглощающих.

«Все! Поезд ушел на Восток, дружно переходим на подножный корм. Рекомендую морковь. Мне она поможет каротином в эмоциональном, а вам, любовникам из Вороны – в чисто физическом смысле! Если надо, я ради вашей любви пойду на паперть».

Папертей, к счастью для боговерующих, в Геленджике не было, не то бы Тишка с его зашкаленной коммуникабельностью на добровольных началах обобрал всех до нитки.

Сдав в пункт приема стеклотары скопившиеся на нашем лабазе бутылки из-под кефира, мы отправились в дешевую чебуречную добрать недостающие калории. Как вдруг, заре навстречу, с товарищем в борьбе по геленджикскому терренкуру павой проплывает дородная красавица лет пятидесяти под ручку со сморщенным старичком. «Ба! – прошептал я внутреннему Добчинскому, – да это моя родная тетка Елена Борисовна с мужем, старым большевиком Минчуком!»

«Все свободны, а я занят потребительской кооперацией!» – сказал я Тишке, а Любимой добавил стихами «Жди меня, и я вернусь, только очень жди!» и отправился на опознание.

«Здрасьте, тетя Лена и дядя Гриша, как я рад вас увидеть», – совершенно искренне сказал я курортной паре, которую я узнал, и которая меня не узнала по одной и той же причине – последний раз мы виделись лет 10 назад. И они за это время, в отличие от меня, не сильно изменились. «Кто ты, мальчик? – по-учительски вежливо и строго спросила меня тетя, школьный завуч, – и откуда ты знаешь, как нас зовут?» Подробности, устанавливающие мою личность и степень нашего родства, я высыпал в количестве трех коробов, и первым, как опытный политкаторжанин, старый большевик Минчук понял, что он попал на бабки!

Четыре дня я за обе щеки вкушал уже подзабытые горячие яства с семейного стола, сильно сокращая расходы на питание товарищу и Любимой. Более, то, что было возможно, с барского стола я тырил, закладывая украденное гроздьями честно получаемого от родимых доброхотов винограда на десерт. Перед отъездом тетка дала мне 25 рублей и написала на листочке адрес своего сына Вальки, летчика-истребителя женщин в городе Ростове-на-Дону и моего дорогого двоюродного брата. Обе бумажки очень нам пригодились. Одна сразу, другая потом.

Узнав о месторасположении Валькиной воинской части и будучи уверенным, что яблочко от плодоносящей яблони далеко не падает, Тишка сразу же предложил добраться автобусом до близлежащего Ростова, позаимствовать у капитана ВВС часть его баснословного денежного довольствия и поехать в Саратов на пароходе через Волго-Донской канал. «Одно дело – курить в заплеванном вагоне, а другое – на маленьком, может быть, даже колесном «Адике Гитлерюгенде» водной артерией пересечь необъятные просторы нашей социалистической Родины!» – пять минут уговаривал нас Мефистофель.

К вечеру следующего дня мы были на Ростовском вокзале. Но тут случилась закавыка: у Любимой неожиданно подскочила температура выше градусника, и она по состоянию здоровья не

могла передвигаться даже ползком. Временное пристанище Тишка организовал незамедлительно – мы устроили Любимую на ночлег в свободную короткую кроватку в привокзальной Комнате матери и ребенка. А сами взяли такси и поехали в воинскую часть к предполагаемому богатому гусару.

Череда невезений продолжалась. Мало того, что военный городок располагался у черта на куличках, и шофер (видимо, глухонемой) не поддался на уговоры и содрал с нас непомерную плату, главный конфуз ждал нас на месте своего назначения. Военный летчик радостно встретил нас в два часа ночи в семейных трусах без погон и без копейки денег! «Понимаешь, Вовка, прямо вчера Люська съехала, типа в развод, и кроме форменной одежки ничего в доме не оставила. Хотя вру, пузырек в заначке у меня завалялся!»

Ничего лишнего и насущного не говоря, мы распили бутылку водки, привычно поспали часок валетом на диване без простыней и одеяла, приехали в Комнату матери и ребенка, забрали оттуда к счастью пришедшую в сознание Любимую, без билетов сели в проходящий поезд и бесславно уехали на историческую родину.

Дома у Хила, непонятно почему встретившего нас на привокзальной площади, всех ждал праздничный ужин с фаршированной щукой, которую чудесно готовила гостеприимная Хилина мама.

Евгений АЛЕХИН

Первая половина дня

В воскресенье в первой половине дня Тимофей лежал у себя в зале на диване. Это была обычная комната, в меру прибранная, в то же время в меру неприбранная. Он лежал с книгой в руках, но если и читал, то очень уж невнимательно, и если вы бы спросили через полчаса, что он читал: «Путешествие Нильса с дикими гусями» или «Печки-лавочки», он вообще едва ли бы вспомнил, что держал в руках книгу. У него болела голова, и он думал. Пока не вошла жена и не начала говорить, продолжая прерванный свой рассказ:

– А потом я побежала в метро... Но я не успела, то есть не успевала... Но я была в самом начале поезда, то есть двери уже закрыли, но меня увидел машинист... Они открыли мне, и я села к ним... Их было двое... Володя и Володя, так они сказали...

Тимофей посмотрел на нее полсекунды, потом стал смотреть на стену и сказал:

– Володя и Володя.

– Да... сначала один сказал: Володя, и тут же второй: Володя. Очень смешно...

– Очень смешно.

Как она всегда может всему радоваться? Что с ней? Почему бы ей кого-нибудь хорошенько не возненавидеть? С какой она планеты?

– Ну что ты бурчишь? – сказала жена, – Что ты все время недоволен?.. И они позволили мне поехать с ними, только сказали пригибаться на станциях, чтобы им потом не влетело, и дали порулить...

– Порулить? Там есть руль?

Дались ей эти Володи? У него было чувство, что он старше ее, хотя ему было 20, а ей 26. Жена подошла к дивану, присела к нему и положила руку ему на лоб:

– Болит опять?

– Не болит.

– Давление смерим?

– Вот забава, нашла игрушку...

Жена встала:

– Что с тобой?

И губы вытянула. Тимофей положил книгу на пол рядом с диваном, глядя в окно спросил:

– Что с тобой?

– Просто хотела смерить тебе давление.

– В жопу смерь давление.

Это он, конечно, погорячился. Надо бы поаккуратней, она же все-таки тоже живой человек. Она же, возможно, его любит. Он, возможно. Возможно?

Жена села на кресло. И молчит демонстративно. Обратно старая-добрая игра в обидки. Тимофей даже соизволил встать и оглядеть комнату.

– Что там случилось с твоими Володями?

– Сам в жопу со всеми Володями.

– Мне правда интересно.

– Почему ты бурчишь? Бурчишь и бурчишь.

Евгений АЛЕХИН родился в 1985 в городе Кемерово. Сменил три института и несколько профессий. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге. Жанр, в котором пишет, определяет для себя как «детская литература для взрослых». Публиковался в журналах «Октябрь», «Волга–XXI век», «Нева», «Крещатик», в коллективных сборниках.

Тимофей почему-то опять занервничал.

– Мне интересно, что там произошло с тобой и с Володями. Два Володи. Ладно бы один, но их два, мне интересно.

Жена откинулась на спинку кресла. Глаза закрыла, устала, бедная, от него. Тимофей сказал:

– Расскажи.

Не отвечает. Тимофей несколько раз повторил просьбу с разными интонациями. Жена игнорирует, значит. Спокойней. Ну, поболит твоя голова, перестанет. Никаких больше запоев. Гипертония в двадцать лет. Увольте. Жена. Почему она не отвечает? Тимофей вышел из комнаты, погремел на кухне секунд десять, вернулся с ножом и уселся на свой диван:

– Я придумал, если ты не расскажешь, я буду чертить палочки у себя на руке этим вот ножом.

Жена открыла глаза. Посмотрела на него. У нее ясные глаза, все-таки она не глупа. Она, может, поумнее его будет. И симпатичная, красивой можно даже назвать без зазрения совести, серьезно, можно.

Жена сказала:

– Придумал. Молодец. Опять началось. А почему этим?

– Я думаю, получатся красивые такие черточки.

– Ну, раз красивые.

– Точно не хочешь рассказать? Мне правда интересно. Целых два машиниста, да еще и оба Володи.

– Читай свою книгу.

– Но ведь они дали тебе порулить. Со мной такого в жизни не случалось. Такой опыт исключительный. «Володя и Володя. Машинисты мира».

Не ответила. Тимофей про себя досчитал до тридцати. Сказал «ладно» и провел себя по руке ножом. Наверно, он и правда не очень умный человек. Ребенок он еще. Ну его. Появилась красная неглубокая полоска, и вправду довольно красивая, даже немного крови вытекло. Жена закрыла лицо руками:

– Прекрати. Что ты делаешь?

Тимофей настроил свой голос на спокойнейший тон:

– Пожалуйста, расскажи мне, что было дальше.

– Что ты делаешь, – открыла лицо, она не заплакала, это хорошо, – что я тебе сделала?

– Мне нужно знать, что произошло с тобой и двумя Володями.

Жена не ответила, тогда он опять провел по руке. Да, с головой у него явно не все в порядке. Раз на днях он сел на балконе на парапет, почти не держась, когда жена спала. Упадет, думал, так упадет, не упадет, думал, так не упадет. Ночь была. Зачем он ее доводит? Тимофей подождал ответа или реакции, или манны небесной, и ушел на кухню отнести нож. Жена, когда он вышел, легла на диван лицом в подушку. Тимофей вернулся и сказал:

– Извини... Я не хотел.

Жена не ответила. Он опять извинился. Еще несколько раз извинился. Уходи, говорит она. Вот так. Приехали.

– Пожалуйста, извини.

– Пожалуйста, уходи.

– Куда?

– В туалет.

– Ну что ты? Я же извинился.

– Ну что ты? Я же извинился, – обиделась совсем.

– Ну что ты?

– Что, что ты?!

– В туалет? – он опять начал нервничать. Почему он такой псих?

– Угадал, – говорит она. Вот, значит, как она. Вот. Вот так.

Тимофей пошел в коридор, обулся, вышел в подъезд, хлопнул дверью. Вышел во двор, подо-

шел к своей машине и открыл ее. И сел в нее. И куда ехать теперь? Плохо все-таки быть идиотом. Он попытался завести. Не заводится. То ли облегчение, то ли злость. Но он ее заведет. Ни одной машине на свете он не позволит мешать ему ссориться с женой. Захочет – сам помирится, без машининого участия. Не заводится, сволочь. Ни в какую не заводится. Тимофей закурил. Вышла жена, встала недалеко от машины и говорит:

– Пойдем домой.

Возможно, она поплакала маленько. Тимофей сказал:

– Она не заводится.

А жена стоит и смотрит на него, как на больного ребенка. Да и сама – как ребенок. С родителями бы жить вам, дети. Жениться. Туда же.

– Она правда не заводится.

Стоит и смотрит. И смотрит.

– Она правда не заводится. Попробуй сама.

Стоит и смотрит. Тимофей еще раз повторил. Свою просьбу. Он вылез. Тогда жена подошла, села в машину, Тимофей наоборот зачем-то встал на ее место. Жена с первого раза завела машину. Всегда так. Все через жопу в этой жизни происходит. Она посидела немного, вылезла, не выключая зажигания. Свободу выбора предоставляет, значит. И молча пошла домой. Тимофей посмотрел на машину, закурил еще сигарету, потом подошел к машине, выключил зажигание, посидел немного, вытащил ключи. Закрыл машину, пошел домой, выкинув бычок по дороге. Нужно быть спокойней, думал он, и еще думал, что пора бы уже обед готовить, наверное, курицу сделает с луком в сметане. Только в магазин придется сходить. Да, курицу приготовит, так, как жена любит. Как Таня любит, ее ведь Таня зовут, напомнил он себе.

2006

«Мое открытие Америки»

Миша жил в Pizdopropaschinske. Это небольшой город в Мухосранской области. Ну, не настолько небольшой, конечно, чтоб уж все люди друг друга знали в лицо. В общем, город, примерно, на сто тысяч жителей. Но поскольку город располагался на пути из столицы в областной центр, здесь, как и почти в любом другом месте, можно было подхватить разнообразные венерические заболевания, хотя Мише и казалось, что все эти заболевания имеют свойство беспокоить только его. Значит, как-то Миша в очередной раз пришел к дерматовенерологу, который уже знал Мишу в лицо.

– Ох-ох-ох, опять Мишанька пожаловал, – сказал дерматовенеролог, – ну садись.

Миша сел, удивившись приветливости врача. Обычно этот лысый тип (врач, а не Миша) был нервным, поскорее пытался выпроводить, был даже груб, а один раз второпях выписал неправильную мазь.

– Что ты нам принес на этот раз, Мишаня?

– У меня какие-то красные прыщики тут, – Миша ткнул себя в пах, – чешутся как бешеные.

– Так-так-так. Ну, вставай, снимай штаны, – лысый стал оглядывать Мишины причинные. – Умгмм. Что-то ты часто меня навещаешь? Стало быть, один живешь да баб водишь?

– Ну, да, – ответил Миша. Лысый позволил натянуть штаны, Миша опять сел.

– Хорошо.

– Что это у меня? Не серьезно?

– Хорошо, все будет хорошо. А что с твоими родителями?

– Умерли. Я с семнадцати лет один живу.

– Хорошо. Очень хорошо.

Врач странно смотрел и тер ладошки.

– Что, – спросил Миша, – хорошо? Что мои родители умерли?

– А, нет-нет, – быстро проговорил Лысый, – это я так задумался. Я о своем задумался.

– Ладно, скажите уже мне, что это за прыщики? Что мне делать?

– Подожди-подожди, – оживился лысый, – сейчас я схожу за мазью, она тебе быстро поможет. Намажешь свою несчастную пипиську пару раз, и все будет хорошо, – и вышел из кабинета.

Миша ждал, ждал и думал, что это с врачом? Дерматовенеролог, бля, ну и словечко. И тип сам тоже: ну и тип, что с ним? Что это он сегодня с Мишей, как с родным? Мише это все не нравилось, но он сидел и ждал, ждал, наверное, минут десять, и по истечении десяти минут это все ему не нравилось еще больше. Неспроста себя так ведет лысый. К чему он это спрашивал? Тут Мишино внимание притянуло нечто, похожее на мусоропровод, выделяющееся из одной стены. Только дверца у этого мусоропровода была большая слишком, туда можно было бы впихнуть телевизор, большой телевизор. Миша открыл дверцу, ему показалось, что снизу из темноты доносятся голоса.

Тут дверь в кабинет открылась. Вошел врач, да так и застал Мишу.

– О, отлично, – сказал врач, – Мишанька уже сам туда собрался.

– Куда? – спросил Миша.

Тут вошел здоровенный детина за врачом:

– Сам собрался? Славно. Но я все равно ему помогу, – детина подошел к Мише и столкнул его в мусоропровод.

Миша летел вниз, в подвал летел, летел, думая, ну, так я и знал, знал ведь, что все неспроста, вот идиот, дурак ты, Миша, ну их на фиг, лучше уж пользоваться платными услугами у хороших специалистов, а то тут хоть и бесплатное лечение, но лечение у лысого ублюдка. Думая так, разве что снабжая свои мысли отборными матерками, Миша падал, труба была не совсем вертикальной, он падал и катился вниз, катился и падал, пока не вывалился из трубы. Его тут же подхватили два водолаза и поволокли куда-то в этом подвале. Ну, вообще-то, они не были водолазами, но Миша их так мысленно окрестил, потому что на них были костюмы типа водолазных, одни только лица были открытые. Они его волокли, а он пытался вырваться.

– Не рыпайся, – сказал один из них.

Но Миша рыпался, а его тащили по длинному коридору, тут было много камер, в каждой по четыре койки, в два этажа, как в поезде, еще по столу и по унитазу, там были люди, они разговаривали, играли в карты и так далее, короче – радовались жизни. Миша был не очень слаб, и один раз вырвался, заехал водолазу, но прибежал третий водолаз с автоматом, и Миша решил пойти, куда его ведут. Его завели в одну из камер. Там было два парня: один сидел, взявшись за голову, второй валялся на верхней полке со скучающим видом и пивом. Миша сел на свободную койку.

– Что это, к ебеням, такое? – спросил он.

Тот тип, который держался за голову, ответил:

– Я ничего не понимаю, ничего к чертям не понимаю, я просто выпил лишнего недавно, а потом у меня это... она казалась мне приличной девушкой... а сегодня утром пришел сюда... я ничего не понимаю, ничего, к чертям, не понимаю.....

– Заткнись уже.

– Я ничего не понимаю сам, к чертям, ничего...

Миша подошел к нему, отвел одну руку этого парня от его же головы, а сам влепил ему пощечину. Парень замолк.

– Объясни, что происходит, – сказал Миша лежачему наверху. Тот посмотрел на Мишу безразлично, усмехнулся и стал изучать потолок, как бы объясняя, что даже туда ему приятней смотреть, чем на Мишу.

– Я к тебе обращаюсь.

Тот опять не ответил.

– Ты что глухой? Ты не русский?

Этот хмырь повернулся и усмехнулся насмешливо и очень обидно со своей верхней полки.

Мише это совсем не понравилось, он сдернул парня с койки. Тот с криком упал. Миша добавил по заднице. Парень сразу заговорил:

– Я не знаю, что это и зачем мы здесь, но нас тут хорошо кормят, водят к теткам, выдают сигареты и спиртное. Только с утра ставят уколы...

Миша уселся на кровать, закурил. Тип залез на свою верхнюю полку обратно. Миша курил и думал в течение двух с половиной часов, но его не посетила ни одна умная мысль.

И тогда пришли водолазы, трое, и один из них сказал:

– Вываливайтесь, пора делать великие дела.

– Ему-то укол еще не ставили, – сказал парень с верхней койки и показал на Мишу.

Мише поставили укол в задницу. Двое держали матерящегося Мишу, один колол. Попутно Мише зарядили несколько раз, и он успокоился.

– Ну, покажи член, – сказал водолаз Мише. Миша вопросительно вылупился на водолаза, – показывай-показывай, что как барышня?

Миша помедлил, но извлек. Никаких красных прыщиков у него больше не было.

– Готово, – сказал водолаз.

И водолазы повели всех троих сокамерников по коридору. Завели в какой-то кабинет. Там на кушетке лежала симпатичная молодая девушка, голая.

– Ну, – сказал водолаз. Один только водолаз и разговаривал из троих, – кто первый?

– Я, – сказал парень с верхней полки. Он вообще оживился и повеселел с тех пор, как водолазы пришли за ними. Верхняя Полка без разговоров скинул с себя одежду и приступил. Миша распалялся, даже этот нытик распалялся. Верхняя Полка закончил. Девушка пошла в соседнюю комнату и подмылась, потом приступил Миша. Он все также ничего не понимал, но теперь это все не было так важно, ведь здесь выдавали сигареты, выпивку, по словам Верхней Полки. И эта девушка. Она так хороша.

Так оно и пошло в дальнейшие дни. Их кормили отличной едой, выдавали пиво и вино. Каждый день выводили в ту чудесную комнатку, где всегда была новая девушка. КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВАЯ ДЕВУШКА. Потом в душ. Миша уже забыл о своей прежней жизни и не хотел к ней возвращаться. Здесь было хорошо, спокойно, сытно, не надо было работать. Только каждый день эти уколы в задницу – больнючие.

У Верхней Полки (у него было имя – Витя – но Миша звал его «Верхняя Полка») был небольшой загон, как он сам и признался. Так-то он был парнем ничего, но каждый день за три, примерно, часа до вылазки к очередной тетке, впадал в задумчивость и почти переставал разговаривать. Полка объяснял, что он начинает представлять, как будет выглядеть девушка, с которой произойдет случка в этот день, что ему непременно хочется угадать. Вообще Витя был немного больше озабочен, чем допускают пределы разумного, он пришел лечиться в одиннадцатый раз, когда его столкнули в мусоропровод. Это он так надоел лысому, видно, что тот решил скинуть Полку, несмотря на то, что он сиротой не был. А этот Валера – так звали нытика – Мишу как собеседник не интересовал. Валера был беспонтовый: наедался быстро, напивался быстро, трахался быстро. И плакался пьяный постоянно. Миша и Витя иногда не без удовольствия попинывали его перед сном.

Водолазы оказались парни ничего. Они выдавали на каждую камеру одинаковое количество алкоголя, и, так как здесь одно место было свободно, а Валерик пил немного, Миша и Витя напивались здорово. Только водолазы не хотели говорить, зачем здесь держат людей и когда отпустят, но вскоре Мишу это перестало волновать. Его вообще ничто не волновало до того момента, пока он не проснулся как-то раз через два месяца с очередного бодуна, не подошел к решетке и не крикнул:

– Эй, ВОДОЛАЗИКИ, несите мой пивасик! МИШАНЯ ХОЧЕТ ПИВАСИКА!!!

Пивасика не приносили. Миша закурил и крикнул еще раз:

– Господа, меня жрет бодунище, и я очень несчастен!

Тут подошел водолаз, но без пива и сказал неожиданно недобро:

– Все, закончились твои счастливые деньки, говнюк. Никакого вам больше пивасика, – и засмеялся.

Миша уселся на койку. Его сердце сильно билось, он предчувствовал что-то недоброе. Он разбудил Верхнюю Полку и рассказал ему.

– Я ждал чего-то подобного, – сказал Полка. И отвернулся к потолку. Разговор, видимо, был закончен. Да и Мише самому не очень-то хотелось болтать, он был слишком печален. Его тошнило, началась депрессия. Он был несчастен и одинок в этом мире.

Вскоре водолазы стали выводить из камер. Они выводили всех, открывали все камеры и выводили всех, и водолазов было много в этот день, и водолазов с автоматами было много. И много несчастных людей, как Миша, с похмелья. Никогда еще Мише не доводилось видеть так много несчастных разбитых людей одновременно. Ему представилось, что все страдание мира сконцентрировалось в этих людях. Примерно сотня мужиков – и все как одно целое, все всего лишь части грандиозной трагедии. Всех мучит сушняк. У всех головная боль. Ну, что вам это объяснять? Ясное дело.

Их привели в просторное помещение со множеством сидений. И с экраном. Как в кинотеатре. Только никому кино смотреть не хотелось. Но стояли водолазы с автоматами в каждом ряду. Кино поехало. Там было про Америку. Просто показывали разные сюжеты из американской истории, а голос говорил про Америку. Это было невыносимо. Но водолазы следили, чтобы никто не заснул. Они подходили тихонько и били прикладом в челюсть, если ты закрывал глаза. Миша держался и смотрел на экран, смотрел и начинал ненавидеть Америку. Это все продолжалось час или полтора, или восемь часов, или никогда не заканчивалось. Хрен с ним. У Миши мозги заворачивались в трубочку, когда всех развели по камерам. И ДАЛИ ПИВА.

– Я думал, я умру. Мне казалось, это не закончится, – говорил Валерик.

– Заткнись, – сказал Миша.

– А бабы, как насчет баб! – крикнул Верхняя Полка водолазам.

Их отвели после пива на случку, а после этого выдали водки. Много. А утром киносеанс повторился.

И потом в течение недели они смотрели это дерьмо с похмелья, а только потом получали свое пиво.

Они хотели всех надурить и просто не напиваться вечером, чтоб было легче, но дурить было некого, а напиваться хотелось. Америка была ненавистна. А на пивных бутылках были надписи: «осквернить их культуру, плюнуть им в лицо, поиметь их баб». Эта дебильная надпись проникала в мутно-пьяные сны. Она прокручивалась в голове во время сеансов и помогала их пережить, и не казалась дебильной уже. Повторять это про себя, надеяться на это – было способом борьбы.

Но потом случилась ужасная вещь.

Однажды до самого вечера их не выводили на случку. Верхняя Полка орал:

– Что это такое?! Я уже не могу! Водолазы, вашу мать, у меня ТУТ ТАК ВЫРОС!!!

Один водолаз подошел и сказал.

– А теперь, ребятки, дрочить. Не будет больше вам ласки!

Сказал он это с таким удовольствием, что Полка не выдержал и плюнул ему в лицо.

На самом деле должны были сводить всех еще один раз, но Мишу, Витю и Валеру из-за этого плевка лишили этого раза.

Верхняя Полка вообще больше не разговаривал, хотя Миша и пытался его успокоить. Но и сам Миша лез на стены, раз даже хотел дернуть Валерика, но водолазы не позволили...

...После двух недель полового воздержания Миша был в самолете. Их еще два последних дня продержали трезвыми, и он был зол. С ним было еще несколько собратьев по тем мукам и тем радостям, по тем женщинам. Их водолазы по одному вышвыривали из самолета.

– Давай, давай. Тебя ждет служба Родине, – очередь дошла до Миши, его схватили и выпихнули. Он падал, и все еще ничего не понимал, кроме того, что внизу была Америка. Миша дернул за кольцо.

В небе были еще самолеты. Изо всех сыпались парашютисты, внешне совершенно здоровые, но на самом деле каждый из них был болен уже множеством венерических и кожных заболеваний. Множеством. Каждый из них был одержим сексом и ненавистью к Америке. А лысый врач сидел и потирал ладошки у себя в кабинете в Pizdopropaschinske. Все дело в этих его чудесных уколах, они ничего не лечат, они создают видимость. Никаких признаков с виду, но столько заразы! Теперь у него достаточно денег на старость. Можно свалить уже из этой клоаки и прошвырнуться по миру, не в Америку, конечно, может, в Европе отдохнуть? Хо-хо-хо, дерматовенеролог потирал ладони ручек.

2004

В голове багажиста

В мои планы никогда не входило работать в сфере обслуживания. К тому же за чаевые. Ты лизнул жопу – тебе дали купюру. Это не для меня, думал я. Конечно, не для меня. Я правдоруб и поборник истин – не нанимался лизать жопу кому бы то ни было.

– Посмотри, – сказала мне Сигита.

Я посмотрел.

«Носильщики багажа». Есть смены с трех до полдвенадцатого. Одиннадцать тысяч рублей плюс чаевые. Сигита-то, само собой, все это дело романтизировала. Я в золотых лучах таскаю чемоданы, улыбаюсь туристам и получаю валюту. Не поддавайся, Женя. Ты прирожденный тунеядец. Нельзя. Но я же должен заработать денег. Две сломанных пломбы. Потом передний резец сточился, потому что мы со Стасом, моим соседом, сощелкали столько семечек, сколько вам и не снилось. Мне самому никогда не снятся семечки. Этот предмет не достоин моих снов. Лично мои сны закрыты для семечек, им туда не проникнуть, уж будьте уверены! Я презираю семечки, если вам интересно. Я собираюсь внять просьбе Димы Булатова и не сдерживать себя в выражениях. Драл я эти семечки в хвост и в гриву! Они испортили мне передние зубы, и теперь я должен работать. Хотя дело не только в зубах. В моей простате. В моей чертовой простате, я должен отработать полгода, взять кредит и вылечить ее раз и навсегда. Или взять кредит и снять кино. Что дороже: искусство или моя физическая оболочка? Я должен снять кино до того, как мне исполнится 24, вот в чем дело. Мне все осточертело, я хочу быть молодым и признанным гением, плевать я хотел на все остальное. А еще дело в том, что пора бы уже подумать о детях. Хотя – это позже. Но с другой стороны, если я еще буду это откладывать, у меня не останется ни одного сперматозоида, способного оплодотворить яйцеклетку. И еще у моей девушки – Сигиты – у нее неполадки со здоровьем. Она стала нервной и не может находиться одна, у нее учащенное сердцебиение. Так что не скуки ради я покупаю «Работу и зарплату», зарубите это себе на носу. И никаких шуточек по этому поводу, если надо будет, я подпишусь на это издание и не спрошу вашего мнения. И глазом не моргну, пока не найду лучшую работу в мире.

«Возраст 18 – 27 лет, приятная внешность, базовое знание английского».

– По-твоему, у меня приятная внешность?

– Ты очень красив.

– Как сукин сын? Как Михайло Фрузенштерн?!

Я не помню, что она ответила. Я вообще не нанимался бесплатным диалогистом, оставьте меня в покое. Мне глубоко насрать. Что за бредовая фраза? Я должен думать о стиле. Кто выдумывает все эти выражение? Да ладно, вам прекрасно известно, что я не ошибся, а специально так сказал. Доверьтесь мне, я мастер по этой части, знаю, когда надо сесть в лужу, а когда воспарить. Ну, так вот.

– Базовый, – это какой?? – спрашиваю у Сигиты, мой голос нарисовал для нее в воздухе два вопросительных знака. Не надо считать это пустым хвастовством, я вам так скажу. Я у нее спро-

сил, и в моем голосе прозвучало два вопросительных знака, я так умею. Может, это понты, но я писатель. Вот что я скажу: я писатель, а поэтому мне и в жизни надо быть бдительным каждую секунду, в игре крупные ставки. И всегда заботится о стиле. Но Сигита срать хотела на мой стиль. ОНА НЕ ЗАМЕТИЛА моего писательского мастерства в моей манере разговаривать в этот момент. Сказал бы «в манере вести диалог», но я не нанимался вам бесплатным диалогистом, как я уже сообщил. Если я захочу стать диалогистом, пойду работать на сериал и буду две тысячи баксов в месяц делать. А душа моя отправится прямехонько в Ад. Сигита бы хотела, чтобы у нее был парень, который мог бы сводить ее в ресторан. Вернее, чтобы Я мог сводить ее, мог быть ей опорой. Неужели ей не достаточно того, что я считаю ее самой красивой женщиной на свете?

– Базовый – это твой, – вот что она сказала. Польстила мне, чтобы я водрузил себе на шею заботы о нашем очаге.

Она сказала мне, что напишет мне все слова, которые мне надо знать, чтобы быть багажистом высшего уровня. Чтобы быть багажистом-ниндзя. Чтобы рвать других багажистов. Я попросил, чтобы она написала по-английски и по-русски. Чаевые – типс, багаж – бэгидж, или лучше – лэгидж.

– Ладно, – говорю я.

Оркестр. Музыка. Е. А., Писатель и Просто Хороший Человек, отправляется работать!

И я приехал в гостиницу.

Может, если бы я не понравился девушке, с которой проходило мое первое собеседование, меня бы не взяли. Но она так на меня смотрела, как будто хотела съесть. Я понимаю ее, здоровый приятный парень 22 лет, мой голос любят женщины, разговор по телефону со мной заставляет их ссаться кипятком. Я здоров и красив, красив и здоров, если только можно назвать здоровым человека, который после пивной пьянки может сходить 22 раза за ночь в туалет. За каждый прожитый год я расплачиваюсь ложным позывом в туалет. Такая у меня валюта. Такой валютой я и буду давать вам чаевые. Стоп. Я и унитаз. Смертельный бой. Моя простата, моя мочеполовая система против того, чтобы я пил от 6 до 10 литров пива за день. И что, я должен ей поддаться? Не могу ей поддаться, потому что я думаю о стиле. Потому что у меня рост немного выше среднего, шняга немного длиннее среднего и интеллект немного развитее, чем у среднестатистической обезьяны. Если я не буду писателем, если я не напишу Серьезный Роман, Великий Русский Роман, о котором – мне это известно – мечтает каждый встречный, ведь в каждом встречном сидит латентный графоман. Если я это не сделаю, все провалиться. Мне придется покончить с собой, как это сделали Владимир Маяковский и Геннадий Шпаликов. Шпаликов бы не зассал, если бы смог дописать роман. Его бывшая жена себе преподает, а он, я уверен, Лучшее и Худшее, что Было В Ее Жизни – мертв. И мне тоже, может, придется Застрелиться и Повеситься. Или спятить, отчего впрочем, при любом развале, может, и не удастся спастись. Но если мне удастся, тогда все будет иначе. Тогда, ребята, пеняйте на себя. Тогда-то я спляшу.

– Вы можете рассказать о себе на английском?

– На английском?

– На английском, конечно, – (ГОСПОДИ, ИДИОТ, НУ НЕ НА РУССКОМ ЖЕ И НЕ НА КИТАЙСКОМ?!), – давайте. Расскажите.

И тут я как в школе, на экзамене в третьем классе. Хотя в те поры я еще немного знал его, я был с ним не в таком разладе.

Уже пять лет прошло, как я закончил школу и не занимался английским. Пять лет коню в жопу. Май нейм из Евгений Алехин, айм 22.

(БЛЯДЬ, МНЕ УЖЕ 22, И ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ?)

Ай вос борн ин Кемерово. Ин Москов айм ту еарз. Ноу. Ту виз э хаф.

Да не знаю я английского. Русским языком я овладел, английским нет. Зато я знаю машинопись (опять-таки только на русской раскладке клавиатур), вот что я мог ей предложить. На хера багажисту знать машинопись?! Как тебе это поможет дотащить чемодан?

– Хорошо, – сказала девушка. Не для того она сказала «хорошо», чтобы оценить мое знание английского на 4, а для того, чтобы прекратить этот жалкий цирк.

– Достаточно, наверное?

– В общем, знаете на таком уровне. Ми-ни-мальном.

Тут я посмотрел в сторону. Не на ее. Вот она: Ольга, так она представилась. 25. Тощая, как селедка. Я смотрю в угол. Я бы, возможно, мог ее драть в хвост, как говорится, и в гриву. Знаю, что я уже щеголял этой фразой, просто захотел еще раз использовать. Сыграть на разнице. Сейчас заговорю о высоком. О том, что у меня есть любимая девушка. У меня есть любимая девушка, которой я планирую не изменять. ПЛАНИРУЮ. Не изменять. Так что я смотрел в сторону, мимо похотливой, но в чем-то симпатичной селедки. В чем-то. На хер мне не упал этот праздник, если к моим услугам в любую ночь, когда я этого пожелаю, Самая Красивая Женщина В Мире.

Ольга. Вернемся к ней. Вот что она говорит:

– Тебе придется, – перешла на ты, лиса, – еще переговорить с директором службы приема. И, если все будет хорошо, то до встречи.

И я пошел ждать директора службы приема. Полчаса. Ну его? Свалить? Нет, смотри по сторонам. Приглядись, подумай, тут славно, в этой гостинице. Смотри по сторонам и назад смотри и убей всякого, кого встретишь, если встретишь будду, убей будду, если встретишь патриарха, убей патриарха... Как там дальше? Спокойно, приглядись... Одни иностранцы. Кэн ай тейк йо лэгидж, плиз? Улыбочка. И пять баксов чаевых. Хэв э найс дэй! И еще червончик. Буду рубить капусту.

– Здравствуйте. Я Оксана. Простите, что заставила вас ждать.

– Да ничего страшного. Женя.

Да она же моя ровесница! Директор службы приема.

Мы поболтали пятнадцать минут, я еще раз ей прочитал сочинение на худшем английском, который ей доводилось слышать. «Кто я». Эту мадам я не интересовал как мужчина, поэтому в ее глазах появилось сомнение. Нужен им такой багажист? Но потом я рассказал ей, что учусь в институте кинематографа, и ее оценка стала чуть выше. Она меня расспрашивала об «этой интересной профессии». Учусь, и мне нужна работа во второй половине дня.

Я снова на работе. Меня приняли.

– По поводу чаевых, – сказала Оксана, – я спрашивала у ребят. Говорят, что выходит от трех до восьми тысяч.

– Хорошо, – ответил я. И отправился домой. А назавтра уже надо работать.

Недавно из зеркала на меня глянул 22 летний мужик, по лицу которого было видно, чем он занимается ночами. Дринкингом, само собой. Да этот мужик (я) выглядел на 29, просто я знал, что ему 22, и даже это слишком много. Мне исполнилось 22 месяц назад, и пришло время задуматься о прожитом. У меня нет высшего образования и опыта работы. Нет ничего, кроме комнаты в общежитии на время обучения, компьютера (правда оперативной памяти теперь – хоть жопой жуй!), девушки, простатита и моей паранойи. Стас (сосед мой) обожает рассказывать эту историю, как я порезался о консервную банку и плакал, что умру от СПИДа. Просто я был с похмелья – был ранимый. Я расплакался, как девочка, у Сигиты на плече, но этого больше не повторится. Синька может погубить меня, а может не погубить.

«Мне 21 год, но скоро уже будет 22, что для меня странно. Видимо, как было 16, так исполнится и 40.

По характеру я вспыльчив, но отходчив. Близкие считают, что я ипохондрик, потому что я чешусь от синтетики, почти не говорю по мобильнику во избежание рака, мою куриные яйца перед тем, как пожарить яичницу, читаю медицинскую энциклопедию перед сном и раз в полгода сдаю анализы на сифилис, гепатит и ВИЧ. Плохим или злым человеком, слава богу, никто меня не называл. Еще с детьми неплохо лажу, вроде бы. Потому что семья была большая. Люблю, книги, написанные от первого лица и длинные кадры».

Всего два месяца назад я с этого начал свою автохарактеристику, когда собирался в тихую свалить со сценарного факультета на режиссерский. Когда я писал, мне был 21. И тут мне уже 22. Я написал эту безделицу, а на самом деле изобрел машину времени. Вот, в чем штука. Ладно, я зря старался, на режиссуру меня не взяли, этого я не предсказал, зато предсказал свой день рождения.

Игорь Маслеников (Автор Лучшего Сериала О Шерлоке Холмсе!) сказал мне, что у меня прекрасное чувство юмора и стиля и что я отличный писатель, а как я вышел из аудитории, впиздюрил мне двойку за самый главный экзамен. А Мне Уже 22, вашу мать, и ни богатств, ни славы, ни хрена.

Просто ты можешь сломаться, если у тебя нет денег, и ты пьешь. Главное не сорваться, ИНАЧЕ ВЫ УВИДИТЕ АД НА ЗЕМЛЕ. Черт, мне исполнилось 22. Бертолуччи уже снимал кино в этом возрасте. Он был младше, чем я сейчас, когда начал снимать, а я еще не снял ни минуты. Время уходит, осторожнее. После трехдневной пьянки на мой день рождения у меня осталась только гипертония и чувство вины, что у Стаса украли ноутбук, а у меня ничего не украли. День рожденья был мой, и лучше бы украли что-нибудь у меня. Но огромный калмык унес ноутбук Стаса в неизвестном направлении. А еще я хотел подарить себе роман на день рождения, но я его не написал. Я даже не добил сценарий, мог ведь, но не сделал этого. Ладно, ненавижу, когда кто-то ноет насчет своей писанины. Заткните мне пасть. Но, собственно, теперь у меня будет работа. Так я думал.

Я думал так, а мой хитрый мозг меня подставил. Сука! Он все продумал. Мой мозг хочет покоиться в голове тунеядца, он не хочет, чтобы я работал. Он не дал мне спать. Мы ночевали не в общаге, а у Сигитиной мамы, поэтому у меня не было возможности с кем-нибудь напиться, и я просто маялся всю ночь перед компьютером. Прочел «Фореста Гампа». Дрочил, все знают, чем занимаются писатели. Я, например, когда пишу, не даю себе подрочить, пока не допишу две-три страницы. Так я могу писать что-то и дважды прерывать для онанизма. Так что можете рассчитывать, на каком промежутке я этим занимался, но я вам не советую.

Суть одна. Перед первым рабочим днем я не спал ни одной минуты.

Утром я спустился в Ад на двадцать пять минут и вышел на станции Павелецкой. Каждый день час на метро. Каждый. День. Час. На. Метро. Ненавижу метро. Я его ненавижу за то, что меня там все время спрашивают:

– Вы выходите?

А я, во-первых, не обязан разговаривать с незнакомцами, а, во-вторых, не хочу рассказывать им, где я выхожу. А тут мне, человеку с вымотанными от бессонной ночи нервами, опять под руку попался такой умник, который спросил:

– Вы выходите? – и даже руку на плечо положил. А зачем руку класть мне на плечо? Вы, может, тоже играли в детстве в такую игру, когда кладешь человеку руку на плечо и спрашиваешь:

«Ты знаешь, чем отличается крокодил от пидораса?»

«Чем?» – спрашивает бедный наивный албанский юноша, ваш собеседник.

«Тем, что крокодилу нельзя положить руку на плечо!» – отвечаете вы коварно. Поэтому я сказал этому челу в поезде метро, скинув его руку с моего плеча:

– ВЫХОЖУ. ВЫХОЖУ.

И вышел на Павелецкой. Я жил тут неподалеку раньше с девушкой, уже прошло два с половиной года, как мы расстались. Блядь, да сколько я уже торчу в этой вонючей дыре, имя которой Москва? Что теперь случилось с моей бывшей девушкой? Она вышла замуж за сына редактора. Сын Редактора, парень, наверное, даже на год младше меня. Я видел его однажды, один год и девять месяцев назад. Придется сделать лирическое отступление.

Это было в Доме Художников, на «выставке интеллектуальной литературы». Я, Стас Иванов (Писатель Стас Иванов, также известный как Зоран Питич, Второй (После Меня) Писатель Современности, а не мой сосед, которого я называю просто Стасом), Сигита и Инна Амирова. Мы приехали забрать Книгу, а Сигита с нами за компанию. Господи, как я ждал этой книги, хотел увидеть себя напечатанным! Я раскрыл ее и увидел, что Редактор вставил туда мои рассказы правленными. Я стал грызть эту книгу зубами.

– Виталий, ты ПИДОРАС! – закричал я на Редактора.

Он стоял среди всех этих стопок книг. Сборники, в которых издавались лауреаты и финалисты премии «Дебют». А сзади, за спиной у него, стоял его сын.

– Ну, зачем! Зачем так делать! На хуя?! – кричал я. А Сын Редактора стал брыкаться, хотел, понятно, заступится за отца. Хотя отец бы его мне накидал, в нем веса в полтора раза больше. И

так мы орали там друг на друга. Стас Иванов сказал, что мог бы помочь мне накидать Редактору. Он его не любил. Но до этого не дошло.

Просто редактор, Виталий, сучонок, опубликовал мои рассказы в том виде, в котором их исправили для журнала «Октябрь». Я не знаю, кто их там правил, мне не хотелось идти ругаться, это было давно, и я боялся, что при встрече снесу этому человеку башку, и меня посадят в тюрьму, а там меня отдолбят. Поэтому могу ему (ей) передать только одно: «ИДИТЕ НА ХУЙ». Если это женщина, то извиняюсь за грубость выражения. Просто, я вас заочно ненавижу, как и всех остоебеневших мне кретинов, которые считают себя умнее других.

Ладно. Так вот. Редактор сначала мне сказал:

– Алехин. Ты ничего не понимаешь. Тебя правил лучший редактор в городе.

Липа, скажу я вам. Я даже не уверен, что он знал того человека, кто меня правил. Виталик вытащил это из своей головы наугад. Я облил его в ответ матерным поносом. И тогда он закричал:

– Ты еще придешь ко мне и поблагодаришь меня, как Рясов! Он через два года только понял и сказал мне «спасибо» за то, что я его редактировал!

И другая линия его защиты, которая к первой отношения не имеет, но должна была вымолить прощение через лесть:

– Алехин, тебя ждет великое литературное будущее! Какая тебе в пизду разница?! – так и сказал, спросите у Сигиты или у Стаса Иванова.

На том и разошлись. То есть меня еле отволокли оттуда, изрыгающего ругательства во все стороны. Вышли на улицу, и я швырнул книгу «День святого электромонтера» – сборник короткой прозы финалистов конкурса «Дебют-2004» – о стену Дома Художников. Книга ударилась о дом, отскочила. В рассказе «День святого электромонтера» поменяли два абзаца местами, просто этим броском я хотел вернуть абзацам свои законные места, только и всего. – За каким хером вы их поменяли, кем бы вы ни были?!! – Но Сигита схватила книгу и больше мне ее не давала. Мой план не удался. Абзацы остались на неправильных сидениях. Через дорогу был бар, и Стас Иванов предложил туда пройти. В тот день я единожды видел Сына Редактора.

Будущего мужа моей бывшей девушки.

Так что меня предали, это как если бы бывшая девушка Штирлица вышла за фашиста.

Поэтому, теперь, когда я шел в гостиницу, вспоминая все эти дела, написал бывшей девушке смс-сообщение, в котором спрашивал, правда ли она вышла замуж за этого человека, за сына Злого Редактора, испортившего мне Счастье Увидеть Себя Любимого Напечатанным в Книге. Или же Зоберн меня обманул. Пошутил, и у нее другой муж, а не сын моего Редактора от Лукавого. (Зоберн, кстати, – это еще один писатель, наплюйте на него, я их много знаю, писателей, на самом деле каждый человек – писатель, и только мне пророчили «ВЕЛИКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ БУДУЩЕЕ»). Ответа на мою смс я до сих пор не дождался. Как, впрочем, и не дождался Литературного Будущего.

Ладно, я пришел на рабочее место. (Если не заметили, теперь я вернулся к основной линии, в которой описываю опыт работы багажистом, – не ссать, держать одновременно несколько линий мне по силам.) Я прошел на территорию гостиницы. Туда, где только для персонала. Оксана встретила меня, отвела в раздевалку, я надел форму.

– Раньше в любой день нужно было носить пиджак, но теперь мы позволили багажистам в жару работать в футболках.

А была жара. Было пекло, настоящая жара, как будто Ад вырывается все ближе к поверхности с каждым днем. Ад такой, коварный, он все время ходит за мной по пятам, но Оксане до этого дела никакого. Она подвела меня к парню в костюме, который был младше меня на пару лет. Ну, само собой, парень, а не костюм был МЛАДШЕ МЕНЯ. Сечете?

– Это Саша. Менеджер. Он сам был багажистом, он тебе сейчас все объяснит.

И он мне все рассказал. Я стою в дверях. У самого входа в гостиницу и улыбаюсь, там есть специальная кафедра. Я должен был улыбаться и приветствовать людей на всех языках, которые мне не мешало бы знать: русском и английском. Он дал мне листок А4, на котором было написано,

как я должен себя вести. Текст не настолько интересный, чтобы я его стал сейчас пересказывать. Еще он сказал:

– Почитай пока. Там еще есть журнал учетных записей под кафедрой. Его тоже полистай и поймешь, зачем он нужен. Когда будет клиент, я тебе покажу, что к чему.

На полке еще были ручки, бумага, книга Ника Перумова, которая явно уступала журналу учетных записей багажистов по своей художественной ценности. На журнале было наклеено несколько наклеек, которые прилагаются к жвачкам и надпись: «Superбагажисты». Я, не отрываясь, прочел журнал от корки до корки. Вернее, отрываясь только для того, чтобы говорить каждому заходившему:

– Доброе утро!

Или, если это был иностранец (их сразу видно, они улыбаются как полоумные) говорил:

– Гуд монин!

В журнале же в основном были записи ребят, которые раньше были багажистами, двое из которых поднялись, а двое уволились. Теперь же пока я был единственным новым багажистом, и в ближайшие два дня обещали взять еще троих. Записи в журнале были такого типа:

«Из номера 405 оставили два чемодана в камере хранения. Один большой, с ним осторожнее. Сергей».

Но не все. Были и очень интересные для меня записи, например:

«Этот француз сегодня дал мне на чай 22 бакса. Я радостно схватил их и пошел от него скорее, но он нагнал меня, положил мне руку на плечо и сказал: Сори. Итс май. И с улыбкой забрал двадцатку, оставив мне, черт, 2 доллара. Саня».

Или:

«А мне один русский человек сегодня дал на чай 4 рубля 50 копеек. Когда-нибудь я скажу одному такому все, что думаю. В последний день работы.... Рома».

И еще кто-то из них все время дописывал комментарий: «Забурел?!» Который, видимо, выражал силу впечатления от прочтенного послания.

И было одно душевное письмо, которое написал этот самый Рома перед тем как уволиться, письмо я не буду пересказывать, поскольку это чужое произведение, которое можно поставить в ряд с некоторыми рассказами старика Эрнеста.

Ладно. Первыми были две пуэрториканки, возможно лесбиянки, но приятные, несмотря на это. Хотя я гомофоб, я против пидорасов, я их просто не люблю и хочу, чтобы разврат исчез с лица земли, и чтобы все занимались сексом в презервативе и только в миссионерской позиции, но по восемь раз в день. Опять заболтался. Я оттащил пуэрториканкам чемодан, и стал спускаться по лестнице. Я стеснялся стоять в ожидании чаевых с лыбой на лице, как Тим Рот. И через два этажа я почувствовал руку на плече. Это была более приятная рука, чем у мудака в метро.

– Итс фо ю.

И одна из пуэрториканок протянула мне деньги. Сто сорок рублей. Самые большие чаевые в моей жизни, вот что я вам скажу. Первые и самые крупные.

– Сэнк ю вэри мач! – ответил я и пошел на свое место.

Говоришь «багажист» – подразумеваешь: «обезьянка в мундире». Говоришь «обезьянка в мундире», подразумеваешь «багажист».

Потом я оттащил еще пару чемоданов, за которые не получил ни рубля. Старые подлые иностранцы. Потом-то Сигита мне объяснила. Они с ее мамой были богаты, когда Сигита была подростком, и разъезжали по заграницам. И ВСЕГДА, говорила она, багажисты стояли в дверях и ждали чаевых. Я пообедал. Не так вкусно, как я ожидал, но неплохо. Суп, толченая картошка с курицей, компот. Вонючий советский компот, и это пятизвездочная гостиница?? Потом я стоял за этой подлой кафедрой, когда подошла Оксана и сказала:

– Женя, улыбайся. Улыбайся, Женя. Ты что, охуел? Ко мне заходил директор и сказал, что он, заходя сюда, поздоровался с тобой, а ты с ним – нет! Я не знаю, что делать. ЗДОРОВАЙСЯ СО ВСЕМИ... И почему ты не побрился?!

Сейчас я пошлю вас всех в жопу и уйду.

– Выпало из головы. Надо было напомнить.

– Может, я должна тебе напоминать мыться и чистить зубы?!

– Нет. Это я делаю автоматически. Есть привычка.

– Ты не смог догадаться, что надо побриться.

И я здоровался со всеми. В жопу. Если у вас осталась хотя бы частичка уважения ко мне, вы не правы. Иногда секретари просили меня с бумажкой подняться на пятый этаж, там женщина, которая называла меня ласточкой, ставила печать. Я спускался в подвал, там женщина, которая ничего мне не говорила, ставила печать, и я возвращался на свое место. Я лучше целый день бы ходил на пятый этаж и в подвал, там не надо улыбаться, как кретину.

Успокойся, Женя. Ты же не хочешь опять ходить на массовки? Или ты хочешь пойти работать рабочим на сериал «Солдаты»? Уж лучше массовки. Массовки?

– А что вы снимаете тут?

– Сериал «Татьянин день».

– Татьянин день. А мы его три месяца смотрим. Так что они поженятся?

– Я не знаю. У меня нет телевизора.

– Как не знаете. Снимаетесь и не знаете?

– Ладно. Просто нам нельзя рассказывать. Но вам я скажу по секрету. Вы никому не расскажите? Тогда слушайте сюда. Он на самом деле изменяет ей, хотя и они женятся. Но потом она узнает, что у него есть любовник!

– ?

– !

Я играл в стольких вонючих сериалах, что поделом нассать мне в башмаки. Еще в передачах. Я был маньяком, который убил своих родителей и свою девушку ножом, а собачку кухонным молотком. Я убивал несуществующую собачку 35 дублей, и получил за эту роль всего тысячу. Я был гопником, который поджег негра и получил 1200. Я нищий человек. Теперь я багажист. Я червяк – разрежьте меня пополам, и будет 2 червяка.

Русская дала мне 10 рублей, и рабочий день закончился. Я выпил литровую банку «Балтики 7» по дороге домой. Вкусно. Это реклама, дорогая «Балтика», будет секундочка, вышли мне немного денег (67628038 9006457027 – номер моей карточки, маэстро, сбербанковская), и я готов расхваливать тебя. Десять-пятнадцать тысяч рублей за лучшего писателя современности не такая большая цена, ведь правда? Нет, я не продамся, мне твои деньги не нужны! Нужны. Они мне нужны.

Сигита расстелила мне, и я пытался спать. Я хотел спать, но не мог. Напиться? Не пей. Я промучился до восьми утра... Сигита спала. У меня уже начинались глюки. Меня абсолютно не волнует внешняя фабула, меня волнует только то, что в голове у багажиста. У одного – меня. Вот в чем дело. Я бы хотел, чтобы все это было вам известно, когда вы разбогатеете и будете думать, сколько дать на чай. Я разбудил Сигиту. Я спячу – две ночи без сна, какая работа? Меня еще не успели оформить. Ерунда. Я разбудил ее и спросил:

– Ты обидишься, если я не пойду на работу?

Конечно, ведь ты должен тысячу Доктору Актеру, тысячу Теплыгину, 3000 Стасу Иванову. Конечно, мне будет обидно.

– Я не обижусь. Это твое дело.

– Правда?

– Я правда не обижусь. Спи, пожалуйста.

Прости меня. Я не выдержу этого. Потом к нам постучала Сигитина мама:

– Женя! Ты почему не встаешь?! Тебе же на РАБОТУ.

– Мама! Он СЕГОДНЯ не пойдет! – сказала Сигита.

– Ты очень добрая, – сказал я.

Слишком длинным был тот единственный день, в который я работал. Я уснул в один момент, как только перестал быть рабочим человеком.

2007

Феликс ЧЕЧИК

* * *

Всю ночь скрипеть пером при свете
давно погашенной свечи,
чтоб коммунальные соседи
от скрипа мучались в ночи,
чтоб Владислав Фелицианыч
скончался рано, до греха,
чтоб от написанного за ночь
осталась только буква «х».

* * *

Запомни раз и навсегда,
а лучше запиши:
испепелённая звезда
лежит на дне души
того, кто на небо глядел
и глаз не отводил
и стал могилою для тел
небесных и светил.

* * *

на джина обиделся
аладдин
невидим
а стало быть вечно один
и лампа в чулане
пылится давно
ни сна ни желаний
на сердце темно

* * *

Немудрёный рассказ про звезду...
Эй, земляне,
Приготовьтесь – вот-вот упаду, –
выполняю любое желанье.

Невозможного нет для меня.
Торопитесь – спешите увидеть.

Феликс ЧЕЧИК родился в 1961 году в городе Пинске (Беларусь). Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Арион», «Волга–XXI век», «Дети Ра», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность» и др. Автор трех поэтических книг. Живет в Израиле.

Говорите – брехня! Ну, брехня...
Пожалеете после, как пить дать.

* * *

Памяти Л.Рашковского

Просто так: ни с того, ни с сего,
без причины и повода – просто,
нет, не весело – весел*о*
на душе в предвкушении роста.

Ты расти, как младенец, душа,
не по дням--по часам и минутам.
Ах, как звёздная жизнь хороша!
Ах, как здорово нам, лилипутам!

* * *

Это тайна, которая
выдаёт с головой:
я не фауна – флора я,
я цветок луговой.

Василёк из-под Щёлково,
голубой, как мечта.
Сколько можно из логова
волком щерится... А?

* * *

Я вспоминаю Вову, Лёшу,
Серёгу, Костю и Андрея.
Я нашу юность подытожу
и в прошлое вернусь на время.

Я вспоминаю, вспоминаю,
я вспоминаю – и не вспомню.
Иду по кругу, как по краю.
Ну, чем не пони?..

* * *

Ю. Новиковой

кленовых палочек из детства
незабываемая дробь
телепатическое средство
на расстоянии любовь

передавать седой обманщик
хоть на мгновение поверь
что тарабанит барабанщик
в не существующую дверь

* * *

Заначить прошлое на чёрный,
уже приблизившийся день,
на неизбежность обречённый,
как на цветение сирень.

Цвети сирень – цвети и пахни
и никогда не отцветай,
и прошлым будущее трахни
и вечности бесплатно дай.

* * *

по водной глади провести
и не обжечь руки
и вдруг кувшинкой зацвести
в излучине реки

вдруг водомеркой пробежать
и ног не замочить
и никого не обижать
тем более учить

* * *

Я посредник,
а стало быть посередине.
Из последних,
из тех, кто дрейфует на льдине.

Между берегом этим
и берегом тем.
Я приплыл – не заметил.
Почти не вспотел.

Но смертельно устал
и лежу, не дыша.
И прилипла к устам
будто шарик душа.

Заочный диалог

Разговоры с Андреем Пермяковым*

Андрей ПЕРМЯКОВ – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

– Вы уже достаточно давно определили место «Нового мира», как мейнстримного журнала. Если взять исключительно поэтическую составляющую, то «Новый мир» тоже останется мейнстримом? Или здесь определяющая роль принадлежит журналам, специализирующимся на поэзии?

– Ну, «мейнстрим» – слово такое, всем знакомое, вроде бы понятное, но на самом деле не вполне определенное. Наверно, «мейнстримов» много или по крайней мере несколько. Особого радикализма, что в поэзии, что в публицистике, на страницах «Нового мира» не встретишь. Понятно, что отдел поэзии «Нового мира» (а это, как правило, пять подборок в номере) не может заменить собой... Да ничего и не должен заменять. Взаимодополняющая и полемичная по отношению друг к другу работа «Ариона» и «Воздуха», поэтический отдел «Знамени», плюс еще целый ряд литературных изданий, поэтические книжные серии... Мы занимаем в этой панораме свое, некое «осевое» место. Осевая линия, так сказать. Центристы мы, центристы. Иногда принципиальные, иногда «беспринципные».

– Существует и неоднократно была озвучена такая точка зрения, что в современной поэзии дела обстоят неплохо, по крайней мере, существует относительно внятная иерархия. В прозе все не так однозначно. Согласны ли Вы с этим мнением?

– Да, я примерно так и думаю: в поэзии и малой прозе дела обстоят весьма неплохо, в большой прозе – хуже. Но не потому, что в поэзии существует, как вы выразились, «некая внятная иерархия». Для одних внятная, для других нет. Одним она видится тут, другим – там. Некоторые считают, что она одна и иных иерархий быть не может, а другие думают, что их несколько или даже много. Поскольку я склоняюсь к мысли, что все без исключения «культурные ценности» конвенциональны по своей природе, то данная ситуация меня не удивляет и не удручает. Конечно, искусство иерархично, но иерархии эти все равно конвенциональны. А если и кажется, что некоторые культурные ценности (тот же Пушкин) объективны и универсальны, то это значит, что исторический консенсус относительно этих ценностей сложился так прочно, что уже кажется... ну то, что кажется. Поэзия и малые прозаические жанры сегодня менее коммерциализированы, чем «большие книги»; поэзия в наши дни вообще издается и распространяется иначе, чем большая проза. В принципе иначе. Поэты сегодня работают бескорыстней, что ли, чем романисты. Они знают, что ни славы, ни денег не будет. А если что-то и будет, то скорее за выслугу лет. Рассказчики в этом отношении ближе к поэтам. Но является ли это достаточным объяснением «цветущей сложности» современной русской поэзии, я не знаю.

– И имена новых поэтов, и новых прозаиков читающей публике сравнительно известны. Безусловно, серьезная заслуга в этом принадлежит критикам, однако сами критики часто остаются в тени. Вместе с тем, например, Игорь Шайтанов считает критический семинар в этом году сильнейшим из всех, проходивших на Форуме молодых писателей в Липках. По Вашему мнению, появились ли в последние годы какие-то яркие имена в новом поколении критиков?

** Мы продолжаем рубрику, начало см.: «Волга», 2008, №2.*

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ – главный редактор журнала «Новый мир», литературный критик, поэт. Родился в 1955 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Многочисленные публикации на страницах журналов «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Вопросы литературы» и др. С 1995 года ведет в «Новом мире» постоянную рубрику «Периодика».

– Вот вы сказали, что имена новых поэтов и прозаиков читающей публике сравнительно известны. Увы, это не так. Если под читающей публикой иметь в виду людей, профессионально не связанных с литературой, то она, эта публика, о новых авторах не знает почти ничего. Коммуникация между поэтами и публикой, критиками и публикой нарушена еще с 90-х годов. Работа критиков важна скорее в плане формирования вот этих самых культурных конвенциональных иерархий, но это дело долгое. Новые имена? Наверно, все-таки Валерия Пустовая, но она уже не первый год, так сказать, в литпроцессе.

– Могли бы Вы в целом оценить преимущества и недостатки нынешнего формата ежегодного форума молодых писателей в Липках?

– Форум в Липках создает такую специфическую, я бы сказал – «межрегиональную» – литературную среду, которая не сформировалась бы сама собой, и хотя длится это мероприятие одну неделю в году, связи между молодыми литераторами из разных регионов России не обрываются. Некоторые семинары (например, наш с Алексеем Алехиным, главным редактором журнала «Арион») получаются слишком многочисленными для действительно плодотворной работы, а времени мало. Надо бы десять человек максимум. А если их семнадцать, восемнадцать... Цейтнот. Попадаются и какие-то, мягко говоря, странные люди, которым бы на Форуме не место. Но это, наверно, неизбежно.

– В пику восходящей к Тынянову дихотомии архаисты/новаторы, сейчас более актуальным видится противостояние наследников различных традиций модернизма. Например, круг авторов журналов «Дети Ра», «Футурум Арт» явно не наследует «традиционалистам» в обычном понимании этого термина. На Ваш взгляд, стародавний спор исчерпал себя окончательно?

– Я не очень понимаю, что такое «традиционализм». Силлабо-тоника что ли? Все сколько-нибудь заметные русские поэты и прозаики (хоть Пушкин, хоть Лев Толстой) не были «традиционалистами». Лев Толстой был революционером в искусстве прозы и всю свою долгую жизнь непрерывно ставил себе все новые творческие задачи. И только ретроспективно он воспринимается нами как часть традиции. Но если это так, то что значит ориентироваться сегодня на «толстовские традиции»? Имитировать его стиль? Или быть революционером в искусстве?

– Говоря о подходе «Нового мира» к подбору материала, Вы однажды заметили: «Пока не напечатали – был «неформат», а напечатали – и стал формат». Написано это было, если не ошибаюсь, в 2005 году. Прошло почти четыре года. Что за это время «стало форматом» (в хорошем смысле слова) благодаря Вашему журналу? Как в прозе, так и в поэзии?

– Я назвал бы «Бренд» – странный «поп-арт роман» молодого питерского автора Олега Сивуна. Это его первая публикация вообще (2008, № 10). В результате: редакционная премия «Нового мира», шорт-лист премии «Дебют» и, наконец, Новая Пушкинская премия. А роман его – и вовсе не роман в привычном понимании, не случайно в «Дебюте» он шел по номинации «эссеистика».

– Поэтическую премию «Нового мира» за 2007 год получил Андрей Гришаев. До этого он был отмечен публикациями в итоговых сборниках премии «Дебют», выпустил в 2005 году книгу, печатался в журнале «Зинзивер», еще где-то, но по-настоящему читатель открыл его все же именно благодаря «Новому миру». По Вашему мнению, можно считать Андрея наиболее ярким представителем поколения «младших тридцатилетних»?

– Я считаю Андрея Гришаева – поэтом. Не «самым-самым», а поэтом, заслуживающим внимания. Слово «яркий» к его манере вообще не подходит, он работает с очень тонкими материями, нюансами, и нужен поэтический слух, чтобы это почувствовать. Я, познакомившись с ним и его стихами на Форуме молодых писателей в Липках, и сам в него не сразу вчитался, не сразу оценил.

– Могли бы Вы отметить наиболее яркие публикации 2008 года в журнале «Воздух»?

– В № 2 за прошлый год (последний номер, который я на данный момент внимательно прочел) – стихи Сергея Круглова и Станислава Львовского, также интересную беседу Николая Кононова и Линор Горалик. В № 1 за 2008 год запомнился весьма актуальный опрос «Русская поэзия в диалоге с зарубежной».

– В 1998 году Вы написали: «Очевидное же преобладание в текущей словесности и вообще "серьезной" словесности нашего времени произведений от первого лица я связываю не с тем, что литература вымысла себя исчерпала, а с иссяканием у современных писателей собственно художественного дара, позволяющего создавать достоверные и независимые от автора характеры». За прошедшие десять лет что-то изменилось?

– Современная литература настолько разнообразна и сегментирована, внутри нее действуют настолько разные и, казалось бы, взаимоисключающие тенденции, что... Получается: о ней, в целом, что ни скажи, все вроде бы правда. С одной стороны, та тенденция о которой я некогда говорил, усугубилась. С другой, можно привести множество примеров самого разного fiction'a... Который вроде бы опровергает. Или как раз не опровергает. Может показаться, что я виляю, стараюсь уйти от прямого ответа. Но я чем дальше живу, тем более убеждаюсь, что реальность, и культурная реальность в том числе, плохо укладывается в «прямые ответы», и чем ответы «прямее», тем они приблизительнее.

– Несколько раньше, в 1996 году, в рамках встречи, организованной журналом «Вопросы литературы», Вы сказали: «Может статься, литературы и вовсе не будет. Во всяком случае, того, что мы, здесь присутствующие, по своей исторической замшелости привыкли считать литературой. Конечно, и книжки будут издаваться, и гонорары выплачиваться, и авторы тусоваться, но, видимо, реальный успех и влияние будут иметь только те произведения и авторы, что будут создаваться и потребляться по законам масс-медиа. И это уже не будет иметь отношения к литературе. Утешает мысль, что имеешь дело с естественно-историческим процессом, что просто надо по возможности не покидать корабля (хотя иногда очень хочется)». Во-первых, насколько оправдался Ваш прогноз? И, во-вторых, если судить по реакции в блогосфере Интернета как наиболее репрезентативной дискуссионной площадке, устойчивость мыслящего сословия к массовой культуре довольно высока, но, вместе с тем, нет ли опасности для «того, что мы привыкли считать литературой» собственно от блогосферы? В частности, заметно ли влияние блогов на современную короткую прозу?

– Влияние блогов на современную прозу и эссеистику имеет место быть, но я не вижу тут «опасности». Само понятие «литература» изменчиво, исторически конкретно. Я и к массовой культуре отношусь не высокомерно. А если серьезно – все проходит. И все пройдет – и мы сами, и литература, и Россия, и весь род людской. Что из этого следует? Да ничего. Это не повод не жить, не работать.

– Надо ли увеличивать число изданий, представленных в Журнальном зале? И не грозит ли этому проекту разделение по художественным, идеологическим или еще каким-то критериям?

– Я думаю, что «Журнальный зал» уже перегружен, и не надо бы торопиться принимать туда все новые и новые издания. Они там уже начинают мешать друг другу. Я знаю, что есть и иная, даже противоположная точка зрения, тоже имеющая право на существование.

– Чем на сей момент лимитированы верхний и нижний пороги тиража литературных журналов? Или здесь как на рынке нефти – потенциальных пределов падения и роста определить нельзя?

– О росте тиражей сейчас и речи нет. Хотя если бы каждая десятая библиотека в России подписалась на «Новый мир», то это уже примерно 13 тысяч. Сейчас наш тираж вдвое меньше. У «Знамени», «Октября», «Дружбы народов» еще меньше. Нижний порог тиражей ничем не лимитирован. Надо прямо — спокойно, без истерики — сказать: речь уже идет о самом существовании российских толстых литературных журналов, которое ничем и никем не гарантировано, да и вряд ли может быть гарантировано.

– В этом году на премию «Дебют» было подано свыше 50 000 произведений. Возрастной лимит премии – 25 лет. Предположим, что наиболее активно книги читаются именно в этом возрасте, но даже тогда тиражи художественной литературы должны быть, по крайней мере, сопоставимы с указанной цифрой. Можно ли сделать вывод о том, что знакомство с состоянием литературного процесса перестало быть важным для молодых авторов?

– Молодые читают в Сети, так что корреляции с бумажными тиражами тут нет. Но многие, даже большинство молодых авторов знают современную и классическую литературу хуже, чем

требует литературное дело. Оригинальность/уникальность художественного произведения растет не из пустоты. Оригинальность, подлинность, уникальность и т. п. – это свое место в определенном контексте. Чтобы найти и занять свое место, надо знать и понимать существующий контекст (который образуется не только литературными новинками, но и литературой прошлого). Увы, большинство пишущих (и не только молодых) ориентируются в нем недостаточно. Что касается большинства рукописей, присылаемых на «Дебют», они не представляют никакого интереса, ну кроме разве что социологического. И лишь малая их часть, отобранная экспертами, предъявляется литературной общественности в виде сначала длинного, потом короткого списков. Это нормально.

– Каковы по-вашему, перспективы литературных изданий, ориентированных в первую очередь на Интернет (например, электронного журнала «Рец»)?

– Я думаю, таких изданий будет все больше и больше, и некоторые бумажные издания станут такими (как, например, «Новая Юность», которая из-за финансовых трудностей уже существует в режиме электронного издания, но для пользователей «Журнального Зала» это незаметно).

– Рецензируя книгу пермского прозаика Евдокии Туровой, Вы заметили, что книга попала к Вам практически случайно: «Где можно купить книги, изданные в Перми, кроме как в Перми». На Ваш взгляд, путь писателя к читателю «через Москву» это неизбежность?

– Если говорить о бумажных книжных изданиях, то, видимо, да. И дальше будет хуже. Стоимость перевозки книг по огромной России будет все возрастать. И если крупные московские издательства еще будут отправлять свою продукцию в регионы, то местным издательствам продавать книги далеко за пределами региона станет почти невозможно. С журналами, имеющими электронные версии в «Журнальном Зале», проще – саратовская «Волга», издающаяся символическим тиражом, или екатеринбургский «Урал», могут читаться по всему миру.

– В последние годы в провинции проводится довольно много поэтических фестивалей. Выполняют ли они декларируемые задачи: знакомство любителей поэзии с ведущими авторами, вывод на литературную орбиту новых имен из нестоличных городов и, что может быть наиболее важно, формирование единого литературного пространства?

– Фестивали нужны. Много. Что касается «единого литературного пространства», я плохо понимаю, что это такое. То есть понимаю – применительно к советскому времени. А сейчас... понятно только, что его нет. А возможно ли оно в настоящем? Нужно ли оно? Не знаю. Литература сегментируется, так, вероятно, будет и дальше.

– Вообще, путь в литературные журналы через фестивали может стать одним из основных или это на сей момент слабо взаимодействующие процессы?

– Путь такой есть, и это путь в обе стороны, и авторы по нему уже движутся. В обе, повторяю, стороны. Но основным он не является и, наверно, не будет таковым.

Андрей ПЕРМЯКОВ – Дмитрий КУЗЬМИН

– Рассказывая об истории «Вавилона», Вы упомянули, что на первый Всесоюзный фестиваль поэзии было подано несколько сот заявок. В этом году на соискание премии «Дебют» свои творения представили более 50 000 авторов. Можно предположить, что не менее 10 000 из них поэты или считают себя поэтами, или (что, вероятно, было бы оптимальным) хотят стать поэтами. При этом тиражи поэтических сборников с 1991 года, когда Вы проводили первый фестиваль, до 2008

** Дмитрий Кузьмин – поэт, литературный критик, литературовед, переводчик, литературтрегер, издатель. Родился в 1968 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Кандидат филологических наук. Главный редактор издательства «АРГО-РИСК», основатель Союза молодых литераторов и сайта «Вавилон», куратор многих литературных проектов. Лауреат Премии Андрея Белого (2002) в номинации «За заслуги перед литературой». Публикации в отечественных («Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Новое литературное обозрение») и зарубежных журналах. С 2006 года главный редактор журнала поэзии «Воздух».*

упали в сотни раз. В чем здесь причины? Самые очевидные, конечно, распространение Интернета и разрушение системы дистрибуции книг, но наиболее ли эти причины важны?

– Мне кажется, тут несколько разных сюжетов.

Один – про лукавые цифры: конечно, ни 50 тысяч, ни 10 тысяч молодых поэтов никак не может быть, и премия «Дебют» просто пользуется простейшим пиаровским ходом, потому что действительные заслуги этого проекта – привлечение внимания литературной общественности к таким замечательным авторам, как Марианна Гейде или Денис Осокин, – понятны немногим, а цифры можно предъявить посторонним людям.

Другой сюжет – про то, что чукча – не читатель, а писатель: писать-то они (эти тысячи или, ладно, сотни) пишут, а читать не читают. В этом есть какая-то доля правды, но я бы не драматизировал. Начинающий автор, да, зачастую читает лишь великих мертвых классиков, с одной стороны, и своих приятелей, с другой (про тех, кто не читает вообще никого, мы не говорим, потому что они никогда не напишут ничего осмысленного), – но по мере вхождения в литературное пространство это постепенно выправляется: кто-то из старших авторов тебя заметил и похвалил – почитаем, что пишет этот старший автор, в каком-то «взрослом» журнале напечатали твою подборку – почитаем, кого напечатали рядом... Если и есть опасность, то в организации симулятивного пространства, ложного, инвалидного контекста, попадание в который избавляет молодого автора от необходимости читать не своих – тех, кого старшие товарищи из этого контекста заботливо убрали. Таких ложных контекстов сейчас некоторое количество имеется – но не молодые авторы в этом виноваты.

И есть третий сюжет – суть которого в том, что само построение Вашего вопроса в какой-то мере подразумевает обращенность поэтической книги к поэту (или хотя бы к тому, кто хочет стать поэтом). Я с пониманием отношусь к идее о том, что поэты пишут для поэтов (или, скажем осторожнее, для узкого круга посвященных). Идея эта возникла не вчера – сравни у Пушкина: «славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один поэт» (есть известная история о том, как мэр Москвы Лужков по случаю Пушкинского юбилея поправлял классика и разъяснял, что следует читать «хоть один читатель», а поэт и депутат Московской городской Думы Бунимович отвечал ему, что классик лучше понимал, в чем дело). Идея эта хороша тем, что освобождает поэта от заигрывания с массовым спросом, которое неизбежно оборачивается игрой на понижение (кажущиеся исключения без остатка делятся на дутые фигуры – и авторов, которые, от Есенина до Андрея Родионова, при видимой – иногда и искренней, хотя это не обязательно, – «близости к народу» всегда следят за тем, чтобы у стихов было «двойное дно», доступное узкому кругу). И я сам бесконечно твержу, что серьезное искусство требует усилий для своего понимания, на эти усилия способен не всякий, и т.д., и т.п. И все-таки все это не значит, что не должно существовать таких информационных каналов, подключение к которым давало бы любому человеку, который в этом действительно заинтересован, возможность проникнуть в мир современной поэзии и в нем освоиться, – совершенно независимо от того, сочиняет ли он что-либо сам. Потому что стихи – инструмент особо точной настройки для исследования мира вокруг нас и самих нас, и кому-то именно этот инструмент нужен для самых важных личных открытий. Но создание таких каналов – это не вопрос книгоиздания или книжной дистрибуции, не вопрос выкладывания текстов в Интернет (где и так уже лежит все, что можно себе вообразить), а вопрос выстраивания системы ориентиров: как узнать, что за книга тебе нужна, на какой сайт тебе зайти и какие фамилии там набрать в поиске? Моя личная вера состоит в том, что решается этот вопрос пактом между современной поэзией (современной музыкой, современным визуальным искусством...) и высшей школой. Пока такой пакт, по большей части, остается утопией – но еще не вечер.

– В пику восходящей к Тынянову дихотомии архаисты/новаторы, сейчас более актуальным видится противостояние наследников различных традиций модернизма — например, круг авторов журналов «Дети Ра», «Футурум Арт» явно не наследует «традиционалистам» в обычном понимании этого термина. На Ваш взгляд, стародавний спор исчерпал себя окончательно?

– Ну нет, Тынянова я не отдам. Он моделировал универсальные механизмы (в данном случае,

литературной эволюции), а не описывал расклад сил в определенный момент. И методология его прекрасно работает – разумеется, на достаточно больших периодах времени. А то, что некоторые элементы поэтической техники и некоторые принципы поэтической идеологии (то бишь ответы на вопрос о природе и назначении поэзии) были новаторскими сто лет назад и выглядят унылой рутиной сейчас, – нисколько не отменяет Тынянова, поскольку тыняновские идеи не отменяют принципа автоматизации, сформулированного Шкловским. Иными словами, «традиция» запросто может быть модернистской по своему происхождению – и, по сегодняшнему раскладу, вполне «архаистской». При том, что среди сегодняшних «традиционалистов» полно желающих «отменить» модернизм в любой форме и опереться на домодернистское наследие в диапазоне от Тютчева до Некрасова (и бесконечные выморочные вариации этого наследия в советской поэзии любого извода, включая шестидесятнический).

Но Вы правы в том смысле, что – и я про это все время твержу – общая картина современной русской поэзии со времен Тынянова и Шкловского сильно усложнилась. Моя обычная метафора здесь – метафора дерева: XIX век – более или менее единый и монолитный ствол, Серебряный век – разделение на несколько основных мощных ветвей, а последующее развитие – интенсивное ветвление, давшее в итоге сильно переплетенную и в каком-то смысле запутанную крону. И вполне естественно, что авторы, сидящие, условно говоря, «на разных ветках», могут и хотят друг другу противостоять и друг с другом полемизировать (мне бы хотелось, правда, чтобы они при этом, в каком-то высшем смысле, друг друга все-таки принимали). И если б на каждой ветке было бы еще и по издательству, паре журналов и своей литературной премии – тогда (вообразим себе) происходила бы полноценная литературная полемика между, к примеру сказать, Александром Скиданом и Валерием Шубинским, Михаилом Айзенбергом и Олегом Дарком, Григорием Дашевским и Александром Улановым. Такая полемика представляла бы коллизию «новаторы vs. архаисты» в гораздо более сложной форме, потому что, как бы сказать, у каждого из этих новаторов свои архаисты: для «западника» Уланова – «Московское время» с его ортодоксальной силлабо-тоникой и классически понятым психологизмом, а для Айзенберга, проводящего эту самую психологическую лирику через огонь конкретистской речевой самодостаточности и медные трубы постмодернистской проблематизации ценностных оснований, – Клуб «Поэзия» с его авангардным посылом авторского воления над словом и мыслью. Но в реальности ничего этого нет – потому что со страниц немногочисленных «традиционных» изданий, ни одно из которых вроде как не занимает ясно выраженной эстетической позиции, без конца несутся окрики какой-нибудь заполошной Анны Кузнецовой, желающей отредактировать помянутое дерево до состояния телеграфного столба.

– На Ваш взгляд: едино ли поэтическое пространство России? В частности, Вы писали: «в современной поэзии разных художественных языков больше, чем в любой предшествующий период развития русского стиха». Это равноправные языки или есть некое подобие консенсуса о том, что вот это – мэйнстрим, это – различные варианты авангардных течений, а вот это – безнадежные маргиналии?

– Вопрос не так-то прост – несмотря на то, что я как бы на него уже ответил. Потому что он упирается в выделение круга лиц и институций, чьи мнения принимаются в расчет при определении: есть консенсус или его нет. Вот я выше назвал имена шести литераторов и критиков с очень разными вкусами и взглядами – и все они, безусловно, сойдутся во мнении, что творчество поэтессы N, лауреата всяческих премий и постоянного автора «толстых журналов», есть унылая туфта. Это один уровень консенсуса. И есть, допустим, группировка авторов, осуществившая рейдерский захват журнала «Волга – XXI век», и по поводу литературной продукции этой группировки во мнении, что это унылая туфта, сойдутся шесть названных экспертов, поэтесса N и все печатающие ее «толстые журналы». Это другой уровень консенсуса. На каком уровне остановиться? Для меня важнее первый из консенсусов, более узкий, в социокультурном аспекте выражающий солидарное мнение наследников русской неподцензурной словесности 1950-80-х (каковая, в свою очередь, есть законная наследница Серебряного века и далее), потому что он

отграничивает авторов, совершающих (или хотя бы пытающихся совершить) некий прорыв, расширение границ возможного в поэзии, от авторов, выполняющих профессиональное задание и создающих кондиционный продукт с заранее известными свойствами, – а второй консенсус, более широкий и присоединяющий, коротко говоря, наследников либерально-компромиссной фракции советской культуры, отделяет тех, чей готовый продукт обладает хотя бы какими-то осмысленными свойствами, от тех, кто изготавливает сапоги всмятку, – то есть проводит границу профессионального поля. Причем в обоих случаях консенсус работает в позитивном аспекте не так, как в негативном: если, к примеру, я и профессор Шайтанов сходимся в том, что нечто – чепуха, так уж это и вправду чепуха (выбрасываем за пределы профессионального поля), но если наши мнения расходятся, то консенсус состоит в нашей общей готовности обсуждать некоторое явление. Принципиальное значение Ники Скандиаки для сегодняшней русской поэзии в равной мере подтверждается восторгами из «Нового литературного обозрения» и «Воздуха» – и бранью из «Знамени» и «Ариона»; но какого-нибудь Алексея Даена сколько ни хвалят в «Детях Ра», а никто не обращает никакого внимания: нет консенсуса.

Что же касается мэйнстрима, то какое-то общее его понимание, должно быть, есть – с той разницей, что принадлежность к нему одни считают благом, а другие стыдом (а третьи – диверсионной деятельностью). Но это до тех пор, пока мэйнстрим трактуется в социокультурном измерении: как то, что назначено быть «поэзией по умолчанию» авторитетно-заслуженными институциями, чьей прерогативой традиционно является раздача символического капитала: вот кого печатают (систематически, а не разок по недосмотру начальства) в «Новом мире», «Знамени» и «Октябре» – тот и мэйнстрим. Интереснее же задаваться сущностными вопросами: есть ли в данный момент такой тип письма, такая проблемная заостренность текстов, которые в наибольшей мере характеризуют наше время, то, что происходит именно сегодня с миром, с человеком, с языком (назовем это, в отличие от мэйнстрима, каноном)? Вот по этому поводу никакого консенсуса не наблюдается. Подробнее я когда-то размышлял на эту тему в «Новом литературном обозрении», в статье про постконцептуализм, на которую довольно много отвечали, но все больше в жанре обличений манипулятора Кузьмина, велевшего своим приспешникам писать плохо и ни о чем, – а вопрос по существу открыт и актуален, что видно хотя бы из занявшего в последний год внимание многих разговора о «новом эпосе», который, конечно, никак не получается определить исходя из структуры и свойств объединяемых под этим ярлыком текстов, но зато, возможно, он бы «дался в руки» при попытке понять, на какой социокультурный запрос он отвечает, какой социопсихологический (если не антропологический) сдвиг фиксирует. Впрочем, к этой мысли близки некоторые соображения Ильи Кукулина.

– Насколько исчерпана мощнейшая традиция неподцензурной литературы 50-80 годов? Можно ли ожидать чего-то столь же продуктивного, основанного на поэтических находках девяностых и первого десятилетия нового века?

– Да я-то как раз думаю, что заседание вовсю продолжается, и за последние два десятка лет в русской поэзии случилось никак не меньше важного и значительного, чем за тридцать предыдущих. Причем случилось оно не только после неподцензурной поэзии 50-80-х, но и непосредственно благодаря ей. Но мне бы не хотелось тут явным образом называть, какие именно из поэтических событий девяностых и нулевых я считаю главными и судьбоносными, – потому что положение редактора, стремящегося совместить под одной обложкой авторов с очень разными манерами и позициями, требует в некоторых случаях придерживать язык.

– Можно ли говорить о том, что окончание «века поэзии» совпало с календарным завершением XX столетия? В частности, стало ли присуждение в 2000 году премии Аполлона Григорьева Виктору Сосноре и Пастернаковской премии Геннадию Айги невольным указанием на то, что авангард XX века остался в прошлом и должно возникнуть нечто новое?

– Мне кажется, о том, когда закончился «век поэзии» и чего именно это был век, мы узнаем еще только спустя некоторое время. Пока вроде бы понятно, что век этот не совпал окончанием с веком историко-политическим, – но он и началом не совпал: есть известная историческая мак-

сима о том, что XX век начался в 1914-м и завершился в 1991-м, тогда как XX век русской поэзии определенно начался в 1894-м брюсовскими «Русскими символистами».

Что касается названных премий, то я полагаю, что вес обеих недостаточен для того, чтобы что-либо существенное знаменовать. Кристаллически чистый авангард, да, возможно, исчерпан (но и у Айги, и у Сосноры он уже разнообразно обогащен и трансформирован: у Айги очень заметно, что не меньше, чем Хлебников, его занимают Целан или Рене Шар, а может, и Яндль, с другой стороны). Но он растворен и впитан и у множества ныне действующих авторов входит в состав крови – включая и появившихся в 90-е (скажем, Мария Степанова и Андрей Поляков с их пристрастием к словесным деформациям), и появившихся в 2000-е (Дина Гатина, которая, помимо всего прочего, напрямую наследует Елене Гуро). Вообще, пусть это и прозвучит слишком пафосно, но я скажу: ничто в культуре из того, что действительно важно, не умирает и не исчезает, и у всякого достойного дяди (вспоминаем опять Тынянова) непременно однажды появляется племянник.

– В 2001 году Вы определили границу нового поколения литераторов – 1966-67 годы. Можно ли теперь определить возрастную границу, замыкающую поколение? Насколько важны внешние факторы? Скажем, существенно ли, что автор 1975 года рождения теоретически мог получить премию «Дебют», а 1974 года рождения – нет?

– Примерно 1967 год рождения как поколенческую границу я определил не в 2001-м, а в начале 90-х, когда только возникли разные структуры этого поколения, в том числе и наш проект «Вавилон». Иное дело – что тогда эта граница определилась эмпирически, а уж потом мы это все додумали до той нехитрой мысли, что это граница между теми, кто успел сформироваться как литератор и как человек в ситуации советского литературного двоемирия и общей стагнации (либо как юный конформист, вступающий на совписовскую стезю, либо как юный нонконформист, готовящийся пополнить своими текстами страницы самиздата, но, в любом случае, с более или менее четкой программой действий впереди), и теми, чье формирование началось уже в новой ситуации – невероятной культурной и социальной нестабильности, когда картина мира меняется чуть не каждый день и требует от тебя постоянного переопределения собственных координат. То есть принцип состоит в том, что некоторое кардинальное изменение в макроконтексте – и жизненном, и литературном – вызывает к жизни новое поколение с новым типом реакций на этот контекст (что никак не отменяет всех и всяческих «вертикальных» связей вдоль данной ветви древа русской поэзии). И очень заметно, что Дмитрий Быков, Денис Новиков, Виталий Пуханов, Василий Кондратьев – это одно поколение, а Дмитрий Воденников, Андрей Поляков, Андрей Сен-Сеньков, Николай Звягинцев – уже другое, хотя арифметическая разница в возрасте почти нулевая. А году этак к 2003-му стало ясно, что появилось новое поколение, рубеж примерно по 1979 году рождения (Данила Давыдов еще к нашему же поколению, а Марианна Гейде уже к следующему), и я довольно много тогда говорил и писал о том, что кардинальным изменением, вызвавшим это поколение к жизни, стало появление Интернета как универсальной медийной среды, в которой преимущественно проходит социализация (и поэтическая, и вообще). Не буду сейчас объяснять, как это влияет, – об этом довольно много написано. Разумеется, какие-то отдельные творческие биографии могут выпадать из этой картины, но принцип таков. Теперь это младшее поколение иногда называют Поколением премии «Дебют», как предыдущее поколение называли Поколением «Вавилона», и это во многом справедливо, потому что все наиболее интересные представители этого поколения к «Дебюту» то или иное отношение имеют (хотя и не всегда как лауреаты, потому что финальные решения жюри, с изумлением глядящего на племя младое, незнакомое, там зачастую вполне удивительны, – но длинные-то списки, из попадания в которые вытекает участие в разного рода сайд-проектах и вообще попадание в сферу внимания профессионалов, составляются действительными экспертами, понимающими, что там у молодежи происходит). Но, конечно, началось это с третьего-четвертого розыгрыша «Дебюта», а первые-то пару лет на премию претендовали младшие «вавилоняне» (собственно, Давыдов ее первым и получил).

– Могли бы Вы назвать основные преимущества и недостатки современного формата Форума молодых писателей в Липках?

– Изнутри я про это ничего не знаю, потому что в минувшем году впервые был привезен туда на два часа в качестве экзотического гостя. Что само по себе некоторым образом показательно: для «Нашего современника» в этой истории есть место, а для тех, кто продолжает линию независимой словесности, – нет, и молодым дарованиям, тем самым, впаривают вполне искаженную картину мира. Принципиально же я думаю, что классическое студийное обсуждение («танцуют все») с финальным вердиктом мэтра – мероприятие сомнительной полезности, особенно в полуслучайной компании, и куда лучше было бы потратить это же время на совместное выяснение вопроса о том, как устроено и чем замечательно то или иное стихотворение Бродского или Айги. В общем, я бы все сделал по-другому.

– Еще цитата из другой Вашей статьи: «Пока у тебя не вышла книжка, тебя как бы нет в профессиональном сообществе». Следует ли из этого, что, роль журнальных подборок менее важна? В частности, для авторов из провинции? Например, челябинец Александр Петрушкин выпустил уже 8 книг, в этом году у него вышло Избранное, но всерьез на российском уровне он стал заметен в прошедшем году, после публикаций в «Знамени», «Воздухе», других изданиях.

– Я слегка ужаснулся этой цитате из себя, не смог вспомнить ее происхождение и полез в Гугль – который подсказал мне, что сказано это было в одном интервью в ответ на вопрос, зачем издавать книги, когда есть Интернет. Причем дальше там идет уточнение: не где-нибудь надо выпустить книжку, а в одном из строго определенных мест (в других – можно выпустить хоть 8 книг, и никто из профессионалов их не прочтет).

Так что я совершенно согласен: в норме – сперва идут публикации в периодике, благодаря которым автора замечают, а потом он выпускает книжку, которую кто-то прочитывает и рецензирует в силу того, что имя уже знакомо. И, естественно, в книжке что-то прочитывается иначе, потому что у одного автора возникает кумулятивный эффект – стихи развивают, углубляют, оттеняют друг друга, – а у другого, увы, интересное в малых дозах оборачивается скукой в больших... Но основное противопоставление – не книги и журнальной подборки и даже не бумажной публикации и сетевой, а – публикации, сопряженной с движением символического капитала, и публикации «пустой», ничего не означающей. В определенном журнале, в книге определенного издательства, на определенном сайте твои тексты поддержаны авторитетом того человека, который взял на себя ответственность их там разместить, и авторитетом других авторов по соседству. Потом, со временем, и твое имя рядом так же поддержит кого-то из начинающих. А в иных местах ни у хозяина, ни у соседей авторитета нет (а порой и самого хозяина нет, как на сайтах со свободной публикацией). Твои стихи от этого не станут ни хуже, ни лучше, – просто вероятность того, что их кто-то заметит, становится исчезающе мала. В этом положении дел есть элемент жестокости – но есть и справедливость: если никто из тех, кто может поделиться с тобой авторитетом, не хочет этого делать (то есть ты никого не заинтересовал), – значит, похоже, надо бы еще поработать над собой, прежде чем требовать внимания. Или – из ничего создав на пустом месте новый источник символического капитала, доказать всем (не громкостью крика, а убедительностью и настоятельностью), что ты сам себе авторитет. У Брюсова вон получилось – и начался XX век.

– Надо ли увеличивать представительство изданий в Журнальном Зале? Что бы Вы включили туда («Воздух» в этом случае подразумеваем)?

– Зачем же подразумевать? Не надо. Решение о невключении «Воздуха» в Журнальный зал уже состоялось – и, я полагаю (впрочем, не я один – на этот счет мои коллеги Данил Файзов и Юрий Цветков провели нечто вроде опроса, http://www.polit.ru/analytics/2007/03/30/vozduh.html), благополучно дискредитировало саму идею: стало ясно, что на действительный уровень того или иного издания возглавляющему проект совету главных редакторов наплевать. Что само по себе, впрочем, не новость, потому что среди благополучно пребывающих в составе проекта изданий есть несколько таких, что без слез читать невозможно, – и вряд ли коллеги Василевский или Чупринин придерживаются по этому поводу иного мнения. А если отбор по качеству текстов

Журнальный зал не осуществляет, то надобность в нем оказывается чисто технической: удобно, когда на тексты одного автора, опубликованного в разных журналах, ты можешь попасть с одной и той же страницы. Но в этом отношении Журнальный зал – проект неудобный и половинчатый: он не дает внешних ссылок (на тексты того же автора в Сети – а ведь часто лежат и целые книги, не только журнальные подборки), сортирует критические статьи по их авторам и не сортирует по героям... Поэтому мы построили сайт нового поколения с аналогичными задачами – Новую литературную карту России. И вот там увеличивать представительство изданий, авторов, регионов и всего прочего – можно и должно. Но не без разбору.

– Могли бы Вы отметить наиболее яркие поэтические публикации и свежие имена в «Новом мире» за последнее время?

– Я не уверен, что основная миссия «Нового мира», по крайней мере, в его поэтическом разделе, состоит в том, чтобы предъявлять «свежие имена». Но ежели таковые там появляются, то, по большей части, спустя некоторое время после того, как эти имена появились в «Воздухе» и/или в молодежной поэтической книжной серии «Поколение» (за последние пару лет так было, в частности, с Федором Сваровским, Андреем Гришаевым, Юлией Идлис). Да и просто яркие публикации «Нового мира» – это, на мой вкус, публикации наших общих авторов, в диапазоне от Бориса Херсонского до Андрея Родионова. Впрочем, есть один сравнительно новый автор, чья «новомирская» подборка стихов 2008 года мне симпатична и обнаруживает, на мой взгляд, значительный рывок сравнительно с позапрошлогодними публикациями, – я, собственно, интересовался у автора, не хочет ли он дать часть этих текстов в «Воздух», но оказалось, что они уже «просватаны» в «Новый мир». Речь идет о поэте Андрее Василевском, как Вы, наверно, уже догадались.

– Достаточно известная ситуация с журналом «Волга» на Ваш взгляд, останется частным случаем или за этим стоит некая тенденция? Поскольку формального вмешательства государственных органов в этот процесс не было, можно ли считать подобный передел собственности признаком разделения внутри писательского сообщества?

– Мне сложно судить о закулисной и подковерной стороне дела. Но уместно будет напомнить, что это, собственно, не первый, а второй случай рейдерства в литературном журнале в постсоветскую эпоху: в 1996 году был захвачен и уничтожен ташкентский журнал «Звезда Востока» – и вот там все было кристально ясно: погромная статья в центральной газете и решения, так сказать, на правительственном уровне. Ну, а тут мы не в Узбекистане, чиновное начальство остается за кадром...

Вопрос-то не в этом – а в том, что нет такого «писательского сообщества», членами которого можно было бы всерьез считать всю эту полуграмотную публику. «Писателями» такие люди могли называться только в СССР, по разнарядке идеологического отдела обкома. Я же был в Саратове, видел этих «писателей» с оловянными глазами, слышал речи ветерана местной поэзии с гоголевской фамилией Байбуза, прославившегося агитационным четверостишием для избирательной кампании двух полковников ФСБ... Этот паноптикум живет своей жизнью, как-то воспроизводится, но все это происходит в параллельной реальности, до которой вменяемому человеку не должно быть дела.

– Поэтических журналов, по практически общему мнению, у нас мало. Становится ли нынешнее обилие литературных фестивалей попыткой компенсировать этот недостаток? Вообще, как Вы оцениваете качество этих фестивалей и в чем состоят их основные задачи?

– Это отчасти продолжение вопроса о том, для кого пишут поэты. Дело в том, что большинство новейших российских фестивалей, проходящих за пределами обеих столиц, адресовано, собственно говоря, местному младшему литературному поколению – тем, кто считает себя поэтом или хотя бы примеривается к этому самоопределению. И в этом смысле задача состоит в том, чтобы показать им вживую ярких и интересных авторов из других мест (пусть даже и столь же юных), да и их самих показать приезжающим коллегам и экспертам. Дело это неплохое, но как замена журналу, конечно, не работает, потому что привезти (да еще в отсутствие бюджета) возможно далеко

не каждого автора, знакомство с творчеством которого для начинающих обязательно. Тем не менее, какая-то инициация таким образом происходит – но стойкий эффект возникает только при условии, что в промежутках между случающимися раз или два в году крупными акциями ведется какая-то непрерывная работа: проводятся встречи, читаются лекции, привозятся книжки, кто-то по одному приезжает из других городов на гастроли... Насколько это эффективно – мы видим на примере Нижнего Новгорода, где соответствующая деятельность Егора Кирсанова (Евгения Прощина) привела за пару лет к появлению целой плеяды способных молодых авторов (а уж что из них получится, если получится, – зависит от них самих).

А если работать вовне, на читательскую аудиторию, то потребны организационные усилия (как минимум) и финансовые затраты (как максимум) совершенно иного порядка. Мне довелось побывать в Харькове на фестивале «Остання баррикада», который организовал харизматический лидер молодой украинской литературы, блестящий поэт и прозаик Сергей Жадан. Это была сложно построенная двухдневная акция, часов этак по 7 каждый день, в ходе которой поэтические чтения разного типа и формата перемежались выступлениями рок-музыкантов вполне общенационального значения; зал какого-то конгресс-центра, мест на 500, был практически полон (в какие-то моменты – под завязку) веселой раскованной молодежью, которую, конечно, в значительной степени приманили на музыку, но которая в результате честно выслушала с полсотни поэтов, в том числе не самых легких для восприятия. И даже на слэм-турнире, который и вообще, на мой вкус, забава довольно нелепая, а в украинском варианте еще обычно украшен омерзительным деланным шутовством ведущего, выиграл в итоге совершенно настоящий лирический поэт Дмитрий Лазуткин. Но такой формат, боюсь, организаторам нынешних российских поэтических фестивалей не поднять.

– Другим способом возмещения недостаточного количества изданий, ориентированных на поэзию, становится выпуск альманахов. В частности, вышло уже четыре выпуска альманаха «Абзац». На ваш взгляд, какова потенциальная ниша этого издания и его перспективы?

– Я вообще с симпатией отношусь ко всему, у чего есть собственное выражение лица. С «Абзацем» это, в общем, понятно: в основе его – желание сформировать единую площадку для текстов с той или иной разновидностью идейно-тематического радикализма, но при этом не упускающих из виду собственно эстетические задачи. Это вполне осмысленный ракурс взгляда на современную русскую литературу и, стало быть, вполне полезный проект – тем более что мода на радикальный жест налицо, а желающих оседлать эту моду и на ее волне впарить публике левой ногой нацарапанный вздор – хоть отбавляй. А от альманаха до журнала один шаг, в принципе...

– Первое десятилетие нового века понемногу заканчивается. Планируете ли Вы некий проект по его итогам? Например, в том плане, в каком «Девять измерений» подводили итоги девяностых? Вообще, можно ли это сделать? Или упомянутое уже упомянутое разнообразие поэтических языков делает невозможным сколько-нибудь полный снимок литературного пейзажа?

– Мне кажется, что засечка для фундаментального итогового проекта должна быть не формально-календарной, а содержательной. Антология «Девять измерений» появилась тогда, когда поэтическое поколение 90-х перестало быть самым младшим: тут вполне естественно приостановиться и прикинуть общие контуры сделанного. И как раз под задачу полноправной репрезентации разных поэтических языков была придумана хитроумная конструкция этой антологии. В данный момент вроде бы никакого сущностного рубежа мы не переходим – а через пару-тройку лет поглядим.

Но мне кажется, что нам бы очень не помешало систематическое подведение более локальных итогов – скажем, годовых. Я уже который год твержу, что у нас есть блестящий образец – ежегодник The Best American Poetry, который в прошлом году отпраздновал свое 20-летие. Ведет его замечательный поэт и литературовед Дэвид Леман, а составляет каждый год кто-то из известных поэтов США, выбирая лучшие, с его точки зрения, стихи из всех американских журналов за отчетный год. Томики получаются довольно субъективные – но за счет того, что поэтов Леман приглашает очень разных, в совокупности картина выглядит достоверно (особенно если учесть, что

за 20 лет в антологии были представлены стихи из – внимание! – 281 периодического издания). Очень бы ко двору была нам такая серия. Один раз я даже убедил в этом издательство и составил такую книжку за 2004 год (а Леонид Костюков составил аналогичный сборник лучших рассказов); издательство поблагодарило, заплатило нам составительский гонорар и закрылось...

– Вы многократно говорили о задаче поэзии как производстве смыслов. Но не может ли быть необходимым и достаточным оправданием существования поэзии фиксация изменений, происходящих в языке? В частности, политические изменения часто носят реакционный характер, в значительной мере возвращая общество на пройденные этапы. Язык, однако, ретроградной реконструкции подвержен меньше. Т.е. возможна ли поэзия исключительно как познание современного состояния языка интуитивными методами?

– Я не вижу здесь противоречия. Познание, в контексте всей этой идиоматики, и есть производство смыслов – а никак не пассивная фиксация, для которой у лингвистов есть свои отработанные технологии. И – да, познание, в том числе, языка. Можно было бы сказать, что, де, «в первую очередь языка» – некоторые декларации, скажем, Иосифа Бродского и Михаила Айзенберга можно понять в этом ключе. Но дело в том, что после Витгенштейна мы не можем не понимать, что любое познание есть в большой мере познание языка, то есть того, как и насколько возможна речь о том, что мы вот сейчас познаем. Так что меня смущают, скорее, «интуитивные методы». Тут мне слышится ненужная настоятельность: кто ж спорит, что любое творчество в высокой степени спонтанно, но это не значит, что в обязанности художника (и поэта в частности) не входит саморефлексия, да и сама интуиция, по крайнему моему убеждению, есть не что иное как интериоризованный (усвоенный и претворенный в неотторжимую часть личности) опыт. А главное – возникает подозрение, что под такое определение возможно подвести совершенно любые стихи. Поэтому я предпочитаю говорить о производстве смыслов – которые, коль скоро они произведены, могут быть отрефлексированы и предъявлены: вот что нового нам рассказано в этом стихотворении. Отрефлексировать это зачастую не так-то просто. Но так же непросто и все остальное: читать, писать, любить, жить.

Олег РОГОВ

Стихи драматурга

Александр Гельман. Последнее будущее. Стихотворения. – М.: Время, 2008.

«Я старый человек и молодой поэт», – сказал Александр Гельман в интервью журналу «Лехаим». Действительно, первая книга его стихов вышла в юбилейный для драматурга год – ему исполнилось 75 лет.

Первая книга стихов – в разные времена за этим привычным сочетанием скрывалось совершенно разное содержание. Золотой и серебряный века – юношеская лирика, «Путь конквистадоров», «Вечерний альбом». И, в противовес адекватному по времени полиграфическому воплощению текстов, практика советского периода («рано вам печататься, вы еще жизни не знаете»). Вот характерный пассаж на обложке первой книги Ивана Жданова «Портрет», вышедшей в начале 1980-х: «поэт еще сравнительно молод», хотя ему уже было под сорок. Или, как иронизировал Сергей Стратановский по поводу своих стихов в сборнике «Молодой Ленинград»: ну ведь нет же сборника «Пожилой Ленинград»...

Случай Александра Гельмана – особенный. Драматург не писал всю жизнь стихи в стол, он писал злободневные пьесы, которые становились не только театральным событием, по ним сверяли градус дозволенной критики общественных явлений, и, к удивлению, этот градус подчас оказывался неожиданно высоким. Теперь пришло время стихов, которые столь же удивительны.

Гельман признавался в интервью «Театральным новым известиям»: «Многие драматурги писали стихи. Вообще драма очень близка к поэзии, потому что и там и тут – страсти. В свое время пьесы писали в стихах. Потом это ушло, хотя и сейчас некоторые драматурги пишут в стихах. Тяга к поэзии у драматурга есть всегда. В пьесах он отстраняет себя, там действуют персонажи, а его самого как бы нет. Но этюды, которые у него появляются, пока идет работа, они после находят какой-то выход в поэзии. Стихи – это, я бы сказал, неизбежный спутник драматургии. Но это не значит, что все драматурги писали стихи. Я вот раньше их не писал. По-настоящему я начал писать стихи несколько лет назад. Думаю, это связано с приближением смерти».

Стоит отметить еще одно глубинное сходство драматургии и поэзии – важность точного словесного попадания, короткое дыхание обеих, спринтерские дистанции, в отличие от марафонов прозы с её иной внутренней органикой. Пусть за границами лирики остается драматическое действие, а за границами пьесы – метафорические джунгли поэзии, всё равно текст пьесы и стихотворения стремится с помощью минимальных средств выразить максимально полное содержание. Поэты и драматурги – скупцы и ростовщики, прозаики – известные моты и транжиры.

Стихи Гельмана – вполне в русле зрело-мудрой традиции почтенных поэтов (Фет, Вяземский, Липкин). С тем отличием, что не было у этой поэзии ювенильного периода и стихотворцу некуда оглядываться и нет намерения и желания что-либо наверстывать. Гораздо интереснее рассматривать то, что имеется на данный момент – неспешно, без боли и волнения.

Глуп я был беспредельно до середины жизни,
Долго не понимая себя,
Пытался понять все на свете.

<...>

я сознаю, какое это счастье
быть, не понимая, что ты есть...

Смерть, «последнее будущее» – та точка отчета, которая вызывает к жизни стихи. «Моим стихам о юности, о смерти» – это другое; вместо романтической удаленности и острой приправы, какой смерть кажется в молодости, эта категория уже обжита, с ней свыклись, как со старой знакомой. Недаром в стихах Гельмана

появляются и «Лень Исааковна», и «Смерть Ивановна».

Последнее будущее
согрело корни
моих голых замерзших слов,
все трудней удается из будущей смерти
отлучиться сюда, где я еще жив,
судьба уже стоит позади,
как дом, из которого я только что вышел, –
жизнь – моя родина,
смерть – моя муза.

Это удивительная книга, такой еще не было в русской поэзии. Нужно было сойтись слишком многим векторам (возраст, драматургический опыт, личность и энергетика автора), чтобы получился такой особый состав стиха, как мед в конце пира, которым поэт щедро делится с читателем.

С жизнью своей в обнимку,
как с девчонкой,
гуляю по Москве.
Господи, как хорошо нам
чувствовать близость друг друга
перед разлукой.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Стихи плюс фото

Фотосинтез. Полозкова Вера, Паволга Ольга. – М.: Livebook/Гаятри, 2008.

Редкий случай, когда необходимо сказать, перед тем как приступить непосредст-венно к рецензируемой книге: я знаю, кто получил премию «Неформат», мне известно, творчество каких блогеров вызывает жаркие дискуссии в литературном сегменте Живого Журнала, равно как и разные оценки этого творчества уважаемыми критиками и издате-лями. Что поделать, блогосфера стала важной составляющей литературного процесса – примеров этому сотни, и все они на слуху, не вижу в этом ничего особенно плохого или хорошего. В конце концов, это не отменяет волнительного момента встречи читателя с книгой. Конечно, если читатель этот не слишком объективен по отношению к автору, то дружеской встречи может и не получиться. А потому забудем все, что было сказано вольно и невольно, и откроем книгу.

Кажется, что оценивать творческий союз фотографа (Ольга Паволга) и поэта (Вера Полозкова) проще, чем каждого отдельно взятого автора. Когда этот союз в рамках проекта складывается, получается своеобразный диалог со своими уступками, дополнениями и подыгрышем. Главное, чтобы кто-то один не начал тянуть одеяло на себя. В данном случае опасаться минус-эффекта незачем – Вера Полозкова чуть ли не через раз уверенно произносит «мы», т.е. складывается впечатление, что говорит от лица поколения. Легко ли быть молодым? Наверное, нет:

Вот когда мы бухали, плакали
или грызлись –
Выделялось какое-то жизненно важное
вещество.
Нам казалось, что это кризис.
На деле, кризис –
Это ни страдать, ни ссориться, ничего.

В этом фрагменте есть вызов, есть доля риторики, которая несколько портит стихотворение, но все-таки в нем нет фальши, и первая строчка, предполагающая вылиться в ожидаемый в общем-то надрыв, в финале закономерно превращается в недоумение. А бывает, что перехлестывает через край.

...Назидательность легкая,
ну, презрительная ленца.
Это не я напыщенная овца,
Это вас ломает дочитывать
до конца.

До конца я, положим, дочитал, увязал зеленый листик с обложки с общим месседжем книги «мы – живые, в смысле настоящие». Фильм «Курьер» вспомнил и много чего еще. Впрочем, похоже, что авторы и не ставили задачу обнаружить какой-то новый смысл в своем поэтическом путешествии, читай взрослении. А фотографии в книге просто хорошие, но, на мой вкус, существуют сами по себе, отдельно от текстов.

Еще один вариант прочтения «Фотосинтеза», как лирический дневник юной барышни с непременными «секретами», признаниями в любви, со стихами и красивыми картинками, – тоже имеет право на существование. В стихах то и дело мелькают «книжные» сюжеты, слегка подработанные, присутствует дозированная эклектика имен и мест. Хуже со временем, оно какое-то неопределенное, даже на фотографиях – может быть, это так и было задумано авторами и составителями?

Если же не разглядывать картинки, то в целом бросается в глаза скорее грамотная версификация, чем отдельные строчки или строфы. Не зря, видимо, в аннотации говорится о «совокупности процессов поглощения, преобразования и использования неких квантов света, звуков и вообще жизни в создании **рифмы** (выделено мною – *А.А.*) и фотоизображения...»

В общем, если это и фотосинтез, то немного странный, если это книга стихотворений плюс фото, а это определение мне ближе, то интересно, какими они станут лет так через десять и что за «органическое вещество из поэзии и фотографии» получится в итоге.

Ефим ВОДОНОС

«А прошлое яснее и ясней...»

Юрий Герчук. «Кровоизлияние в МОСХ», или Хрущев в Манеже. – М.: НЛО, 2008.

Юрий Яковлевич Герчук взял в качестве заглавия реакцию какого-то из записных острословов начала 1960-х годов на посещение первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым юбилейной выставки Московской организации Союза художников СССР. Книга освещает события почти полувековой давности, которые, однако, хорошо памятны многим деятелям культуры старшего поколения, особенно их непосредственным участникам. Конечно, они по-разному запечатлелись в воспоминаниях каждого из них, различаясь и конкретными эпизодами, и их последовательностью, и эмоциональным восприятием случившегося. Но, по справедливому замечанию автора, «ошибаясь в деталях, память вернее сохраняет общий смысл и атмосферу события» (С.183).

Речь идет о наметившемся еще в период пресловутой хрущевской оттепели решительном повороте властей вправо, о настойчивом выпалывании проклюнувшихся в ту относительно либеральную пору ростков свободомыслия и новых художественных исканий, опиравшихся в значительной мере на искусство 1920-х годов. «Границы, отделяющие дозволенное в искусстве и недозволенное, раздвинулись и стали зыбкими. Противоборствующие общественные силы отчаянно сражались за их расширение или сужение» (С. 234-235). И как раз в момент, когда акции обновителей искусства неуклонно возрастали, противники спровоцировали их разгром силами правящей верхушки во главе с Никитой Хрущевым. 1 декабря 1962 года он со свитой посетил развернутую в Манеже представительную ретроспективную экспозицию, посвященную 30-летию МОСХа. Безобразный скандал, устроенный всевластным руководителем на этой выставке, а особенно раздуваемые рептильной прессой его отголоски, тяжело отразились на всей культурной жизни страны. Затем последовали встречи правящей элиты с творческой интеллигенцией: сначала 17 декабря 1962-го, а затем 7-8 марта 1963-го, заметно усугубившие ситуацию и тяжело отразившиеся на судьбах многих поэтов, музыкантов, архитекторов, деятелей театра, кино, но, прежде всего, живописцев и скульпторов.

Естественно, с позиций дня нынешнего многое в поведении участников этих драматических событий кажется трудно объяснимым, а порою и этически не совсем приемлемым (речь о сопротивляющейся и пострадавшей стороне!), требующим верного понимания с учетом исторической перспективы, которую никто из них предвидеть явно не мог. И это обстоятельство автором тоже учитывается: «Между тем увеличивающийся слой утекшего времени, уводя события за черту возможностей непосредственного их восприятия и переживания, придает сравнительно недавнему прошлому законченность и рельефность. Дух времени выступает отчетливей по контрасту с реалиями сменившей его эпохи. То, что было тогда естественным, что само собой разуме-

лось, уже требует от историка своего объяснения и нередко – оправдания» (С. 229).

Так, даже и стойко сопротивлявшиеся начальственному напору (при всех вынужденных оговорках) художники и искусствоведы почти поголовно открещивались от небольшой выставки белютинской группы, устроенной на антресолях Манежа, вне основного состава развернутой там экспозиции. Справедливо подозревая, что «белютинцев» внедрили туда с заведомо провокационной целью, все они, резко отмежевываясь от них, вольно или невольно солидаризировались с правом властей на безапелляционное идейно-эстетическое осуждение всего им непонятного или неугодного.

Свою книгу, ставшую наиболее полным, последовательным и объективным рассказом о нашумевшем и многократно описываемом событии, Юрий Герчук построил очень продуманно, стараясь выявить все подспудные явления, как предшествующие этому событию, так и последовавшие за ним, подытожить и свести воедино многочисленные и зачастую противоречащие друг другу воспоминания участников и очевидцев случившегося.

Многократно оговариваясь, постоянно уточняя разноречивые свидетельства, нисколько не притязая на истину в последней инстанции, он сумел сделать с опорой на различные источники, всегда критически осмысляемые им, свое сдержанное по тону повествование непреложно убедительным. Это голос живого и кровно заинтересованного участника событий – и вместе с тем голос сумевшего подняться над ними исследователя, анализирующего все происшедшее не то чтобы с полным беспристрастием, но озабоченного, прежде всего, пониманием его действительной исторической сути.

Это основательно продуманный, мудро выстроенный и очень внятный рассказ о расстановке сил в тогдашнем искусстве, о границах возможного противостояния творческой интеллигенции тоталитарной власти, о глубинных причинах и отдаленных последствиях случившегося. Прямо по Булату Окуджаве: «А прошлое яснее и ясней...»

Но можно ли быть уверенным в том, что все узнанное и обдуманное люди иного времени смогут почувствовать «кожей», как ощутили это на себе многократно унижаемые и глумливо оскорбляемые участники событий? Серьезное социокультурное исследование многое объясняет в поведении заложников тогдашней политической конъюнктуры, вынужденную частичную капитуляцию иных из них, обладавших обостренной впечатлительностью, опасавшихся наихудших последствий, которые всем им были еще памятны. Еще не отпустивший многие души страх и горечь безысходности, накопленные десятилетиями, не слишком-то располагали к иллюзиям по поводу либеральных намерений властей. «Эту оттепель кляну теперь я. / Нет к ней больше моего доверья. / Знаю я, как вымерзают почки, / Как морозом обжигает строчки, / Как сшибает зимний ветер с ног / В оттепель поверивший цветок» (Р. Баумволь). Мы теперь немного подзабыли, что такое сила так называемых «коллективных мнений», организованное единодушное осуждение слитным голосом трудящихся масс. И автор сознательно акцентирует в минувшем то, что может стать весьма поучительным и сегодня.

«Скандал в Манеже вовсе не был проходным эпизодом, спонтанным взрывом эмоций непредсказуемого Хрущева. Хорошо подготовленный, он имел далеко идущие последствия, знаменовал очередной поворот в культурной политике», – пишет Герчук (С. 138). И затем уточняет эти якобы новые партийные установки: «Возрождались и подтверждались как непреложные старые догмы сталинской культурной политики» (С. 141).

И все-таки время было уже не совсем то, когда сила, доселе безраздельно господствующая в советском обществе, уже не встречала никакого публичного отпора. К сожалению, он был только устным: тогдашняя пресса всецело была в руках властей. То немногое положительное, что было высказано о юбилейной выставке МОСХа, было опубликовано до скандального выступления Хрущева в Манеже: появившаяся 10 ноября 1962 года в приложении к газете «Известия» продуманная и с дальними прицелами статья «Содержание формы» Андрея Гончарова, призывавшего открыть запасники музеев, чтобы познакомиться с творческим наследием мастеров 1900-1920-х годов. На телеэкране обозревал выставку Алексей Гастев, «не боявшийся смелых переоценок» (С. 53).

Иначе обстояло дело после 1 декабря. В разделе «Газетное искусствоведение» Герчук приводит множество примеров проработочных публикаций, напоминающих еще не забытые тогда обличительные кампании сталинской поры. «Полемики не было. Критикуемым слова не давали» (С. 175). Единственным примером скрытого полемического выступления автор называет статью Андрея Васнецова, вынужденного, однако, признать партийную критику «своевременной и правильной», как необходимую «плату» за возможность публикации. А до хрущевского выступления все обстояло иначе.

20 ноября состоялось обсуждение выставки московскими искусствоведами, в большинстве своем одобрившими искания живописцев складывающегося «сурового стиля»: Павла Никонова, Виктора Попкова, Николая Андронова и ряда других, а также ту переоценку ценностей, которая наметилась по отношению к искусству прошедших десятилетий. «Суровый стиль» генетически связан с художественным наследием 20-х годов: оно было опорой в борьбе с иллюзорным жизнеподобием полотен соцреализма, исчерпанность образных ресурсов которого стала уже очевидна. Естественно, среди московских критиков не было полного единодушия в оценке этой экспозиции, которую В.И. Костин называл настоящим «праздником искусства». По-разному оценивали они как достижения молодых, так и конкретные имена и произведения в воскрешаемом наследии. Давало о себе знать и негативное отношение к выставке значительной группы влиятельных и весьма агрессивных московских живописцев, выдвинувшихся в 1930-1950-е годы, с которыми иные из критиков вынуждены были считаться.

Знаменательно, что, и после разгромной хрущевской критики, уже на устроенных правительством «воспитательных» встречах с творческой интеллигенцией, критикуемые художники, искусствоведы, поэты не каялись слишком торопливо и униженно. Тяжело переживая поднятую свистопляску обличений и угроз, они продолжали (при всех вынужденных ритуальных оговорках) отстаивать свои позиции. Видимо, сказывалась накопившаяся за годы репрессий усталость от гнетущего страха и рожденные оттепельной порой «подъемные» настроения у молодежи, а также у «недоперевоспитанных» и случайно уцелевших мастеров искусства, творчески сложившихся еще в 1920-е годы.

Свою долю в духовное раскрепощение вносили и те, кто только недавно вернулся из лагерей. Буквально за несколько дней до Хрущевского разгрома выставки на конференции в Институте истории искусств Лев Копелев заявил: «Планировать новаторство и давать установки, каким оно должно быть, это также дурная традиция. И не надо под предлогом борьбы против «ложного» новаторства и формализма никого запрещать, загонять в подполье. Нужно раз и навсегда запретить запреты» (С. 75).

Коллективное письмо Н.С. Хрущеву в защиту художников подписали не только молодые московские графики Гурий Захаров, Илларион Голицын, но и выдающиеся деятели отечественной культуры старшего поколения: Владимир Фаворский, Корней Чуковский, Михаил Алпатов, Дмитрий Шостакович, Михаил Ромм, Илья Сельвинский, Константин Симонов, Борис Пророков и ряд других. Они встревожено предупреждали о том, как его слова толкуются художниками «того самого направления, которое единственно процветало при Сталине, не давая другим работать и даже жить». Апеллируя к разоблачителю сталинского культа, они просили «остановить в области изобразительного искусства поворот к прошлым методам, который противен духу нашего времени» (С. 261).

Линия размежевания либералов и консерваторов четко обозначилась в самом конце 1962-начале 1963 годов и внутри МОСХа: на собраниях с обсуждением итогов юбилейной выставки. Неожиданным сейчас представляется выступление Аркадия Пластова, заявившего, что экспозиция выставки «организована мало что вредительски, она организована нагло». Большим культурным событием назвал выставку сочувствующий молодым мастерам живописец Валентин Поляков, фразой о «стратегическом гении» Владимира Серова обозначивший одного из тех, кто спровоцировал эту кампанию гонений на подлинное искусство. Экспозицию мастеров 20-х годов защищал

художник Борис Биргер, негативно отозвавшийся о газетных выступлениях живописцев-консерваторов: Е. Кацмана, А. Герасимова, А. Лактионова, полагавший, что за их злобными нападками «чувствуется признание силы прекрасных художников» (С. 202). Смело выступил против организованной травли творческих исканий, развернувшейся по всей стране, Виктор Эльконин.

Довольно решительное противостояние было и внутри секции художественной критики. «Виртуозно обтекаемый доклад» С. Валериус, стремящейся, отмежевавшись «от опасных крайностей», по возможности защитить своих коллег от поношения, «показать их правоверность» (С. 204), явно не устраивал тех, кого она именовала догматиками. Возникшая дискуссия невольно спровоцировала А. Гастева на смелое и решительное выступление против консерваторов, чьи выступления он, пользуясь их же политизированной терминологией, назвал «идеологической диверсией мещанского искусства» (С. 206).

Минули десятилетия: об исследуемом событии опубликовано немало различных материалов, не всегда согласованных между собой. Особенно в последующей самооценке участниками своего поведения и собственной роли в нем. Видимо, это неизбежно: «Былое оборотится спиной; / Подернется реальность пеленой» (И. Бродский).

Случались и такие воспоминания, где эмоции явно заслоняли информацию. Любой факт в книге Герчука выступает обдуманным, поставленным в последовательный ряд, зачастую не совсем таким или совсем не таким, каким он казался нам в ту пору. Автор очень осторожен в своих суждениях об этом и неоднократно оговаривается, сопоставляя те или иные воспоминания с другими, уточняя реальную хронологию происходивших событий, деликатно объясняя возможные причины преднамеренных или невольных искажений происходившего.

Эти многочисленные свидетельства, посвященные описываемым в книге событиям, опубликованные за истекшие десятилетия авторами разной степени добросовестности и осведомленности, непреложно свидетельствуют о том, что и совокупность сведений еще не система знаний. Обнаруживая корни и причины этих событий, привлекая только абсолютно достоверные, в значительной части не использованные прежде документы, автор создает такую картину происходившего, «в плотном воздухе которой», по справедливому замечанию редактора, «есть что «ловить» социологам, лингвистам и семиотикам, а не только искусствоведам (и, возможно, даже не в первую очередь искусствоведам)».

И все же сам Герчук оговаривается о наличии пока не разысканных важных документов, которые могут четче обозначить не столь уж случайный характер намеченного погромом МОСХовской выставки решительного поворота направо. Не исключено, что со временем отчетливее выявятся и действительные обстоятельства, и инициаторы его подготовки: «История злопамятней народа» (Н. Карамзин), и она рано или поздно обнаруживает все, до той поры, казалось бы, надежно укрытое.

Предельно корректный, Юрий Герчук пишет только о том, что ему доподлинно известно: именно о художественной жизни Москвы, практически не касаясь других регионов. Между тем волна репрессивных мер охватила города и веси огромной страны. В Саратове тоже нашлись охотники обнаружить собственных формалистов в лице Николая Михайловича Гущина и художников его круга – Михаила Аржанова и Виктора Чудина. Власти активнее вмешивались не только в экспонирование выставок местных художников, но и в постоянную экспозицию советского отдела Радищевского музея.

С другой стороны, именно тогда во всех ПТУ было введено в обязательном порядке преподавание эстетики, а начавшийся «музейный бум» затронул, прежде всего, именно художественные музеи. Горячие дискуссии возникали в залах искусства XX века, и постепенно вкусы публики, вопреки чаяниям запретителей, становились шире и терпимее по отношению к явлениям ей непонятным, а потому отторгаемым. Ко времени, когда развернутая кампания пошла на спад, многие из охаиваемых мастеров 1910-20-х годов оказались в общественном сознании гордостью отечественной культуры, а заклейменные властью и прессой молодые живописцы постепенно становились классика-

ми советского искусства. Поучительный урок для всех охотников тем или иным способом управлять культурой, если они только способны усваивать подобные уроки.

Сергей ТРУНЕВ

Карма Шопенгауэра

Артур Шопенгауэр Обитель духа. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2008**. (Философский бестселлер).**

Отчего-то судьба сочинений А. Шопенгауэра в России особенно тяжела. То ли мысль основоположника философии жизни с трудом поддается русскому восприятию, то ли восточный дух, коим пропитаны его тексты, совершенно противоречит отечественному менталитету. Не исключено, что имеются и другие причины, однако, вплоть до настоящего времени лишь одно произведение классика было издано более или менее достойно (Мир как воля и представление. – Минск: Попурри, 1998). Качество «Избранных произведений» (М.: Просвещение, 1992), напечатанных вкривь и вкось едва ли не на туалетной бумаге, все же извиняемо по причине тяжкого экономического положения страны в год издания: когда нечего есть, хорошо издаются и в момент раскупаются исключительно кулинарные книги.

Удивительно, но «Обитель духа», представляющая серию философских бестселлеров и поделенная между двумя известными издательствами, по качеству издания вполне сопоставима с «Избранными произведениями». То ли карма у Шопенгауэра несчастливая, то ли кризис одновременно нахлобучил обе выпустившие эту книгу конторы, но все ее достоинства, на мой взгляд, сосредоточены в обложке с серебряным тиснением, призванной создать ощущение солидности. Далее следует предисловие Бертрана Рассела, чья «История философии» по мнению специалистов весьма неоднозначна (как, собственно, и его оценки всемирно известных имен), и пять невеликих по объему фрагментов, надерганных из различных произведений самого А. Шопенгауэра.

Добивает книгу – в прямом и переносном смысле – приложение. Все бы ничего, однако приложение содержит лекции, озаглавленные как «Сокровенная религиозная философия Индии» и прочитанные в Брюсселе в 1898 году неким Чаттерджи Браманом. Откуда взялся на читательскую голову этот Браман, почему его нет ни в заглавии, ни в выходных данных книги, ни в ее аннотации, остается загадкой. Но если учесть, что его лекции занимают приблизительно треть общего объема книги, необходимо признать, что представленное издание – просто халтура. Впрочем, может, это и есть искомый формат философского бестселлера?

Роман АРБИТМАН

Ленин, Шапокляк и другие

Веселые человечки: Культурные герои советского детства: Сб. статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

На обложке книги знакомые всем нам персонажи изображены стоящими на мавзолее. В этой шутке есть весомая доля истины.

Хотя в советские времена официальная идеология настойчиво требовала благодарить за наше счастливое детство партийных вождей (тов. Сталина, Хрущева, Брежнева), подлинными творцами маленького детского счастья оказывались тов. Карлсон, старик Хоттабыч, Винни-Пух, Чебурашка, капитан Христофор Бонифатьевич Врунгель, Алиса Селезнева и др. неофициальные лица, созданные писателями (нашими или зарубежными), а затем удачно перенесенные на кино- и телеэкран. Авторы сборника поставили себе задачей исследовать этих персонажей, «обладающих колоссальной символической силой и беспрецедентным обаянием», – и с этой задачей справились.

Объем книги не позволил упомянуть всех таких героев (за бортом, в частности, остались Карандаш и Самоделкин, Чипполино, Баранкин, муми-тролли и др.), однако дюжина культовых фигур подверглась пристрастному социокультурному анализу. Авторы изучили всю подноготную Айболита с Бармалеем, нашли координаты Изумрудного города, обнаружили,

где у Электроника кнопка, исследовали вместе с Незнайкой особенности лунного капитализма, а заодно определили, чему нас учили Хрюша, Степашка, дядя Федор, кот Матроскин и кот Леопольд (кстати, тезка Захер-Мазоха – случайно ли?).

По ходу дела выяснилось, например, что А. Волков попасся в закромах Л. Фрэнка Баума куда основательнее, чем декларировал, а Буратино А. Толстого отличался от Пиноккио К. Коллоди имманентной склонностью к вранью (носу, и без того длинному, дальше расти было уже некуда). В Незнайке Н. Носова обнаружились приметы гоголевского Хлестакова, в образе Электроника проступили черты азимовских големов, а Буратино – в зависимости от времени экранизации его приключений – становился то сталинским соколом, то диссидентом-«шестидесятником», то социальным аутсайдером.

Забавно, что в ряд сказочных героев угодил также мифологизированный образ маленького Володи Ульянова – персонажа, на фоне последующих деяний которого меркнут все проказы Карлсона, Незнайки и старушонки Шапокляк. Впрочем, это, конечно, уже совсем другая история. Реальная и, признаться, не очень-то веселая.

Сергей БОРОВИКОВ

Так жили поэты...

Это было еще в старой, «первой», если считать по главным редакторам, «Волге» много лет назад.

Журнал располагался там же, где и все последующие до 2000-го, годы – Наб. космонавтов, 3. При этом одну большую комнату (из которой потом сделали две – для отделов поэзии и критики одна, прозы – другая) занимало тогда Саратовское отделение Союза писателей РСФСР, вскоре переехавшее в другое помещение.

Объединяло соседей то, что общими были партийная и профсоюзная организации и то, что несколько членов СП служили в журнале. Разъединяло прежде всего то, что значительная часть саратовских совписцев была хронически, до ненависти, обижена на работников редакции за непечатание романов, повестей, рассказов, поэм, стихов и очерков. В этот перечень не включены критические жанры, потому что основными поставщиками критики были ученые филфака СГУ и иных вузов Поволжья. Профессиональных критиков в Саратове был один, и он работал заместителем главного редактора «Волги». Еще два члена СП по разделу критики были профессорами СГУ и членами редколлегии, писали в журнал редко и, естественно, без проблем с публикацией.

Зато в СП обретался источник живых денег – Бюро пропаганды художественной литературы и бухгалтер, тогда как журнал состоял на содержании у издателя – Приволжского книжного издательства, расположенного совсем в другом месте, куда в определенные дни отправлялись работники журнала за зарплатой и авторы за гонораром. Такова была всеобщая система. Например, «Новый мир» содержался издательством «Известия», «Октябрь» издательством «Правда», «Звезда» Худлитом и т.д.

Действующие лица предстоящей истории.

Зам. главного редактора Михаил Поликарпович К-в., фронтовик, малопьющий, лет 60.

Зав. отделом поэзии Виктор Иванович К-в., фронтовик, «сиделец», сильно пьющий, лет 50.

Зав. отделом публицистики и очерка Борис Васильевич Д-н., сильно пьющий, около 40 лет.

Корректор Элла Романовна П., интеллигентная женщина, инвалид детства, курит, лет 35.

Технический редактор Антонина Тимофеевна Т-на., вдова поэта Т-на, непьющая, сильно накрашенная и очень глупая женщина лет 50.

Уполномоченный Литфонда СССР по Саратовской области поэт Исай Григорьевич Т-ий, фронтовик, очень сильно пьющий, лет 50.

Бухгалтер СП Марья Григорьевна Н-ва, непьющая, кустодиевской красоты и стати женщина лет 40.

Безымянный самодеятельный поэт в форме пожарника, лет 30-35, судя по профессии и тяге к стихосложению, должно быть, пьющий.

Время действия – лето, под вечер.

Первая комната от входа в редакцию налево (напротив туалета) – корректорская. Там лицами друг к другу за составленными столами сидят корректор и технический редактор, которая одновременно исполняет роль подчитчика. Пока читает сама, еще ничего, но когда они с корректором меняются ролями, и Элла читает, она слушает, то почти ежеминутно засыпает, да так крепко, что

голова с химической укладкой начинает болтаться из стороны в сторону. Элла Романовна не без раздражения ее будит.

В редакцию робко заходит человек в военной форме с петлицами пожарника, с папкой в руках. Спрашивает, как пройти в отдел поэзии. Женщины знают, что зав. отделом поэзии в компании с зав. отделом очерка и Уполномоченным Литфонда пьют в находящемся в том же здании кафе «Юность», но корректор коварно предлагает служивому обождать, пока зав. вернется с обеда. Пожарник присаживается на краешек потертого кресла.

Через какое-то время в редакцию вваливаются те, кто «обедал» в «Юности», и быстро проходят в глубь помещения. Пожарник по знаку корректора направляется вслед за ними, но вскоре троица возвращается, причем в сопровождении Марьи Григорьевны, за ними плетется пожарник. Зав. отделом очерка, мужчина невысокий, поджарый и наиболее внешне из троих трезвый, хватает стул и водружает его на один из столов. Затем он запрыгивает на стол и выжимает стойку на руках, держась за сиденье и спинку стула. Марья Григорьевна аплодирует. Уполномоченный Литфонда вдруг наливается кровью, и с криком: «Так это он для тебя выебывается!» подбегает к ней и бьет по румяной щеке. Марья Григорьевна плачет.

Зав. отделом очерка продолжает выжимать стойку.

А зав. отделом поэзии, сильно пьяный, в очках в тяжелой оправе, разглядев бродящего за ним пожарника, неожиданно наступает на него, загоняет того в угол, и зловеще улыбаясь, говорит: «Ну, вербуй меня, вербуй! Из органов послали?» Виктор Иванович, выпивши, делался агрессивным и в каждом человеке в форме видел представителя органов.

Итак, бухгалтер рыдает, поэт-уполномоченный прыгает вокруг нее, как леший, повторяя: «для тебя старается, для тебя?», поэт-завотделом, приводя во все больший ужас пожарника, предлагает завербовать себя в качестве стукача. Техред Антонина Тимофеевна пытается разрядить обстановку, уговаривая ревнивца: «Исай, что, что ты! Машенька, не плачь!» Корректор Элла, куря сигарету, молча наслаждается сценой.

В это время на шум появляется заместитель главного редактора. Вмиг все разглядев, он дергает за плечо зав. отделом очерка, а когда тот спрыгивает на пол, тихо командует: «Уведи сию минуту Виктора! У него штаны расстегнуты!»

Занавес.

Если требуется эпилог, пожалуйста: когда на партбюро обсуждали персональное дело поэта-уполномоченного коммуниста Т., он в свое оправдание, перед тем, как получить заслуженный строгий выговор, сказал: «Ребята! Ведь вы все меня знаете – так уж я устроен».

Иван КОЗЛОВ

Белый слон на Диком поле

Фильм Михаила Калатозишвили «Дикое поле» получил премию «Белый слон» как лучший фильм 2008 года. «Белый слон» – это очень правильная премия, премия внутренняя, присуждаемая экспертным киносообществом, своего рода аналог Премии Андрея Белого. Вот выдержка из положения о «Белом слоне»: «Премия кинокритики и кинопрессы не повторяет существующие кинопремии, а утверждает в кинематографе свои приоритеты. Предпочтения кинокритиков и киножурналистов обычно фокусируются вокруг «штучного» кино, как бы оно ни называлось – «элитарным», «авторским» или «артхаусным». Это не значит, что мы против мейнстрима и конвейерного кинопроизводства. Просто не наше это дело – награждать фильмы, которые либо уже награждены зрителями, оставившими свои кровные деньги в кассах кинотеатров, либо еще будут отмечены другими профессиональными сообществами. Однако мы рады, когда наш выбор совпадает с выбором зрительской массы, и когда выбор других профессионалов совпадает с нашим».

«Дикое поле» хочется сравнивать с разными фильмами. История доктора, живущего на отшибе цивилизованного мира, неоднократно воспроизводилась в разных стилистиках. Можно вспомнить «Дни затмения» Сокурова, недавние «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего и, конечно, «Морфий» Алексея Балабанова. Можно предположить, что речь идет уже, наверное, о некоей весьма продуктивной мифологеме, которая требует своего воплощения. У Сокурова это, скорее, провинция «внутренней империи», у Германа-младшего – каталог ожиданий из фильмов про советскую интеллигенцию и рефлексия над экзистенциальным аутсайдерством, у Балабанова – встреча с юнгианской Тенью, которая безжалостно разрушит целостность героя.

Еще одна точка отсчета (хочешь – не хочешь, но это неизбежно принимается во внимание с некоторого времени) – некая экспортная составляющая, жанр фильмов о «загадочной русской душе». Впрочем, «русское» здесь помещено в восточный контекст (если быть точным – в казахский), так плотно упаковано в горы и степи, что становится маргинальным и стремится к выживанию в чужой среде. Среда, впрочем, предельно разрежена, коммуникация затруднена, люди рассеяны друг от друга на значительных расстояниях. Власть (в данном случае – милиционер в пыльной форме на голое тело) – скорее, конвенциональная условность, чем реальность.

Завораживающее пространство – вот хозяин этих мест. Есть свои страшилки – про зверя в шахте, есть непонятные контуры вдали на холмах (ангел, которого врач Митя рассматривает в бинокль и который потом так же смотрит на доктора), есть свои методы врачевания, когда убитые молнией возвращаются с того света. Операционный стол представляет собой огромный камень во дворе и служит, конечно же, алтарем. Здесь можно пить сорок дней (пост наоборот?), хотеть, чтобы скорее началась война, читать «Дон-Кихота» и Павла Васильева, ждать девушку, которая приедет на день, вместо того, чтобы остаться насовсем, колесить на стареньком мотоцикле по бескрайним полям, которые когда-то топтали конницы Орды.

Фильм последовательно линеен, действие разворачивается через чередование эпизодов – по мере посещения доктором пациентов и соседей. Остановленная жизнь, still life, с ее бедой и благодатью, меланхолично проходит перед зрителем. «Здесь можно жить вечно. Здесь люди не умирают. Если захочешь, ты можешь прожить здесь тысячу лет». Если захочешь...

Аллен Вики Кристина Барселона

«Вики Кристина Барселона» – очередной, сорок третий фильм Вуди Алена. С какого-то времени режиссер перестал появляться в своих фильмах и тщательно выстраивать их вокруг собственной персоны. Как мы помним, а такое не забывается, Ален играл, как правило, рефлексирующего нью-йоркского интеллигента, и его фильмы представляли собой лирические (траги)комедии.

Это четвертый фильм Алена, снятый им не в Америке. Режиссер с удовольствием осваивает приемы видения Старого света, то иронизируя над американскими стереотипами (игрушечная Англия в фильме «Матч-пойнт»), то искренне влюбляясь в видеоряд, как в ленте «Вики Кристина Барселона».

Само название этой ленты как бы уравнивает название города и имена двух героинь, путешествующих по Испании американок (Ребекка Холл и Скарлетт Йоханссон). Это очень хитрый фильм, маскирующийся под пустышку. Добрую половину ленты фильм пародирует клипово-комиксную стилистику какого-нибудь MTV или идиотизм «Эммануэль»: девушки шатаются по значимым для туристов местам Барселоны с неизбежными постройками Гауди и обмениваются чудовищными банальностями, наподобие «во время завтрака мы обсуждали искусство». Этот же прием обыгрывается позже, уже как бы отменяя сам себя: во время одного из застольных разговоров просто пропадает звук.

Драйв начинается с появлением на экране художника-мачо (его играет Хавьер Бардем). Возникает своеобразный диалог пуританской Америки и либертарианской Европы – девушки спят с ним по очереди, хотя одна обручена с правильным и надежным женихом в Нью-Йорке. Мало того, у художника есть неуравновешенная жена (Пенелопа Крус), которая время от времени появляется в его квартире и через какое-то время исчезает с очередным скандалом.

Кино так и заканчивается ничем. Сексуальные и творческие эксперименты останутся в прошлом, но будут свербить хрупкую американскую душу героинь, а зритель запомнит брюнетку Пенелопу Крус, одетую в белое, и блондинку Скарлетт Йоханссон, одетую в черное, сидящих за одним столом.

Вуди Ален, несмотря на солидный возраст, смог преодолеть инерционное мышление кинолент, за которые его любили и ценили, и снимает теперь безумно красивые и ни-на-что-такое-непретендующие фильмы, оставив по ту сторону океана свой фирменный юмор с его гэгами и хохмами над психоанализом.

Оказывается, можно обойтись без нарциссизма, даже в его издевательском варианте, и позволить себе делать одну за другой красивые виньетки на фоне европейских пейзажей.

Удушье lights

Известный роман Чака Паланика экранизировал (всего за три недели) Кларк Грегг, это его первый фильм в качестве режиссера; возможно, вы помните его актерские работы в «Магнолии» и «Обычных подозреваемых».

Фильм сразу же отсылает нас к «Бойцовскому клубу» – те же реабилитационные группы с набором фриков, даже герой «Удушья» чем-то напоминает Эдварда Нортона. Тем самым режиссер как бы обещает продолжить удачную традицию экранизацию прозы Паланика. Насколько ему это удалось? Лишь отчасти.

Текст Паланика – очень нервный, неровный, яростно устремленный вперед, к финалу, где, наконец, сойдутся в одной точке все намеченные сюжетные линии. Напряжение нарастает буквально с каждой страницей, пока не разрешается в полном расколбасе, когда все катится к чертям на саночках с Джомолунгмы.

Фильм гораздо более буржуазен. Дело даже не в том, что режиссер выделил лишь одну линию повествования, оставив за бортом остальные (либо прописав их пунктиром). Сам ритм кинофильма и его стилистика не соответствуют драйву прозы. Вместо контркультурного трэша перед нами предстает череда сатирических картинок из жизни забавных неудачников и проходимцев.

Паланик – прирожденный провокатор. Он играет с читателем, как кот с мышью, разве что игра эта санкционирована самой мышью, жаждущей острых читательских ощущений. Фильм – не более чем попытка ввести игру с постоянно меняющимися правилами в более-менее удобные рамки, без острых углов и дискомфорта.

Наверное, для этого и был изменен финал книги. Герои романа оказываются на развалинах (в буквальном смысле), лишенные остатков иллюзий, которые помогали им выжить в неприспособленном для них мире. В фильме нет этой горечи освобождения, какие-то ситуации разрешились, какие-то просто остались за кадром – и ладно.

Даже персонажи – безумная мамаша героя, сам Виктор, изображающий приступы удушья в ресторанах, чтобы потом кормиться денежными подачками от спасителей, его возлюбленная в докторском халате – чересчур нормальны по сравнению с тщательно прописанными обитателями литературного «Удушья».

Наверное, фильм понравится тем, кто не читал роман, но, в таком случае, останется непонятным, что за здание строят герои фильма на пустыре, зачем приемная мать Виктора годами таскает его по стране и почему она борется с системой такими эксцентрическими методами.

Впрочем, сам Паланик участвовал в работе над сценарием и, стало быть, представлял, что можно ожидать «на выходе». Он даже снялся в маленьком эпизоде – прозаик сидит в самолете в финальной сцене фильма, рядом с героем своего романа.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Роман Арбитман
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ апреля 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.